

Сергей Зелинский

**Иллюзия
реальности**



Оглавление

О КНИГЕ.....	8
ЧАСТЬ 1.....	12
Глава 1	12
Глава 2	20
Глава 3	25
Глава 4	29
Глава 5	35
Глава 6	39
Глава 7	48
Глава 8	52
Глава 9	57
Глава 10	62
Глава 11	76
Глава 12	79
Глава 13	81
Глава 14	84
Глава 15	90
Глава 16	92
Глава 17	95

Глава 18	101
Глава 19	107
ЧАСТЬ 2	112
Глава 1	112
Глава 2	113
Глава 3	116
Глава 4	122
Глава 5	125
Глава 6	128
Глава 7	130
Глава 8	133
Глава 9	139
Глава 10	142
Глава 11	143
Глава 12	148
Глава 13	165
Глава 14	167
Глава 15	169
Глава 16	173
Глава 17	179
Глава 18	184
Глава 19	187

Глава 20	199
Глава 21	202
Глава 22	203
Глава 23	212
Глава 24	214
Глава 25	219
Глава 26	221
Глава 27	225
Глава 28	229
ЧАСТЬ 3.....	233
Глава 1	233
Глава 2	237
Глава 3	241
Глава 4	244
Глава 5	246
Глава 6	249
Глава 7	253
Глава 8	257
Глава 9	262
Глава 10	268
Глава 11	274
Глава 12	278

Глава 13	288
ЧАСТЬ 4	292
Глава 1	292
Глава 2	295
Глава 3	302
Глава 4	305
Глава 5	310
Глава 1	313
Глава 2	318
Глава 3	320
Глава 4	325
Глава 5	329
Глава 6	333
Глава 7	335
Глава 8	345
Глава 9	350
Глава 10	354
Глава 11	358
Глава 12	364
Глава 13	374
Глава 14	382
Глава 15	387

ЧАСТЬ 6.....	393
Глава 1.....	393
Глава 2.....	397
Глава 3.....	409
Глава 4.....	415
Глава 5.....	420
Глава 6.....	426
Глава 7.....	431
Глава 8.....	432
Глава 9.....	433

© 2014 –

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to: altaspera@gmail.com

В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

О книге.

Роман "Иллюзия реальности" - это новая криминальная драма с проникновением в сознание действующих персонажей. У них так мало времени жить... Герои буквально торопятся "сгореть" в своих страстях. Мир зеркальных "перевертышей" образов, созданных автором, отражает зыбкое болото человеческих пороков - всё это отношения героев внутри этого необычайно реалистичного по подаче материала романа. Полное погружение, ощущение присутствия самого себя внутри сюжета, как в стереокино. Как и предыдущая книга, роман "Иллюзия реальности" создан на основе многочисленных документальных свидетельств.

С.А.

Зелинский

Иллюзия реальности

**Altaspera
CANADA
2014**

С. А. Зелинский. Иллюзия реальности

С. А. Зелинский.

Иллюзия реальности. Роман.— CANADA.:
Altaspera Publishing & Literary Agency Inc, 2014.
— 494 с.

ISBN 9781312542846

© ALTASPERA PUBLISHING & LITERARY
AGENCY

© Зелинский С. А., 2014

Иллюзия реальности. Роман. — СПб.: Округ, 2006. —
272 с.

ISBN 5-98603-006-0

© Округ, 2006

©

Зелинский С. А., 2006

Текст печатается в авторской редакции.

Все права защищены. Никакая часть
данной книги не может быть воспроизведена в
какой бы то ни было форме без письменного
разрешения владельцев авторских прав.

роман

Иллюзия реальности

*"... человек, заблудившийся в самом себе, скоро замечает,
что попал в какой-то круговорот, из которого нет выхода; мысли
и чувства в нем мешаются, и он в отчаянии перестает, наконец,
сам понимать себя".*

Серен Кьеркегор



Часть 1

Глава 1

Викарий Германович Гершензон, высокий, худой, с живыми бегающими глазами и (если не контролировал) такой же речью -- думал о своей жизни.

Точнее, даже нельзя было сказать, чтобы он о ней думал. Ему и так все было понятно. Понятно, например, что жизнь его давно уже взяла тот крен, от которого совсем невозможно избавиться. И остается подчиняться её суматошному бегу. Бегу -- в никуда. Без стремления догнать, а то и перегнать кого-то. И без видимого окончания пробега.

Его давно уже это не волновало.

Было ему сорок два года. И он считал себя глубоким стариком.

Виной тому -- его психика. Причем психика -- как не что-то абстрактное (и в иных индивидах -- неразличимое даже). Нет. Викарий Германович более чем кто-то другой, знал о психике многое. А о своей психике он знал все.

Был он литератор. Прозаик. И даже то, о чем писал -- уже как бы говорило само за себя.

Викарий Германович принадлежал к так называемым "абсурдистам". Правда, так его окрестили всевозможные критики (кто-то первый выдал этот перл -- остальные лишь подхватили). Сам же Викарий Германович считал себя, скорее, реалистом. Тем

"реалистом", который описывает бытие человека с позиции своего искаженного мира. Хотя вполне может быть, не мир искажен, а их психика.

Впрочем, с Викарием Германовичем трудно было спорить. Он вообще принадлежал к тем редким людям, которые на "красное" -- говорят "белое". Считаю так. И даже не пытаюсь убеждать в этом других, принимая как должное то, что те не соглашаются с ним. Оставляя, как говорится, за собой право на правду, о которой, быть может, даже и распространяться не следует.

Что до психики Викария Германовича -- то она действительно была больной. Или, -- странной. Загадочной. Психикой, не вписывающейся в шаблоны нормальности и оттого непонятной окружающим, которые за глаза насмеялись над Викарием Германовичем, и от которых он всячески стремился избавиться.

Он вообще достаточно внимательно относился к собственному кругу общения. Стараясь до невозможности сузить его. И, -- нужно заметить, -- Викарий Германович добился успеха. Было всего два человека, с которыми он общался постоянно: Николай Андреевич Бурляев -- музыкант и Владимир Сергеевич Венгеров -- энтомолог. Правда, это общение было достаточно своеобразным. Они вполне могли не видиться месяцами; а потом проводить вместе несколько дней подряд. Но говорить о какой-то дружбе было бы явно преждевременно. Если и была таковая -- то носила она ярко выраженный индивидуальный оттенок. Специфический, можно сказать. И уж никак не включала в себя

каких-то распространенных и свойственных дружбе стереотипов. Стереотипов...

В отношении всей троицы можно было сказать, что то, что у них вызывало ярко выраженный протест (неприятие, гнев), -- были именно стереотипы. А так же распространенные нормы поведения и привычки.

Среди каких-то черт, свойственных всем трем, можно было заметить одну ярко выраженную особенность: они явно выделялись на фоне так называемой среднестатистической массы. Впрочем, попав в толпу, вряд ли кто выделил бы в ней хоть кого-нибудь из этих троих. Внешне они ничем не выделялись. Но по своему внутреннему укладу -- каждый был индивидуальностью. (Хотя, быть может, индивидуальность эта была связана с какой-то внутренней неустроенностью, что ли?..).

Николай Андреевич Бурляев. Музыкант. Музыкант, правда, весьма своеобразный. Будучи неплохим пианистом, -- он умудрялся аккомпанировать и выступлениям поп-артистов, и играть классические произведения.

Первое было для денег. Второе -- для души. (Хотя вполне может быть и наоборот. Сам Бурляев, например, все время уходил от этого вопроса. И сам же, -- причем, -- в разных ситуациях, -- говорил все время разное).

Бурляеву было -- как и Гершензону -- сорок два года. Среднего роста, обычного телосложения, Николай Андреевич с

первого взгляда производил впечатление нервного человека. Правда, на людях он держался. Но в душе -- был истеричен, пуглив и мнителен, и уже отсюда (как защитная реакция) -- заносчив, иногда -- груб, и при всем при том: с невероятно развитой уверенностью в собственную гениальность. В этом, впрочем, он весьма был схож с Владимиром Сергеевичем Венгеровым. Который, быть может, и действительно был неплохим психологом. Но сам себя считал чем-то навроде полубога.

Венгеру было тридцать семь. Был он высок. Аристократически красив. Богат. И болен. Психически болен. Но старался это умело скрывать. Да и заболевание-то, так себе. Пшик. Легкая форма невроза с налетом параноидального бреда, благодаря которому, быть может, возвеличивался Владимир Сергеевич -- в том числе в собственных глазах -- до невероятности. Являя пример... Впрочем, у нас еще будет время поговорить о нем. А пока заметим, что все трое -- держались друг друга. Хотя дружба-то действительно была весьма странная. Например, когда собирались они все вместе -- то бросалась в глаза их ненависть -- друг к другу. А присмотревшись, можно было заметить, что больше всего, конечно, ненавидел всех Венгеров. Хотя, опять же, сама ненависть была какая-то скрытная. Может быть даже -- только подсознательная. Потому что уже в другие моменты -- питал Венгеров невероятную слабость к своим приятелям. Принимаясь возвеличивать их таланты. И тогда Бурляеву и Гершензону приходилось слегка остужать пыл Венгерова. Потому что, с одной стороны, им становилось стыдно.

А с другой, -- они казались себе и вовсе подлецами. Эткими -- негодьями и самозванцами.

Однако, все было бы ничего -- в смысле, так и жили бы наши герои, ничем по сути не отличаясь от десятков других в чем-то патологичных натур, -- если бы не объединила всех троих -- одна, по сути, -- утопическая идея: изменить мир.

Причем, "изменить" его они хотели не просто так, а самым что ни на есть кардинальным образом. И в этом будущем преобразовании породнились и Гершензон, и Бурляев, и Венгеров удивительнейшим образом.

А идея была такова. Рассудив, что каждый человек, по сути, носит маску (своеобразный образ, в который входит при контактах с внешним миром), -- наши герои решили бороться с этим. Добиваясь, чтобы люди стали самими собой.

То есть -- без какой-либо игры.

Цель по истине уникальна.

И, пожалуй, настолько же нереальна в своем осуществлении.

Но, быть может, особенностью (о которой мы забыли упомянуть) всех троих было то, -- что никто из них никогда не пасовал перед трудностями. Но уже это, в свою очередь, было бы излишне банальным, если бы не заметили мы, что каждый из них любил создавать эти самые трудности. На случай, если тех по каким-то причинам не случалось.

Вероятнее всего нашим героям вполне можно бы было -- начать с себя. Но себя мы, к сожалению, чаще всего и не замечаем.

Ими был выработан своеобразный план. По которому, прежде всего, необходимо было найти тех, на ком, собственно, и должен был проводиться задуманный эксперимент. И вот тут -- пришла первая трудность.

Сложность состояла в том, что как-то ненавязчиво следовало не только найти "желающих", но и сделать так, чтобы те не догадались о том, что их выбрали в качестве испытуемых.

Решено было искать среди знакомых. Но, поразмыслив, Гершензон, Бурляев и Венгеров пришли к выводу, что среди их знакомых -- желающих найти невозможно. По причине -- отсутствия знакомых.

И вот здесь бы, наверное, следовало задаться им вопросом: почему подобное могло произойти? Но если б они задались этим вопросом (а они -- не задались), -- то ответ лежал бы на поверхности. Просто ранее вся троица сделала, казалось, "все возможное" -- чтобы ни у кого из них -- не только не было друзей (впрочем, дружили они только друг с другом, а значит, другие "друзья" вроде бы и не нужны были), но и даже не было тех, кого можно было бы причислить: к товарищам, приятелям, знакомым... Не было никого. Так, какие-то шапочные знакомства. Но они потому и шапочные, что...

В общем -- "испытуемых" среди знакомых не было. А брать кого-то со стороны?.. Ну, вряд ли это было бы возможно? С первым встречным-то?..

И тут кому-то из них (Бурляеву?) пришла идея -- "экзаменовать" друг друга. Ну, хотя бы (попытка преодоления

"отвержения" идеи) -- временно. Так сказать, -- для опыта. В смысле, -- пока не наберется этот самый опыт. А потом...

-- А потом -- ничего не будет, -- высказался с привычным скепсисом Гершензон (идея действительно Бурляева?.. Или Венгерова?..).

-- Мы же разругаемся друг с другом, -- поддержал его Венгеров (значит, действительно, Бурляева...).

-- Или изменимся настолько (что же он боится?), что не сможем противостоять нападкам других, -- Гершензон.

Чтобы не приводить излишнее количество ненужных цитат, высказанных нашими героями, скажем, что к единому мнению друзья так и не пришли. Каждый приводил собственную точку зрения; причем, Гершензон и Венгеров как-то быстро объединились против Бурляева; и в своих убеждениях приводили столь неоспоримые доказательства своей "правоты", что Бурляев поймал себя на мысли -- что еще немножко -- и начнет противоречить себе. Отстаивая точку зрения недавних оппонентов.

Друзья согласились, что предложенная идея -- была неудачной.

Но это нисколько не приближало их к началу эксперимента.

И тут, должно быть, Гершензон предложил "идею", которую все на редкость дружно приняли.

-- Я предлагаю, -- проговорил он, по привычке опустив глаза и нарушив затянувшееся молчание (наступившее после "опровержения" последнего довода), -- я предлагаю (глаза

мучительно читают ответ в узорах паркета -- "заседание" было в квартире одного из "друзей") -- подобный эксперимент считать неудачным. И прекратить его. Признав -- несостоявшимся. (Следовало заметить, что Викарий Германович иногда заговаривался, зная за собой подобную привычку, он иногда замолкал на полуслове, но сейчас, видимо, решил все же закончить). -- А потому... а потому... значит... ну, в общем... так сказать, -- хм, кхе-кхе, кха... кха... хм, значит...

-- Значит, -- следует искать вам, друзья-приятели -- чем стоит заниматься дальше, -- по-своему закончил фразу друга Венгеров.

-- Ну, что-то вроде того, -- пробурчал Гершензон.

-- Ладно, -- попытался взять ситуацию в свои руки Бурляев. -- Я предлагаю возможные сомнения унять весьма тривиальным способом...

-- Я пить не буду, -- перебил Венгеров.

-- Сомнений можно избежать, -- по-другому пытался закончить собственную фразу Бурляев.

-- Да сомнений никаких и нет, -- вмешался Гершензон.

-- Одни лишь недоразумения, -- согласился Бурляев, осознав, что, в принципе, друзья правы.

Все трое дружно закивали головами (точнее -- Бурляев подхватил).

-- А быть может, все же начнем с себя? -- неожиданно произнес Бурляев.

Но его уже не слушали...

Глава 2

Гершензон

Викарий Германович Гершензон был поистине уникальным человеком. Правда, вся его уникальность сводилась к невероятной внешней запуганности. Точнее -- такое он производил впечатление.

Этот высокий, худощавый (даже должно быть слишком худой) человек всегда чего-то боялся. Был он почти всегда неуверен в себе. Голосом обладал -- тихим. Манерами -- обходительными. Но в тех же самых манерах (так сказать, -- первопричина) читалась больше скромность и боязливость, чем какая бы то ни было обходительность.

Он словно изначально боялся обидеть другого. А потому -- предпочитал больше молчать, чем говорить.

Гершензон был умен. Закончив с отличием литературный институт, Викарий Германович вскоре понял, что толком-то ничего и не знает. А все его умения (на талант он даже не замахивался) -- сводились к написанию коротких рассказиков, которые периодически печатали в журналах. Так и не решившись (предложения были) -- на издание отдельной книги. Сборника рассказов, например. (Помимо рассказов Гершензон эпизодически писал стихотворения. Которые, впрочем, безжалостно сжигал -- уже на следующее утро после написания).

Кстати, заметим, что утро было для Гершензона самым печальным временем. Его мозг не успевал так быстро отойти после сна, и все вокруг казалось ему настолько отвратительным,

что следовало, наверное, и вовсе -- не вставать с постели. А то и -- не просыпаться.

В отличие от того же Бурляева, который, испытывая по утрам схожие трудности, научился кое-как справляться с ними, Гершензону всюду мерещились враги и злоумышленники. Он вообще никому не доверял. А если какое-то доверие и было -- уже через время оно сводилось к яростным обвинениям в адрес "доверителя".

Правда, что до нападок -- были они исключительно мысленные, почти никогда не воплощавшиеся в реальную действительность. Но и этого хватало. Тем более, что переживал после этого Викарий Германович ужасно. Болел. Душевно. Но если кто другой в схожих ситуациях способен был "спасаться" алкоголем -- то Гершензон "не употреблял". А потому -- носил весь полученный негатив в душе.

Причем, подобное никогда не проходило просто так. И уже через время у Викария Германовича начиналось, как он называл, следствие перенесенного. То есть, появлялись тревожности и какое-то необъяснимое беспокойство. И как следствие уже этого -- различного рода фобические состояния.

Надо заметить, что страх, по сути, можно было отнести к весьма благодатным моментам. Благодатным в том смысле, что почти всегда страх, в конце концов, когда-нибудь заканчивается. Потому что распознается -- причина страха. (А если мы знаем, чего бояться -- страх уже не так важен. Он исчезает). И тогда наступает успокоение.

Иное дело было с тревожностями. Своеобразный невроз тревожности (в котором, порой, круглогодично находился

Гершензон) -- неким таинственным образом накладывал отпечаток на всю его жизнь. (Если рассматривать жизнь -- как цепочку отдельных ситуаций, происшествий, эпизодов...). Делая Викария Германовича этаким застенчивым субъектом, который не только совсем не знал, что ему делать с этой самой застенчивостью, но и страдал -- от наличия ее -- невероятно.

В отдельные минуты застенчивость достигала своих максимальных вершин (зашкаливала). И тогда Гершензон превращался в какое-то подобие шлюпки, попавшей в шторм. И в эти мгновения он совсем не принадлежал себе. Полностью подчиняясь воле людей, встречавшихся (порой -- случайно) на его пути.

Он не имел своего мнения. Не был способен принять решение. Создавалось впечатление, что он вообще не знал никакого правильного решения. Подчиня себя -- воле других. И чего на самом деле в этом было больше -- подчинения или безразличия -- не знал и он сам.

Можно было подумать, что Викарий Германович просто махнул на себя рукой.

И, в принципе, так это и было.

Страдал ли он от этого?

Страдал! Но и изменить ничего -- ни ситуацию, ни себя (а лучше -- и то и другое) не пытался. Точнее, он пробовал, -- но у него ничего не получилось. Да, может быть, и не пробовал, а лишь -- попробовал. И почти тут же признал -- что все бесполезно.

Смирившись, Гершензон даже почувствовал улучшение. С него (как будто) снялась какая-то часть тревоги. И если она

(конечно же) не исчезла, -- то переноситься стала значительно легче. Гершензон как бы убедил себя, что так и нужно. И ему действительно стало легче жить.

Да, по сути, он особо-то никогда и не переживал. Скорее, -- воспринимал как должное.

Однако, видимо в душе (где-то в самых глубинах) Гершензон все же испытывал неудовольствие от такого своего поведения. И это выражалось в своеобразный протест. В виде, например, вспышек немотивированной агрессии, ярости, которые он, конечно же, подавлял. Но что из этого на самом деле выходило -- можно было судить хотя бы по тому, что после -- Гершензон страдал еще больше. Заглушая свои страдания -- обвинением себя. И в этом -- был весь Викарий Германович Гершензон. Человек -- боль; человек -- страдание; человек -- изгой. Потому как считал он лучшим -- спрятаться, закрыться, уйти в свой внутренний мир. И как можно меньше туда кого-нибудь допускать.

А потому и прослыл чудаком. Но изменить себе не мог. Не хотел. Не был способен.

Но, словно чтобы исключить проявление к себе излишней жалости, у Гершензона где-то внутри включались особого рода механизмы защиты, выражающиеся в ярости.

Тех вспышек ярости, которые случались все чаще, и от которых Викарий Германович, казалось, совсем и не думал избавляться. А то и наоборот -- нисколько и не пытался сдерживаться, выплескивая накопившиеся эмоции, порой, в самый неподходящий момент.

И тогда Гершензон производил впечатление злого, агрессивного человека, с которым совсем невозможно было "договориться"; и который, собственно, и на человека-то похож не был.

.....

Литературные способности, которые в какой-то мере все же присутствовали у него, делали агрессию достаточно язвительной для случайных оппонентов.

Сдерживаться же Викарий Германович был не намерен. И в такие минуты он бессознательно угадывал в противнике то, что того больше всего тревожило, -- и бил исключительно по этим точкам. Не давая опомниться, вставить слово, постепенно превращая жертву -- в полное ничтожество. Причем убедительность его выступлений порой действительно была такова, что эту самую ничтожность чувствовала не только сама жертва, но и случайные слушатели (очевидцы, прохожие...), и даже -- что было совсем уж невероятным -- и сам Викарий Германович, который, стоит заметить, очень переживал за свои же слова.

Правда, переживания эти были на другой день. И к самой недавней ссоре как будто бы и не относились. Ну, точнее, относились, конечно; но с каким-то иным, тайным и загадочным, смыслом. Стоило пройти какому-то времени -- и как будто исчезала главная составляющая основа недавнего конфликта; вернее -- не исчезала, а забывалась. Викарий Германович почти даже и не замечал этого. Не обращал внимания. Не мог -- обратить

внимания. Потому что -- в его воспаленном воображении -- рисовались все новые и новые причины, оправдывающие не только уже случившийся конфликт, но и тот, который может случиться в будущем. Словно давая Гершензону карт-бланш на скандалы. Точнее -- на беспрепятственное выражение собственных эмоций, которыми он постоянно был переполнен.

И невозможно было его остановить.

И трудно было с ним договориться.

Да, по сути, и невозможно.

Глава 3

Бурляев

Николай Андреевич Бурляев был таким же, как и Гершензон (если иметь в виду внутренний психический расклад).

Однако, он все же таким не был. (Ну, или был, но не до конца). Потому что в какой-то мере научился справляться со многими своими "качествами", которые с легкостью можно было интерпретировать как "комплексы". Да, по сути, этими самыми комплексами они и были (ложась в копилку общей закомплексованности), -- но в каком-то, если можно так сказать -- "неполном" варианте: то есть были и начало, и середина, и конец (в различных вариантах конфликтов); но в том-то и дело, что сами внутренние конфликты -- были неполными.

Другими словами, как раз и были только: или -- начало, или -- середина, или -- конец. А продолжения -- не было. Так же как и не было чего-то того, что позволило бы связать три

разрозненные части -- в одно целое. Например, у Бурляева, как и у Гершензона, был страх. Но страх был какой-то -- специфический. И -- на непродолжительное время. Он мог неожиданно начать бояться ожидания наступления страха. И тогда он почти испытывал всю гамму чувств подобного состояния, но... само состояние -- не наступало. То есть тревожность (более всего и напоминающая ожидание наступления страха) была. Но ни во что она не выливалась и проходила сама собой. Когда (вот что никогда не получалось у Гершензона) Бурляев -- просто забывал (о своей тревожности).

Он словно неожиданно начинал неосознанно думать о чем-то другом.

И увлечшись чем-то новым, -- напрочь забывал о старом.

Или, например, -- так же неожиданно -- на Бурляева накатывала волна всепоглощающей скорби. Ему вдруг становилось "неприятно жить". Все казалось невероятно мрачным, лишенным какого бы то ни было позитивного начала. Окружающий мир казался (исключительно) черно-белым. И -- словно не было будущего.

А потом все проходило. Так же внезапно, как и начиналось.

Причем, зачастую проходило настолько, что Бурляев напрочь забывал о случившемся. О каких-то, казалось, только что испытываемых тревогах, волнениях, беспокойствах. Являя пример открытого и устремленного в будущее человека. Человека, преисполненного радости и любви. Будущее которого --

вырисовывалось в самых прекрасных, радужных, чистых и светлых тонах.

А причин для беспокойства -- уже как вроде бы -- и не было вовсе.

Что можно было отметить в характере Николая Андреевича Бурляева -- так это его явную неуверенность в жизни.

Он словно никак не мог (или не был способен) адаптироваться к ней. Не знал -- с чего начать. И это незнание -- с легкостью подменяло мотивационную составляющую его поступков. Так что, -- стоило Бурляеву начать проявлять какую-то активность, как он тут же попадал в какие-то невероятно нелепые ситуации, выставляя себя -- порой -- полным идиотом.

Например, случилось как-то ему поехать на летний отдых. И, несмотря на то, что из Питера ходили поезда до Анапы, Новороссийска и Адлера, Бурляев решил усложнить себе задачу -- и остановиться на отдых в Туапсе.

Ну, в принципе, не такая уж и сложность. Вполне можно было добраться до ближайшей к Туапсе "конечной станции" (Новороссийск) и оттуда -- на автобусе или такси. Или до Краснодара -- и оттуда тоже -- на автобусе или такси.

Толком не решив, как он будет действовать, Бурляев решил купить билеты до Новороссийска. Но на вокзале какой-то прилично одетый молодой человек, представившийся кассиром, неожиданно предложил ему билет на прямой поезд до... Туапсе.

То, что такого поезда просто не существует -- Бурляев, в принципе, мог и не знать. Точнее -- это вполне находилось в плоскости той протрации, в которой -- почти постоянно --

находился он. И, конечно же, узнав о своей ошибке (с требованием "подобного поезда" у начальника вокзала и извинениями перед ним -- потом), Бурляев все же купил билет до Новороссийска. Причем, как оказалось, тот стоил намного дешевле того, что Бурляев покупал с рук.

По пути следования, поддавшись влиянию одного из попутчиков, Бурляев решил сойти на какой-то промежуточной станции, откуда -- по словам того же попутчика -- можно было легко добраться до Туапсе. И посмотреть бы Николаю Андреевичу карту. И узнать бы, что до Туапсе существует одна единственная дорога -- вдоль моря. А с другой стороны -- горы. И разве что -- если только пробираться к Туапсе через эти самые горы. Но -- не альпинизмом же собирался заниматься Николай Андреевич.

Ну, решил так решил. Но проблема, как оказалось, еще и в том, что поезд на той промежуточной станции стоит всего минуту. А с учетом "опоздания" -- так и вдвое, втрое меньше. Но -- Бурляев-то не знал этого! И решил сделать все обстоятельно. Сначала он спрыгнул вниз (до перрона его вагон не дотянул). Потом пошел искать "носильщиков" (три чемодана -- ноты, инструмент, вещи -- дожидались в купе), которых... которых на этой станции и не существовало вовсе. Но Бурляев и об этом не знал. А поезд, издав протяжный гудок (по нервам... по нервам...), тронулся.

Однако Бурляеву не удалось заскочить в вагон (так бы, может, судьба сама исправила ошибку). Все тот же "добрый" попутчик, -- ободряюще что-то крича Бурляеву (в шуме набирающего ход поезда уже и не разобрать было что), -- сбросил

ему два чемодана. Причем, -- словно в соответствии с нелепым сценарием, -- в вагоне остался чемодан с его вещами.

Но на этом "злоклучения" не закончились. Впрочем, к следствиям подобного своего состояния Бурляев привык. И различные -- сетования, раскаяния, крики -- всегда быстро заканчивались. Более того, Бурляев даже научился как-то оправдывать свои ляпы. Сублимируя накопившийся негатив -- в музыку. Он и тогда -- стал играть на саксофоне. Быстро заработал деньги на обратный билет -- и уехал в Питер, так и не отдохнув. До моря ехать ему как-то расхотелось.

Глава 4

Венгеров

Совсем другим был Владимир Сергеевич Венгеров.

В отличие от своих друзей, которых он считал откровенными неудачниками, Венгеров был человеком, который если и знал о своих недостатках, то за свои тридцать семь лет научился те тщательно скрывать, оправдывая это особой, только ему понятной, необходимостью.

Это был умный, расчетливый и (в отличие от Гершензона и Бурляева) достаточно обеспеченный человек. Большая часть богатства ему досталось от дяди, эмигрировавшего в Канаду и считающего своим долгом ежемесячно перечислять на счет Венгерова пять тысяч долларов США. Плюс к ним -- Венгеров и сам зарабатывал примерно столько же. Чего ему, заметим, вполне хватало на жизнь. При его -- вполне обычных -- запросах.

(Загородный дом, квартиру и машину -- дядя, уезжая, оставил племяннику).

Родители Венгерова еще лет десять назад уехали за границу. В США. (По-моему, штат Пенсильвания). Дядя же уехал в прошлом году. Жена Венгерова, забрав сына, -- которому сейчас было лет 18-19 -- еще лет семь-восемь назад эмигрировала в Израиль. (Кстати, сын Венгерова -- Самуил -- или как он сейчас сам себя называл -- Сэм -- готовился служить в армии Израиля).

Однако, что-то говорило о том, что вся эта уверенность (скорее -- самоуверенность) Венгерова, его холодность, недоступность, -- были напускными. Своеобразной защитой от нежелательного проникновения в его внутренний мир. И на самом деле, за демонстрируемой им маской -- скрывался слабый, зависимый, тщедушный человек, который, впрочем, научился (именно научился) скрывать свои истинные чувства, подменяя их теми образами, которые он для себя придумал. И уже поэтому Владимир Сергеевич явно избегал компаний и сборищ, словно опасаясь, что -- чем больше народа (с перспективой -- у каждого -- залезть в душу), -- тем более возрастает опасность раскрыться, дать возможность противнику почувствовать его слабинку. А значит -- и пробить оборону. Показать себя слабым и зависимым от кого-то.

А позволив это одному -- нет гарантии, что перед другим удастся продолжать до конца играть свою роль.

Кстати, по разным причинам и Гершензон, и Бурляев, и Венгеров одинаково избегали многочисленных компаний. И для меня, -- а я как-то случайно познакомилась со всеми почти

одновременно, -- было загадкой, почему они все-таки общались между собой. При том, что не просто об общении я говорю; все трое -- дружили.

Хотя их дружба со стороны могла показаться какой-то специфической. Еще и потому, что никто из них не собирался допускать кого-то в свой мир. Выставляя при случае барьеры и четко очерчивая границы, через которые переступить не следовало.

Но, если Гершензон был замкнут изначально, сразу, стоило только на него посмотреть, чтобы это понять, а Бурляев тоже был замкнут, но -- наполовину, то, глядя на Венгерова -- создавалось впечатление его открытости. Он любил пошутить, посмеяться (причем смеялся на удивление заразительным смехом), но... но на этом все и заканчивалось. Стоило только кому-то попытаться приблизиться на большее расстояние, чем ему было отведено -- и тотчас же Венгеров "показывал зубы". (Впрочем, людьми Венгеров себя окружал большей частью умными, а потому -- все всё понимали, и главное -- не обижались).

И все же Венгеров действительно великолепно играл свою роль. Роль этакого недоступного гуру, горестно взирающего на многочисленных учеников. Причём, Владимир Сергеевич на самом деле преподавал в институте. То есть, у него "на самом деле" -- были ученики. Студенты. Правда, заметим, этот род своей действительности он не рассматривал как основной. Хотя... если он об этом говорил -- это совсем не значит: что так оно и было.

Вообще все, что касалось Венгерова, вполне походило на какую-то загадку. Да он, казалось, и сам старался все делать так,

чтобы не только оградить собственную жизнь от каких-нибудь вполне ненужных проникновений, -- но и запутать ее до невероятности.

Например, загадкой было -- чем он занимался. Точнее, каким образом зарабатывал деньги. Ну, про дядю в Канаде -- все знали. И про преподавание энтомологии -- знали тоже. Но вот дальше?.. Ведь Владимир Сергеевич был все время занят. Но чем?.. И до поры до времени -- это оставалось тайной, которая неизвестно когда раскроется.

.....

Однажды эту самую тайну было раскрыл он сам. Решив вдруг разоткровенничаться и разом выложить все секреты.

Но, словно почувствовав это -- запнулся. С опаской -- "заметили ли?" -- поглядывая на собравшихся приятелей, усиленно делающих вид, что, вроде, "и не слушали они вовсе".

Выждав паузу и продолжая пристально всматриваться в друзей (Гершензон -- решил вдруг рассматривать узор собственного носового платка, Бурляев -- курил, всматриваясь в дым), -- Венгеров словно опомнился и начал бормотать совсем уж ерунду. Что было странно еще и потому, что раньше -- никто ничего похожего (такого!) в нем не замечал. Наоборот -- он слыл настоящим умником, с усмешкой обрывая начинавшиеся "откровения" кого бы то ни было, так, что больше подобного желания -- ни у кого не возникало.

И вот теперь, попав в схожую ситуацию сам, Венгеров поначалу было даже смутился. А потом почувствовал такую

ярость к самому себе, что принялся... обвинять в несуществующих грехах Гершензона (тот казался наиболее доступен, и, по крайней мере, не набрасываться же на себя?!). В один момент Венгеров нашел что-то, что, впрочем, тут же вызвало чувство вины и раскаяния у Гершензона, и спектакль этот мог продолжаться еще долго, если бы -- Бурляев внезапно не вскочил (кресло -- упало; журнальный столик -- перевернут) и не выбежал, напоследок хлопнув дверью.

Это вызвало, по меньшей мере, удивление у активно переругивавшихся Гершензона и Венгерова; и, пожалуй, этого же и хватило -- чтобы заполнить их эмоции (эмоциональная составляющая -- "подпитка" скандала) чем-то новым. А старое куда-то ушло. И они -- помирились. Дружно начав обсуждать поведение Бурляева.

Не пытаясь по большому счету в чем-то им "помогать", заметим, что Владимир Сергеевич Венгеров был действительно непредсказуем в своем поведении. Его практически невозможно было просчитать. И, казалось, он делал все, чтобы сформировавшийся у других его образ -- таким же и оставался. Причем, если он собирался что-либо изменить, то подобную корректировку делал невероятно осторожно. Словно опасаясь сделать ненужный крен в сторону, выбившись из рамок того образа, который, вероятно, для себя он сам и придумал. А вот что касается его непредсказуемости... Так стереотипов (как бывших, так и ныне формируемых) Венгеров не любил. Даже больше -- выступал явным противником их. И если кто-то, пытаясь навязать ему свое выстраданное мнение, вдруг начинал использовать

шаблоны -- Владимир Сергеевич неожиданно принимался саркастически хохотать, а потом -- вдруг опомнившись -- старался поскорее убратъся вон. Остаться одному. Уйти... Впрочем, Гершензон как-то признался (когда в какой-то компании зашла речь о Венгерове), что на его взгляд подобная реакция Владимира Сергеевича -- ничто иное, как один из способов защитного механизма психики Венгерова, пытающегося таким вот образом оградить свое сознание от ненужного вмешательства. И как бы кто-то не качал головой (не соглашаясь или соглашаясь), заметим, что подобная точка зрения Гершензона вскоре была принята "на вооружение".

А кто -- из наиболее наблюдательных -- и мог заметить, что если даже и не соглашаться с Гершензоном полностью, то иным образом объяснить "цинизм" Венгерова -- было весьма и весьма затруднительно.

И что тогда это -- как не защитная реакция? Ведь иначе Владимир Сергеевич Венгеров -- подлец и негодяй. С манией величия и маниакально-садистскими замашками, проявляющимися в непомерном возвеличивании собственной персоны и явном желании доминировать над другими. Кстати, мазохист -- это и тот, кто сам стремится стать зависимым, стать слабым, и таким образом приобщиться к силе, власти другого. А значит -- у потенциальных садистов -- всегда будут желающие испытать на себе их влияние. Но вот можно ли это было применить к Венгеру?

Но и любые сомнения по поводу его фигуры -- были оправданы.

И происходили они от самой непредсказуемости, точнее -
- игры в этот образ, Венгерова.

Глава 5

В какой-то момент наши герои решили предпринять поистине беспрецедентное (по крайней мере, раньше ни о чем таком они бы не договорились) решение -- стать самими собой.

Однако, если признаться по справедливости, не только подобные мысли, но и даже попытки оного -- делать они уже пытались. Но бывшие "эксперименты" обычно заканчивались, толком и не успев начаться. На этот же раз -- Гершензон, Бурляев и Венгеров решили подойти к этому более обстоятельно.

Но сначала необходимо было выяснить: что же они на самом деле из себя же -- представляли? К чему -- другими словами -- следовало стремиться? К каким, так сказать, истокам психики -- возвращаться?

И для этого им казался возможным один способ. Возвратиться (мысленно, конечно же, мысленно) в свое детство. В то время, когда все начиналось. Когда закладывалось то, что -- в последующем -- и привело к тому состоянию, в котором они оказались сейчас.

И для этого необходимо было нащупать ту линию, которой следовало... придерживаться.

-- Это на самом деле трагедия, -- первым спохватился Гершензон. -- Мне совершенно не удастся вспомнить что-либо из своего детства... Думается, это не слишком верная идея.

-- Да брось ты! -- усмехнулся Бурляев. -- На самом деле никакой такой сложности я не вижу. Как, впрочем, не вижу и необходимости в подобного рода шаге.

-- Нет, друзья, -- внимательно поглядывая на Гершензона и Бурляева, решил вступить в разговор Венгеров.

В большинстве случаев он отмалчивался. Но когда начинал говорить, то с легкостью являл пример довольно приличного оратора. Хотя и не всегда он был расположен ораторствовать. Быть может, из-за нарочитой закрытости. И в минуты, когда действительно раскрывался -- его слушали. Внимательно слушали. Пытаясь, может быть, наконец-то сделать о нем надлежащее (казавшееся, впрочем, все время ложным) мнение.

Так было и в этот раз. Лишь только Венгеров начал говорить, все замолчали (спорить с ним вообще никто никогда не пытался), с каким-то необычным раболепием в глазах внимая излагаемому Владимиром Сергеевичем.

А тот, словно и не замечая (вернее, всячески делая вид, что не замечает), пытался вызвать на диалог друзей, задавая вопросы и с помощью их ответов строя дальнейшую беседу.

-- Значит, вы считаете, что всё ранее мною сказанное -- из себя ничего не представляет? -- заинтересованно (с каким-то даже больше саркастическим любопытством) посмотрел на них Венгеров.

-- Ну, как сказать... -- неожиданно замялся Гершензон...

Викарий Германович Гершензон все более и более чувствовал, что начинает проваливаться куда-то в пропасть. Об этом говорила и тревожность, которая с недавних пор стала вечным его спутником. И то необъяснимое пока -- он очень надеялся, что пока -- беспокойство без какой-либо причины, и от которого -- он действительно не знал спасения.

Что касается разговора... Викарий Германович об этом старался не думать.

Несмотря на предварительную подготовку, текущая тема все равно казалась ему достаточно... болезненной для его сознания, стремящегося как-то сбросить груз навалившихся проблем. И что заставляло его (больше даже -- вынуждало) как-то отдаляться от окружающего мира. Но, тем не менее, и попытки сбежать в какой-то другой (иллюзорный -- в данном случае) мир, мир иллюзорной действительности -- тоже не было. Хотя... Как тогда расценить то, что было сейчас?.. Этот самый разговор...

-- В чем ты не уверен? -- поинтересовался Бурляев, решивший взять ситуацию в свои руки. Иногда у него проявлялась эта особенность. Хотелось, -- должно быть, именно хотелось, -- не только как-то повлиять на ситуацию, но и -- подчинить ее себе. Быть может, -- спасаясь от нее же таким вот образом.

-- Да, как сказать... -- растерялся Гершензон. -- ...Может быть, просто какая-то... неуверенность... Но это преходящее... преходящее, -- уже взял он себя в руки.

Признаться, Викарий Германович Гершензон -- вообще не любил ни каких-то длительных разговоров, ни тусовок.

Да и общение с друзьями -- он рассматривал как нечто обязательное; и терпел-то -- только из-за того -- что случилось подобное не часто. Даже -- очень не часто.

-- Ну, я думаю, что никакого серьезного разговора у нас не выходит, -- вздохнул Венгеров. -- Почему так часто случается, когда мы собираемся о чем-то серьезно поговорить, между нами встают какие-то препоны? Начинаются сложности. И вообще...

-- Все ясно, -- перебил Бурляев.

-- Да, давайте наконец-то поговорим по существу, -- выразил заинтересованность Гершензон. -- Итак, как я понял, вы хотите (он обвел взглядом присутствующих), чтобы мы все трое -- разом как-то изменили свою жизнь. И начать предлагаете с того...

-- Чтобы сбросить маски, -- жестко выдохнул Венгеров, решив наконец-то закончить начатую (свою!) мысль. -- Я предлагаю каждому принять то естественное состояние, которое наверняка осталось в каждом из нас. И первым делом каждый, -- каждый! (он подчеркнул),-- должен какое-то время побыть наедине с собой, чтобы вернуть то состояние, -- первоначальное состояние психики, -- о котором большинство из нас уже забыло.

-- ...А если не получится? -- спросил (после некоторой паузы) Гершензон.

-- Если не получится -- мы попробуем еще раз, -- усмехнулся Бурляев.

-- Ну что ж, -- я согласен, -- ответил Гершензон.

-- Я тоже, -- согласился Венгеров.

-- И я, -- кивнул головой Бурляев.

На том они и порешили.

Глава 6

Одиночество каждому из них далось нелегко. Точнее, -- не то чтобы одиночество. К этому все -- в какой-то мере -- привыкли. Семей у них не было. Родителей тоже (кто погиб, кто умер естественной смертью, кто -- уехал за рубеж). Работа же, -- если разобраться, -- не предполагала какого-то тесного общения. Даже друзей -- ни у кого из них больше не было.

Мужчины были предоставлены сами себе. И именно это, как ни странно, начало вызывать сложности. Например, Гершензон вдруг осознал, что его длительное нахождение наедине с собой -- приводило к какому-то ненужному самокопанию.

Он выискивал зачастую несуществующие проблемы. Обвинял себя в многочисленных грехах. Вспомнил -- разом вспомнил (картинка -- словно все произошло только вчера), что кому-то -- когда-то -- нагрубил. И кого-то -- обидел. Причём, за давностью лет, если даже когда и был виноват не он (что случалось, признаться, в большинстве случаев) -- бывший конфликт предстал совсем в ином виде -- теперь основным обвиняемым, конечно же, был именно он. И только он. Причем какие-то оговорки в защиту -- не принимались и не рассматривались.

Бурляев... Впрочем, Бурляеву -- на удивление -- было легче всего. Точнее -- могло бы быть. Но -- он точно также -- обвинял во всем себя. Да считал, что если какие конфликты где и происходили -- то только из-за него. Если кто-то что-то делил, спорил, высказывал недовольство -- все было из-за него. Причем, часто причина конфликта (как и у Гершензона) стиралась из его сознания. Оставляя после себя -- ком вины, грусти, ответственности... возложенный (в его подсознании) на самого себя и оттого -- мучивший его -- невероятно. Хотя, по природе своей Бурляев не был таким уж слабаком или недотрогой. При случае, он мог вполне серьезно заявить о себе, если и не возвеличивая себя, как Венгеров, -- то, по крайней мере, заставляя оппонентов ретироваться. И сбегать -- признавая свои ошибки.

Но подобное случалось редко. Все больше, -- именно с пониманием он смотрел, слушал, случалось даже -- разговаривал с другими. При этом сам он находился где-то очень далеко. Так далеко, что не всегда мог быстро вернуться обратно, когда, например, требовалось ответить на какой-нибудь вопрос -- подобострастно взирающего на него очередного собеседника.

Был Бурляев, как мы уже заметили, музыкантом. Пианистом. Но -- несмотря на образованность (консерватория и Гнесинское училище -- с отличием), лауреат нескольких российских и международных конкурсов, -- очень любил пообщаться с простыми людьми.

Внешне это выглядело, как будто барин внимает подающим ему "прошение" крестьянам.

И совсем иначе переживал запланированное одиночество Венгеров. Для него это вообще -- на удивление (для самого себя в том числе) не вызывало каких-то нежелательных эмоций. Словно -- так было всегда. (Да так, наверное, и было. Только Венгеров почему-то всегда предпочитал -- не распространяться о том).

Он был не только скрытен, но и, по всей видимости, с легкостью обставил бы в этом -- и Гершензона, и Бурляева. Причем, была у него -- какая-то циничная скрытность.

И если и Гершензон, и Бурляев при случае -- могли сникнуть, сдаться -- напору заинтересованных собеседников, -- то Венгеров никогда никого не только близко не подпускал, но и не позволял никому -- издеваться над собой. И любых желающих тотчас же без зазрения совести -- отшивал. Да еще и оставляя дураками. Ну или, -- выставляя в дураках. В зависимости -- от своего настроения.

Однако то, что наши герои уединились -- еще совсем не значило, что они действительно ступили на путь погружения в собственное бессознательное; тем более, рано было говорить и о решении действительно каких-то вопросов. Все в любой момент могло повернуться совсем иначе, чем кто-либо из них даже мог предполагать. И решить -- сбросить маски, -- конечно же, еще совсем не то же самое -- что сделать это. А то и наоборот -- в обратном их убеждал целый ряд причин, которые невидимым частоколом выстраивались между сознанием и подсознанием. И тогда уже приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы хотя бы приблизиться к намеченному.

Но что из себя представляло их теперешнее желание? Стремление разнообразить жизнь (Бурляев). Подойти к собственной жизни с каких-то иных сторон (Венгеров). И лишь только один Гершензон хотел действительно избавиться от тех внутренних кошмаров (начинавшейся фобийной зависимости психики), которые незримым образом проецировались и на его окружающую жизнь.

Он хотел избавиться от прежней жизни в первую очередь. Но как раз его-то психика -- этому больше всего и сопротивлялась.

Друзьям он не говорил пока ничего, -- но у него вдруг началось какое-то невероятное (точнее -- в сравнении с тем, что было раньше -- невероятно сильное) душевное томление. Хотелось разом все бросить, куда-то сбежать; и уж наверняка -- прекратить этот страшный эксперимент. Эксперимент, который стал нести в себе совсем иной -- неожиданный! -- эффект. И то, что, казалось, может позволить ему приблизиться к счастью (а, если Викарий Германович даже не говорил о том -- в слух он вообще о подобном предпочитал не говорить -- это все же невольно вертелось в его мыслях, мотивирующих -- и трансформирующих -- эти самые мысли -- на исполнение соответствующих желаний) начало наоборот -- приносить разочарование.

Что ему было делать? Ведь он действительно больше всех (как, по крайней мере, ему казалось) хотел изменений. И теперь -- в том, что те не наступали -- винил исключительно себя.

Но ведь и он совсем не был таким забытым, как, может быть, о нем кто-то полагал. Наоборот. Викарий Германович Гершензон мог -- при случае (вопрос -- что случай такой

предоставлялся нечасто) выкинуть такого кренделька, что наверняка бы этому позавидовал самый, что называется, "характерный" актер.

В такие (действительно нечастые) минуты Гершензон представлял из себя что-то вроде гремучий смеси из воли, характера, неприступности, безразличия и... упрямства. Причем, казалось, именно упрямство -- с легкостью перевешивает все остальное.

Но, должно быть, это действительно казалось. Потому что помимо упрямства -- была в нём и еще довольно существенная доля чего-то совсем необъяснимого, что не только оказывалось невероятно действенным, но и словно невидимый огонь -- подпитывало процесс закипания изнутри. И уже тогда -- Гершензон казался сумасшедшим. Стоило только поднести спичку (то есть найти абсолютно любой повод -- точнее -- находил он его сам), -- и Викарий Германович Гершензон принимался кричать так, что все тотчас же предпочитали убираться подальше.

Должно быть -- для своей же безопасности.

Но вот в том-то и отличие между Гершензоном и Бурляевым, что Бурляев характеризовался почти точно такими же вспышками безумия. Но при этом отходил также быстро. И даже через минуту-другую мог с легкостью надеть на себя маску пресытившегося и предпочитающего исключительно размеренную жизнь толстопуза, похожего на буржуа с карикатуры Кукрыниксов. Или -- грустного и одинокого клоуна, оставшегося на задворках уехавшего театра.

И в том, и в другом случае -- разница между состояниями Бурляева -- достаточно контрастировала, сбивая с толку невольных свидетелей недавнего "буйства и раскаяния".

Притом, что сам Бурляев совсем не желал замечать в своем поведении чего-то странного. И если Гершензон действительно подозревал собственную психику "в непостоянстве", то Бурляев предпочитал относиться к этому -- как к должному. (Правда, совсем неясно было -- к должному -- относительно чего? Но в любом случае предполагаемая проблема очерчивалась. Но... не разрешалась).

К странностям своих друзей Венгеров относился со снисходительной опаской. С одной стороны, он как-то тянулся к ним. Но с другой, -- что-то необъяснимое вставало перед ним, стоило ему только попытаться быть с кем-то из них -- откровенным (точнее даже -- не откровенным -- таким он в какой-то мере и был -- а расслабленным, что ли...).

Стоило только ему попробовать проявлять подобные чувства -- как тот час же что-то восставало внутри него, заставляя (именно -- вынуждая и заставляя) вести себя самым неадекватным образом. Ерничать, гримасничать, сарказмичать. И казавшийся до того индифферентным ко всему Венгеров -- вдруг превращался в настоящего скандалиста.

Но и это, казалось, не предел.

Вообще же, если подойти не только к вопросу формирования бессознательного всех трех наших героев, но и, главным образом, к вопросу той проекции, которую их бессознательное подспудно оказывает на жизнь, то вполне можно

заклЮчить: наши герои страдали. И страдания их -- с каждым прожитым днем вроде как даже и усиливались.

Правда, никто из них в этом особо-то не признавался. Быть может, из-за желания казаться значительно сильнее, чем они на самом деле были. А может -- просто они и не доверяли так уж друг другу. Ведь, по сути, что значит "друзья"? В ином каком-то смысле -- "друг" -- несомненно означало бы намного (в несколько раз, кардинально) большее, чем даже предполагает воображение. Но... совсем не так было у наших героев. И даже, несмотря на то, что отношения между всеми тремя вырисовывались действительно дружеские -- таковыми они, конечно же, не были.

И секрет как раз заключался в... нарциссизме каждого из них.

По какой-то удивительной причине нарциссизм (невероятная влюбленность в самого себя) был именно тем, что тщательно скрывалось и Гершензоном, и Бурляевым, и Венгеровым (хотя у Венгерова он довольно четко просматривался).

Неужели им стыдно было в этом признаваться? Ведь почти совсем невозможно допустить, чтобы они не осознавали подобного рода собственных пристрастий. А может наоборот -- осознавали и оттого... тщательно скрывали, вытесняли подобное желание. Но -- вытесненное -- оно прочно закреплялось там, подспудно влияя на поведение наших героев. Так -- Гершензон (только у него появлялось предчувствие, что речь может зайти о нем) проявлял все признаки начинавшейся психосоматики: у него дрожал голос и -- желая скрыть это от других -- он любимыми

путями спешил остаться один. Часто -- выскакивая даже из поезда метро (когда ехал, например, на работу).

Причем, в отношении Гершензона вполне можно было сказать, что его подобная реакция -- как бы и не шла вразрез с (и так существовавшей) мнительностью. Он подозревал всех и вся. И его мнительность -- была настоящий бич -- для какого бы то ни было из общающихся с ним. Стоило только кому-нибудь заговорить -- Викарий Германович тотчас же принимался настороженно всматриваться в говорившего. Отыскивать какой-либо подвох -- таящийся в его словах. Причем, ведь совсем нельзя было сказать, чтобы Гершензон так уж никому не верил. Совсем нет. Просто вера, быть может, была у него совсем специфической. Больше, вероятно, напоминающая неверие.

Однако, мнительность Гершензона прямо таки вынуждала развитие в нем подозрительности. И уже именно подозрительность -- была тем барьером, тем заградительным частоколом -- который возникал на пути желающих с ним общаться.

Несколько иным был Бурляев. У него, конечно же, тоже сидело где-то в подсознании нарциссическое начало. Но включалось оно не всегда. И долгое время Николай Андреевич мог оставаться душевным и компанейским человеком. И мало кто подозревал, насколько порой тяжело, ему это давалось.

Бурляев так же избегал общения. Но в его случае -- избегал он, скорее всего, именно длительных знакомств. Слово у него все время сохранялось ощущение надвигающейся опасности, готовой разразиться в любой момент -- катастрофой. И он --

словно обезопасивая себя таким вот образом. То есть, предпочитал лучше избежать ненужной встречи, чем позволить постороннему человеку нащупать свои слабые стороны, и ожидать (после этого): нападения с его стороны.

В дружбу Бурляев не верил. А свое общение с друзьями (Гершензоном и Венгеровым) рассматривал как некую форму того обязательного, что (по его мнению) должно присутствовать всегда, и что -- как бы -- достается нам в виде исключения из стандарта общих правил. То есть, -- раз положено иметь друзей -- так почему бы не остановиться на Гершензоне и Венгерове?

Любопытно, но когда я (Ольга Зиновьевна Маер) пыталась сопоставлять представленную передо мной троицу (с которой и познакомилась-то совсем случайно; а после неожиданной смерти всех троих -- меня попросили написать о них книгу. Но что это будет: действительно книга или только биографически-описательные заметки да зарисовки -- я еще не решила. Но взялась. И мой труд вы, вероятно, сейчас и держите в руках), -- то обнаружила, что Николай Андреевич Бурляев вполне может считаться неким усредненным аналогом Гершензона и Венгерова. И выходило так, что если бы их сначала умножили друг на друга, а потом разделили на три части, то этой третьей частью и был бы Бурляев. С какими-то удивительными вариациями вобравшим в себя черты и Гершензона, и Венгерова. И получилась бы такая усредненная копия обоих.

Среди троих -- пожалуй, именно Гершензон был наименее удачен.

Да и стоило только посмотреть на него, как тотчас же возникало предположение какой-то несчастья, -- исходившей от него. Причем, не только его внешность к этому располагала. Он был весь словно пронизан болью. Словно за что-то ему все время приходилось переживать. И это (по всей видимости, действительно именно это) находило отклик в душах -- общавшихся с ним.

Но Викарий Германович не терпел попыток участия в своей судьбе. Наиболее привычное его состояние -- состояние одиночества. Которого он боялся. И к которому -- несмотря ни на что -- стремился.

Глава 7

-- Ну, какие достигнуты результаты? -- Бурляев услышал в телефонной трубке веселый голос Венгерова ("опять настроен саркастически", -- тут же подумал он). -- Успехи есть?

-- Есть, есть, -- недовольно пробурчал Бурляев и случайно нажал на рычаг. Начинаясь было смех Венгерова прервался.

Бурляев подождал какое-то время. Венгерова не перезванивал.

-- Обиделся? -- подумал Николай Андреевич.

И, словно неся в себе подтверждение предчувствия или еще какую неизвестность, -- его телефон вновь зазвонил.

Но теперь он решил трубку не снимать.

-- Пусть тоже помучается, -- промелькнула в голове предательская мыслишка. --А что, если вообще...

-- Ты что это не берешь трубку? -- раздался за спиной Бурляева знакомый баритон Венгерова. (Бурляев от неожиданности покачнулся, успев опереться руками о стену, -- благо, что стоял как раз около нее -- напротив входной двери).

-- ...И дверь у тебя не заперта, -- словно продолжая начатую мысль, удивленно заметил Венгеров.

Только тут Бурляев заметил зажатую в одной из рук вошедшего Венгерова телефонную трубку. ("Мобильник", -- все понял Бурляев).

-- Ну да, я звонил с мобильного, -- как ни в чем ни бывало пожал плечами Венгеров, проследив за взглядом Бурляева. --А ты что это обрываешь разговор?

Какое-либо оправдание сейчас казалось Николаю Андреевичу особенно унижительным. ("Но неужели я и вправду -- не закрыл дверь?.. А может у Венгерова есть ключи?.. Хотя... не может у него быть ключей от моей квартиры...").

-- Кстати, как ты действительно себя чувствуешь? --на миг ушедший в себя Бурляев услышал голос вопросительно уставившегося на него Владимира Сергеевича Венгерова. Его друга. Но который был сейчас -- ох, как некстати...

-- Я вот что подумал, -- продолжал говорить Венгеров, совсем, казалось, не обращая внимание на смущение Николая Андреевича. --Если нам не прерывать эксперимент? И как бы попытаться -- плавно перевести его в жизнь?

-- То есть ты хочешь сказать...

-- Ну да, -- искренне улыбнулся, перебивая его, Венгеров.
--Ведь в конечном итоге мы хотели найти возможность жить в гармонии со своими желаниями. И тот этап, который прошел -- во-первых, иначе как первым не назовешь; да еще и прерывать его... -
- Венгеров посмотрел на Бурляева, внимательно слушавшего его, -
- не хочется.

-- Странно, -- подумал Бурляев. Он хорошо знал о способности Венгерова думать намного быстрее, чем говорить, обычно успевая еще к моменту окончания мысли (да ведь и не сказать-то, что его мысли бывали такими уж длинными) иметь при себе как минимум несколько вариантов предполагаемого развития "сюжета".

-- Ты знаешь..., -- начал было мямлить Венгеров, но уже в следующее мгновение ("опомнившись") Венгеров взял ситуацию в свои руки, неожиданно твердо посмотрев на Бурляева. (Того съезжило).

Но нет. Он не продолжил.

-- Впрочем, мне почему-то кажется, что не только тебе, но и нашему общему другу Гершензону, предусмотренное нами одиночество будет довольно-таки кстати, -- почти скороговоркой (словно предварительно долго заучивал -- а теперь выпалил разом, без пауз и знаков препинания) проговорил Венгеров. -- Однако, на мой взгляд, следовало бы попытаться как-то скорректировать условия эксперимента. Как ты на это смотришь?

-- Смотри в какую сторону.

-- В самую что ни на есть прямую, -- улыбнулся Венгеров. --Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить тебя. Отчего-то кажется, что ты меня понимаешь. А потом, -- ведь мы

на самом деле должны держаться вместе. И продумать -- как мы могли бы спасти Викария.

-- Спасти? -- не понял Бурляев.

-- Спасти, именно спасти, -- утвердительно произнес Венгеров. -- Смотри...

И Венгеров кратко поведал о своих предположениях. По его мнению, -- Викарий Германович Гершензон сходил с ума. И чтобы как-то замедлить этот процесс -- следовало навязать Гершензону определенную модель поведения, которой он должен будет следовать.

-- Но ведь мы сами решили избавиться от штампов, образов и стереотипов?! -- изумленно произнес Бурляев.

-- Да. Конечно же -- да, -- утвердительно кивнул головой Венгеров. -- Но это то -- что касается нас. Гершензон же -- явно не справляется. А если у него получится -- то никто из нас не сможет поручиться, что у Викария появится взамен.

-- То есть, ты считаешь..., -- начав понимать куда клонит Венгеров, задумчиво произнес Бурляев.

-- Я предлагаю -- убедить Гершензона "прекратить эксперимент". Вернее -- считать его завершенным.

-- Но ведь это противоречит нашей первоначальной договоренности, -- пробовал было отстаивать свои убеждения Бурляев, но, заметив на себе недовольный взгляд Венгерова, остановился, смутившись.

...Итак, несколько подытоживая сказанное, заметим, что Венгеров с Бурляевым договорились взять Гершензона под опеку.

При этом -- и на этом настоял Бурляев -- Гершензону совсем не обязательно было говорить, что "эксперимент" завершился.

А еще через время (с разницей: от нескольких дней -- у Бурляева, до недели -- у Гершензона) все трое принципиальным образом изменили свою жизнь.

А если быть точнее -- добавили в нее какие-то новые краски. Условившись -- хотя бы часть времени -- проводить в полном соответствии с "призваниями души".

В итоге -- Венгеров (первый из трех) устроился халдеем (как он это и называл) в ресторан. Бурляев -- разнорабочим на стройку. А Гершензон... Гершензон устроился проповедником в одну из сект.

Глава 8

Как мы уже поняли, наши друзья выбрали для себя те профессии, особую антипатию к которым они и испытывали. Если честно, меня слишком поздно ввели в курс дела. Но попытки отговорить, разумеется, ни к чему не привели. И тогда я просто принялась ожидать тех последствий (для психики в первую очередь), которые должны были произойти.

И они, в общем-то, вскоре и случились.

Причем, несмотря на то, что начали друзья в разное время -- закончили они почти одновременно. Причем, с действительно тяжелыми для себя последствиями.

Я даже не могла уверенно сказать, кому же из них пришлось особенно тяжело. И Гершензон, и Бурляев, и Венгеров настолько точно попали в цель с выбранными профессиями, что, должно быть, и душевную травму получили равную.

Ну, например, Венгеров. Чистюля, циник, с невероятным чувством собственного достоинства и пристрастием к саркастическому высмеиванию всех и каждого, -- вдруг ни с того ни с сего -- нанялся на роль лакея. Со своими ста, а то и стопятыдесятью тысячами долларов годового дохода, -- был вынужден прислуживать недорослям или неудачникам, накопившим минимально допустимую сумму для похода в ресторан и после первой рюмки входивших в роль Кисы Воробьянинова.

Бурляев -- эстет и пианист, с отличием закончивший все учебные заведения, в которых учился, -- вдруг попал в бригаду гастарбайтеров из Казахстана, да еще на должность разнорабочего.

Гершензон... С одной стороны Гершензон пострадал (хотя бы внешне) меньше всего. А то и наоборот -- он расстался со своими джинсами и футболкой, дефилируя теперь исключительно в строгом костюме. Но... не прошло и месяца, как он уже отписал "секте" свою квартиру (сделку потом признали недействительной, так как оказалось, что одна из его двух жен -- все же успела прописаться. Но -- молчала о том. Всеми коммунальными расчетами занималась старушка-соседка Гершензона, поэтому о том, кто еще прописан в квартире, -- он не знал. Да никогда и не касался этого).

Но какие бы то ни было проповеди были для Гершензона (все время погруженного вглубь себя) достаточно болезненными.

Хотя у него и оказалось много тех, кого ему удалось убедить прийти к ним в братство. Хотя -- как это тоже позже обнаружилось -- люди большей частью шли из сострадания... перед личностью Викария Германовича (на которого без жалости -- действительно - смотреть было тяжело).

.....

Все трое попали в несвойственное им состояние подчиненности. Но... как оказалось -- им не так-то просто было вырваться, освободиться от него. И, на самом деле, прежде чем Гершензон, Бурляев и Венгеров сумели, казалось, навсегда отказаться от своего эксперимента -- прошел достаточно длительный срок. Хотя бы потому...

Как думается мне -- а я, конечно же, пыталась анализировать произошедшее -- стало возможным подобное потому, что Гершензон, Бурляев и Венгеров -- как-то сразу почувствовали, что "унижение", которое они испытывали на своих новых работах -- невероятным и убедительным образом компенсировалось той формой свободы, которую получали они.

Всего лишь в одночасье оказалось, что таиться и скрываться -- больше как будто бы и не нужно.

И можно вполне легально начать испытывать те удовольствия, которые ранее -- считались запретными. Вернее, подобная форма удовольствий считалась запретной и сейчас. Но... сейчас на нее как бы никто не обращал внимания. (А если быть еще точнее -- никто не обращал внимания на то, что это делали

они). Потому что наши герои подсознательно выбрали те условия существования, вошли -- опять же -- в тот образ, который вполне оправдывал их новое поведение.

Другими словами (и мне это представилось как нечто ясное, убедительное, и -- неопровержимое), -- Гершензон, Бурляев и Венгеров получили возможность жить по "принципу удовольствия". И каким-то образом перед ними исчезли обязательства перед обществом. А что до интересов... интересы у всех троих и правда стали удивительными.

Гершензона, например, все чаще стали замечать в компании с молоденькими мальчиками. Правда, -- совершеннолетними. Но эти самые "совершеннолетние" (фигурами напоминающие девочек-подростков), возраст которых колебался между 18-20 годами, стали -- по очереди -- ночевать у него. Хотя он и говорил, что это его воспитанники, а он -- их "пастырь", но что "проповедовал" Гершензон по ночам -- было загадкой. Да и то, только уж для совсем ненаблюдательных. Потому что у Гершензона как-то разом изменились речь, жесты, походка... Он стал каким-то излишне женственным...

И для меня было действительно загадкой: что же сможет заставить Гершензона отказаться от той жизни (и -- в первую очередь -- сексуальных вольностей), в содомских тайнах которых - он стал жить сейчас.

Бурляев... Нет, до подобного Бурляев конечно же не дошел. Но... ему вдруг стало совсем "неинтересно" с прежними подругами (такими же утонченными эстетками, как когда-то был он). На смену им -- пришли (невероятно простые и доступные)

малярщицы, каменщицы и отделочницы... Которые, вероятно, позволяли "отдельвать" себя без ложной стыдливости или недоступности, от которых так за всю жизнь устал Бурляев, когда нужно было провести предварительный этикет, чтобы откровенно и в разных позах оттрахать какую-нибудь полюбившуюся ему музыкантшу. Теперь же на него набрасывались чуть ли не сами, желая "переспать" с интеллигентиком. Нет, мне-то как женщине все понятно. Но... я часто удивлялась -- куда же подевалась та скромность Николая Андреевича Бурляева, который как-то раз, не узнав мой голос (я позвонила ему -- сейчас уже и не помню зачем), сразу же предложил приехать к нему и заняться...

Я положила трубку...

Венгеров. Ну, у Венгерова ситуация вышла совсем (а, впрочем, так же как и у его друзей) непредсказуемой. Нет, он не стал "жить" ни с "мальчиками", ни с "девочками". Но -- с удивительной степенью настойчивости -- вдруг обратил внимание "на самого себя". И, помнится, случайно (будучи у него в гостях) поставив первый попавшийся диск -- я увидела, как Владимир Сергеевич Венгеров занимается любовью... с собой. (Причем, признаюсь, я даже засмотрелась. Уж так искусно он обращался со своим членом).

.....

Меня действительно шокировало поведение всех троих. И даже трудно сказать -- кого больше. Причем, я вынуждена была

себе признаться, что совсем неожиданно подобным метаморфозам подверглась тоже.

Но оказалось -- я ошибалась. Хотя и, если честно, до сих пор не понимаю, -- действительно ли настолько было оправдано то освобождение от масок, которые, как они считали, им мешали. А впрочем, вполне можно было допустить, что стоит только позволить каждому из нас быть самим собой -- и явно из нас станет выползать то запретное, что до сих пор удавалось сдерживать рамками цивилизации да различными там культурными нормами, запретами, табу...

А так -- дай только волю...

Глава 9

Но насколько, интересно, можно было бы раньше подумать о столь экстравагантных желаниях всех троих? Скорей всего, если бы и было что-то возможным, то лишь на уровне (тут же показавшимся нелепым) предположений и домыслов. Всего того, что совсем бы не нашло никакого подтверждения. Если никто из наших героев -- не хотел бы этого.

А тут... скорей всего сыграл роль фактор вседозволенности. Ведь если отталкиваться от него как от предположения, -- то возможным будет и признание подобных грешков -- за другими людьми, которые просто не попадали в схожую ситуацию.

Я, кстати, как-то занималась одной темой... помнится, пыталась даже защититься по ней (в ранней молодости; десятью годами позже -- значительно переделав работу -- а ту тему сделал лишь одним из параграфов, -- я действительно защитилась). Суть работы была в том, что проявление любых "низменных инстинктов" возможно практически у всех людей. Нужно только создать для них соответствующие условия.

Быть может уже понятно, что я нисколько не рассматривала подобное поведение своих знакомых -- как нечто неординарное. Я вообще, в какой-то мере, считала это подтверждением своей теории.

Что же до этой троицы... Мне кажется, они находили в своих новых возможностях настоящее счастье. По крайней мере, я совсем не замечала, чтобы кто-нибудь из них переживал.

Да и -- по сути -- эксперимент всегда можно было прервать. И уже то, что никто из них этого не хотел -- в который раз доказывало мои предположения...

.....

Однако, в итоге, когда-то это все же пришлось прекращать. По-моему, Венгеров первый почувствовал, что ситуация уж слишком съезжает в ненужную сторону. Бурляев же заметил, что она "не только съезжает", -- но и уже давно катится по другой колее. И наша задача, мол...

-- Ничего вы не понимаете!?! -- удивил всех Гершензон. -- Ведь слишком обывательски было бы делать какие-то суждения

по этому поводу. Хотя бы потому, что любые суждения -- несут в себе явную негативную оценку. И допустить, чтобы кто-то лез в мою душу?!.. Я, извините, не могу.

-- То есть, ты хочешь, дружище, сказать, что тебе все нравится, и ты совсем не замечаешь в какую яму все глубже и глубже погружаешься? -- с трудом сдерживал себя Бурляев, просверливая ненавистным взглядом перетаптывающегося на месте Гершензона. -- И ты пидо...

-- Стоп, стоп, стоп, -- вмешался в разговор Венгеров. -- Я вижу, вы действительно забыли, что одним из пунктов нашей договоренности ("пунктов, кстати, внесенных мной", -- многозначительно поднял вверх указательный палец Венгеров) -- был запрет на какую-либо критику и вмешательство в то, как другой захочет самовыражаться. Действительно забыли? Или...

-- Ладно, -- недовольно произнес Бурляев. -- Но я считаю, что нам следует или совместно прекратить "начатое" и остаться друзьями, или...

-- Или!? -- вопросительно посмотрел на него Гершензон.

-- Или разойтись к чертовой матери, -- закончил Бурляев.

-- Ну, я считаю, так ставить вопрос еще рано, -- заметил Венгеров. -- Но то, что нам стоит как минимум поговорить -- несомненно. Я предлагаю, кстати, тоже прекратить эксперимент. По крайней мере, я из него выхожу. Слушать эти обывательские разговоры да прислуживать мещанским рожам... Нет, я так больше не могу. Хотя идея существования ресторана как факта совмещения бизнеса и отдыха -- мне понравилась. Я уже решил открыть свой. Сейчас готовлю документы.

-- Вот это поворот, -- присвистнул Бурляев. Его лицо приняло удивленный и даже какой-то обиженный вид. Правда, лишь на время. Николай Андреевич умел брать себя в руки.

-- Да, действительно... -- медленно произнес Гершензон. У него было странное предчувствие, что он заболел. (Викарию Германовичу было и жарко, и холодно. Его тело как-то неестественно подрагивало. А в глазах было ожидание -- словно его вот-вот захотят ударить).

На самом деле, никто не знал, но нечто подобное началось у Гершензона как раз с того момента, как, поддавшись на уговоры, он решил больше не сдерживаться. И дать возможность удовлетвориться тем желаниям, которых раньше он или избегал или мог предаваться им -- редко и с опаской.

Но теперь вроде бы и бояться было нечего. Викарий Германович оградился от общества своим проповедческим статусом. И пусть кто-то считал организацию, где он работал -- сектой, -- это было совсем безразлично самому Викарию Германовичу. Потому что его там поняли, выслушали, да еще и -- возвеличили. И теперь он занимался тем, что курировал "прием новых членов" организации в отдельно оговоренном участке. И для этого ему было выделено помещение для проповедей, приставлено несколько проповедников (самому Гершензону, кстати, до сих пор приходилось пересиливать себя, выступая перед "братьями и сестрами"), и вообще, пусть даже это была и секта, но она делала все, чтобы Викарию Германовичу Гершензону было комфортно.

И ему на самом деле до поры до времени было комфортно. Но какое-то нелепое подозрение все чаще и чаще начинало беспокоить его. Ведь получалось, если "организация" знала о гершензоновских ночных посиделках, то почему никто ничего ему не говорил? (Заметим, у Викария Германовича было какое-то необъяснимое табу -- заниматься сексом в традиционной форме, -- то есть с партнером противоположного пола, -- только днем. А вот нетрадиционный секс -- наоборот, он мог практиковать только ночью). Но самое опасное для Гершензона было то, что ему все чаще стало казаться, что о его пристрастиях кто-то узнает помимо тех, с кем он предавался подобного рода наслаждениям. И его обман -- раскроется.

Но тот -- не раскрывался. А у Викария Германовича все больше накапливалось чувство надвигающейся на него опасности.

Причем, что должно было случиться -- он на самом деле не знал. Но уже это -- только усиливало его внутреннюю тревожность. И в какое-то время Гершензон вынужден был отказаться от своих гомосексуальных (если уж называть вещи своими именами) привычек.

Но оказалось, что он настолько к ним привык, что и не так-то просто было это сделать.

Гершензон стоял перед выбором.

В это самое время и произошел разговор с друзьями, где Бурляев и Венгеров настаивали на прекращении эксперимента.

Но свою позицию Гершензон еще не выработал. С одной стороны, он вполне привык подчиняться. (Подчинение он рассматривал не как форму демонстрации зависимости, а как

возможность избежать ненужной ответственности, вызванной необходимостью принятия собственных решений и вынужденным противостоянием кому бы то ни было. И прослеживая цепочку: противостояние -- агрессия -- возможные последствия..., -- Гершензон вполне предпочитал подчиняться. Тем самым, быть может, и "приобщиться" к власти подчиняющего. Каким-то образом идентифицироваться, слиться с ним. И уже таким способом -- почувствовать свое величие).

Но в данной ситуации -- таковое подчинение почти значило бы и прекращение той специфической формы отношений, которой Гершензон довольно искренне (с наслаждением и самоотдачей) предавался. Причем -- все больше и больше. Меняя партнеров -- все чаще и чаще.

Но... это означало, что действительно было пора заканчивать. И, немного подумав, Викарий Германович Гершензон согласился с друзьями.

-- Что ж, -- выдержал он паузу, привлекая внимание уже уставших было от спора друзей. -- Можно сказать, вы меня убедили. Я выхожу из организации.

-- Из секты, -- заметил Бурляев, который изначально был недоволен выбором Гершензона.

-- Да черт с тем, как это называется, -- в сердцах выдохнул Венгеров.

-- Согласен, -- поддержал его Бурляев.

Глава 10

Но насколько наши герои могли предсказать текущий ход событийных моментов собственного поведения? Как видится, -- совсем не могли. И... даже не пытались.

Однако, после краха эксперимента -- следовало, как предположил, кажется, Венгеров -- провести анализ произошедшего.

Но тема изжила сама себя. И больше к ней возвращаться никто не хотел.

И все же, за внешним (большой частью показным) равнодушием скрывалась, по всей видимости, достаточно значимая трагедия. Значимая -- для внутренней жизни каждого из них.

Гершензон, например, еще долго не мог оправиться после того, как, поддавшись "мотиву удовольствия" (как он это сам называл), -- совсем чуть ли не изменил свою жизнь.

Да он, впрочем, ее почти и изменил. По крайней мере, те мысли, которые теперь посещали его, -- каким-то загадочным образом периодически сбивали незримый ход рассуждений в область непрекращающихся и невероятно выматывающих его самообвинений. Причем, самобичеванием дело, видимо, не заканчивалось. И та тревога, которая, словно только намечала свое присутствие в нем, -- теперь неотступно следовала за ним. Грозил перерасти в тот всепоглощающий кошмар разума, который был представлен (в распалившемся сознании) настоящей

психопатологической симптоматикой. И который так просто, конечно же, не мог исчезнуть.

-- Неужели не будет от этого избавления? -- непрерывно задавал он себе один и тот же вопрос. И возможные варианты ответа -- все как один -- только уводили его в сторону. Но совсем, как будто, не из плоскости восприятия объективной действительности.

Иногда у Викария Германовича случались порывы необходимости какого-то действия. Ни начала которого, ни сути предполагаемого деяния он, тем не менее -- как ни пытался -- не осознавал.

Почему-то выходило, что случившееся, как будто бы -- некое запрограммированное предназначение. От которого и избавления-то не существует.

Ну, по крайней мере, Гершензон явно винил в произошедшем не только себя. И вопрос -- на кого переложить ответственность, как будто бы им и не поднимался.

Не поднимался, -- но незримо присутствовал. И уже вскоре -- Викарий Германович принялся (пока -- бессознательно, да и большей частью -- мысленно) обвинять... Венгерова. Как будто он (безошибочно?) угадал виновника кошмара, произошедшего с ним. И сколько он не отгонял подобные мысли -- вскоре уже стал раздумывать над тем, как получить сполна за нанесенные обиды.

(Любопытно, что суть обид, -- он, конечно же, никак бы не смог сформулировать. Вместо этого -- при, заметим,

немногочисленных попытках, все время возникало в его воображении нечто расплывчатое. И в этом образе -- Владимир Сергеевич Венгеров не угадывался ни с какой плоскости рассмотрения. Но, быть может, тогда это было иллюзией?)

Но заканчивать эксперимент Гершензон не спешил.

Впрочем, прошло совсем незначительное время, -- и ему просто стало не до выяснения предполагаемой виновности кого бы то ни было.

А произошло то, что Гершензон -- влюбился. И любовь его -- вполне оказалась в духе его тогдашнего внутреннего психического состояния. Потому как влюбился он... в меня. В Ольгу Зиновьевну Маер. И что мне было с этим делать?

.....

Все дело в том, что мужчин я никогда не воспринимала как сексуальных партнеров. Они могли быть кем угодно -- товарищами, друзьями, даже мужьями. Но... без какой бы то ни было сексуальной подоплеки.

Нет, совсем не то, что для меня это было безразлично. Просто я предпочитала женщин. Да не абы каких, а... впрочем, в этой книге речь не о моих сексуальных пристрастиях.

Но вот как было это объяснить Гершензону?

Сказать напрямую? Могла. Но... Я представила, что вызвала бы моя прямолинейность в его изнеженной душе, и -- говорить не стала.

Но и действовать как-то иначе я ведь не могла. Скрывать, таиться, придумывать невероятные истории -- это было совсем не для меня. Я слишком себя любила, чтобы заставлять себя оправдываться.

Сказать, что у меня уже есть другой мужчина?.. Тоже не могла. Тем более, никого у меня не было; и об этом Гершензон знал.

От необходимости что-то придумывать, меня внезапно избавил случай. Я получила командировку за границу. В Братиславу. И уже при всем желании -- просто не могла себе позволить -- принять предложение Викария Германовича. (Тем более, что и самого "предложения" пока еще не было). Но разве может женщина ошибиться? Тем более, что у Гершензона все явно читалось в глазах. Которые излучали... Но я отказалась.

Однако, как оказалось, на этом проблема совсем даже и не заканчивалась. Вероятно, тяжело переживая мой отъезд (почти двухмесячная заминка в наших отношениях тому подтверждение), -- Викарий Германович придумал способ общения со мной, в котором я (даже если бы невероятно того захотела) ему совсем не могла помешать. Он начал писать письма.

Какие это были письма!

.....

"Милая Оленька!

Как водится, действительно нашлось что-то, что способно помешать нашим отношениям. Но считать так -- значит уже изначально признавать абсолютную ненужность

моего существования. Потому что я... не могу без тебя. И со всей явно выраженной банальностью -- способен повторять тебе об этом еще долго и долго. Так долго, как буду вообще жить. Тем более (прости, но ужасно просится фраза), -- тем более, что умирать, как будто бы, и не собираюсь.

...Когда я узнал о твоём отъезде (ты, помнится, весь день как-то неестественно смеялась, словно подготавливая меня к чему-то), то совсем растерялся. Понимаешь, я так долго собирался тебе признаться в собственных чувствах, что даже совсем не представлял, что когда-нибудь смогу решиться на это. (И мой экспромт в день твоего отъезда, -- поверь, -- вышел как бы сам собой). Я просто вдруг почувствовал, что начинаю тебя терять. Но способен ли я был удержать тебя своим признанием? Да и что это -- по сути? Так, нелепые откровения стареющего литератора... Но если и ты способна их рассматривать с этих же позиций... прости... тогда, быть может, тебе не следует отвечать. Но я, по крайней мере, буду ждать... Неделю, две, три... Сколько, кстати, идут письма из Братиславы в Москву?...

Даже не знаю, как смогу пережить, если ты не ответишь?..

Но вдруг ты ответишь?!..

Викарий Гершензон."

Я ответила.

И почти тотчас же -- пришло еще одно письмо.

"Милая Оленька!

Прости, но я отчего-то решил набраться смелости называть тебя именно так. ("При наших встречах Гершензон называл меня по имени и отчеству. Хотя мой возраст -- двадцать семь -- как будто бы и не располагал к тому". О.М.)

Оленька!.. Мне почему-то хочется все время просить у тебя прощения?!.. Я словно изначально чувствую какую-то вину перед тобой... Что это за вина?.. Неужели я и впрямь -- в чем-то виноват перед тобой?.. Вероятней всего, -- просто не могу изменить себя.

Ты пишешь, что совсем не обращаешь внимания на нашу более чем десятилетнюю разницу ("почти пятнадцать лет". О.М.). Но я отчего-то переживаю из-за этого. Хотя ты права, -- я могу об этом и не думать. Могу -- но не готов. Хотя, может быть, когда-нибудь и решусь на это.

Оленька! Я хотел бы тебя попросить о совсем банальном (это, вероятно, делает каждый влюбленный? Но как боюсь я называть себя подобным словом. Боюсь... что смогу вызвать твое недовольство. Пусть и случайное, неосознанное, но мне бы совсем не хотелось раздражать тебя хоть чем-нибудь): выслать мне твою фотографию. Не буду говорить, что для меня это было бы -- хоть малое (как ты, должно быть, предполагаешь), но -- утешение. Утешение, которое не имеет права на существование, когда тебя нет рядом.

Напиши мне. И вышли -- в письме -- карточку. Хотя... можешь даже (если что-либо мешает или отвлекает тебя), -- не писать. (Видишь -- я готов идти на любые уступки ради тебя. Какими бы горестными они для меня не оказались). Но... свою

фотографию вышли. Любую. Какая сейчас есть у тебя. Это будет тот маячок, который не только согреет меня в разлуке с тобой, но и способен будет поддержать меня на жизненном пути.

Оленька! Ведь я не о многом тебя прошу. (Ты можешь выслать фотокарточку хотя бы из одолжения или сострадания. Или, например, "со злости". Или... "просто так". Но для меня, поверь, это все равно будет значить невероятно больше, чем если ты даже -- вдруг -- вышлешь её из-за какого-нибудь доброго чувства).

Оленька! Я, правда, не хочу тебя в чем-то неволить. Тем более -- заставлять или просить. Ты вполне вольна жить своей обычной жизнью. (Хотя, если честно, я только что поймал себя на мысли, что совсем не знаю, какой -- на самом деле -- жизнью ты живешь). Но я хотел бы -- знать о тебе все. О твоих привычках, пристрастиях, о том, что вызывает в тебе раздражение и гнев; может быть, -- печаль и меланхолию?.. Мне невероятно хотелось бы -- стать достойным тебя. Твоего внимания. Напиши мне... Пожалуйста...

P.S. Я совсем не хочу каких-то громких слов. Да и -- не люблю их.

Но ты моя последняя любовь в этой жизни.

...Тем более, что предыдущих-то -- и не было...

Викарий Гершензон."

Не успела я еще отойти от впечатления от письма, как получила еще одно. С содержанием... даже, пожалуй, не странным

(все -- по крайней мере -- можно было предсказать), а... в общем, -- таким я Гершензона не знала. (Вопрос -- знала ли я его вообще?)

"Оленька... мне вдруг стало невероятно грустно представлять, что Вас больше никогда не будет рядом... Не знаю, но именно такое почему-то у меня предчувствие... Быть может, конечно, это всего лишь чем-то навеяно... А быть может и правда -- будет так.

Не знаю... те суматошные мысли, которые в последнее время (связано ли это с Вашим отъездом?) стали посещать меня (мое -- наверное -- болезненное воображение), все больше и больше подталкивают меня к той неразрешимой загадке, которая -- периодически -- словно нависает надо мною...

Я, наверное, мучаюсь и переживаю... Кажется (действительно ли это только кажется?), что совсем невозможно ничего изменить. И тот обман, который я столько лет отодвигал как бы на потом, теперь все больше требует какой-то разрешимости. Словно уже -- устал ждать.

Но если и так (простите, только сейчас поймал себя на мысли, -- что выходит какой-то сумбур. Но ни изменить, ни переписать заново -- как будто и не могу)... Но если и так -- то я тогда вполне могу признаться... что попал в... ("неразборчиво" О. М.)... и мне стоит невероятных усилий -- выбраться обратно.

С чем это может быть связано?..

В. Гершензон."

Признаться, подобное письмо, полученное от Викария Германовича, навеяло и мне совсем нехорошие мысли.

Необходимость подобного "откровения" с его стороны вполне могла бы быть и оправданной. Но...

Я, видимо, все больше начинала запутываться. Неужели какими-то своими словами я смогла ввести Викария Германовича в заблуждение?.. Ведь никаких слов любви от меня, конечно же, не было. (Да я и не смогла бы себе подобное позволить!). Но, тем не менее, я все больше начинала ощущать, что Гершензон впадает в какое-то безумное сновидение. И виной тому -- я.

Но что мне было делать? Пытаться как-то оградить себя от попыток его участия в моей жизни? Должно быть, уже поздно. (Неужели я сама инсценировала и затянула эту игру?). Резко оборвать отношения? Это тоже не представлялось возможным. Продолжать играть?.. Но (особенно с учетом последнего письма) мне было не по себе. Да я и не смогла бы никогда пойти на какой-то обман.

Вернее -- так считала.

Но можно ли было как-то иначе назвать то, что (казалось, совсем без моего участия) происходило между мной и Викарием Германовичем? Не есть ли это тот самый обман, от которого я все время старалась избавиться?.. Или, может быть, это все же зовется как-то иначе?..

Но ведь и В.Г. пытался говорить о каком-то обмане? Не думая, что мы имели в виду одно и то же, я, тем не менее, еще раз перечитала письмо от В.Г.Гершензона.

Нет... мы, конечно же, имели в виду совсем разное. Но -- не я ли невольная виновница того состояния, в котором, по всей видимости, сейчас находился Викарий Германович? Может быть и

впрямь стоило резко оборвать наши отношения, чтобы он -- переболев -- забыл обо мне?!

И вот когда я находилась в подобных раздумьях -- мне пришло еще одно письмо.

Радостно, было, разрывая конверт, я случайно бросила взгляд на адрес отправителя... Бурляев!?

Этого еще не хватало!.. Я почему-то -- зная о дружбе между ними -- сразу подумала, что Николай Андреевич будет непременно о чем-то меня умолять в связи с психическим состоянием, в котором оказался Гершензон.

Но я ошиблась...

"Ольга Зиновьевна, здравствуйте!

Случайно узнал, что Вы уже какое-то время проживаете в некогда дружественной нам Братиславе. Признаться, я уже и забыл о существовании и этого города, и государства, с которым некогда... (впрочем, о внешней политике бывшего советского союза вы, верно, знаете не меньше меня). Тем более, я и не о том вовсе.

Поначалу я подумал -- ну, уехала и уехала. Что с того? Но на самом деле я никогда не мог бы в этом убедить себя. Пусть встречи наши были короткие (да и, собственно, встречами -- особенно в том смысле, который вкладывает в это большинство, узнав об отношениях между женщиной и женщиной, -- это и назвать-то было нельзя. Так, совместные посиделки в кругу друзей), но, все же постарайтесь понять меня правильно -- я всегда почему-то вкладывал совсем иной смысл в наши отношения. А то, что держал его в тайне, лишь, наверное,

подтверждает Ваше удивление, которое (я это представляю) постепенно возрастает в Вашем сердце.

Но удивление -- это не гнев. И мне бы очень не хотелось, чтобы что-то похожее на гнев вы испытывали, читая это письмо.

Тем более -- в ответ на мое следующее признание: Ольга Зиновьевна -- я люблю Вас!

Пусть это выглядит как нечто шокирующее. И уж, вероятно, никак не ожидаемое Вами. Но поверьте -- это так. И это именно то, что я до сих пор не только скрывал, но и в чем боялся признаться даже себе.

И ведь не сказать, чтобы мои чувства неглубоки, или непостоянны. Просто, -- подспудно ожидая появления у Вас удивления (и, вероятно, последующий за ним -- отказ), -- я все время оттягивал подобное признание, оставляя как бы на потом. Пока не понял, что этим сделал только хуже себе.

Я люблю Вас, Ольга Зиновьевна. И прошу Вас стать моей женой.

Поверьте -- я все обдумал. И даже этому, казалось, моему сумбурному признанию на самом деле предшествовали мучительные размышления.

P.S. Совсем не неволю Вас отвечать даже в ближайшее время. Мне хочется, чтобы в отношении меня -- по отношению к Вам, -- не было каких-то неразрешимостей. И мне даже претит возникновение какой бы то ни было тайны.

Я люблю Вас. И этим все сказано.

Жду ответа.

Николай Андреевич Бурляев."

Ну, теперь я и вовсе растерялась.

Уж чего-чего, а такого я никак не ожидала. Ну, с какой стати мне должен был писать Бурляев? Да еще и влюбиться в меня?

На душе становилось как-то необъяснимо тревожно. Я даже поймала себя на мысли, что каким-то образом начинаю проецировать на себя внутренние ощущения, больше свойственные, например, тому же Гершензону... Но никак не мне...

Правда, то было ранее... Но ведь и не могу я сказать, что так вот сразу -- изменилась. А была ли такой раньше?

Да о чем это я? Конечно же, "ничего такого" (и даже похожего) не было и не могло быть со мной раньше. Да, может быть, и сейчас-то вступает в свои права какая-то нелепая проекция, от которой избавиться я не могу. Остаётся только... подчиниться ей.

...Но подчиниться -- значило бы изменить себя. Изменить, прежде всего, тот образ, который (измышления по этому поводу Гершензона мне были известны) я с легкостью (а может быть, и не с такой уж легкостью) приняла за нечто основополагающее в своей жизни.

Но... Когда же я стала такой?.. Неужели мой отъезд (и, прежде всего, наверное, та "игра", в которой я так малодушно приняла участие) способствовали тем изменениям, которые пока только наметились (как же мне хочется верить -- что только наметились, а не произошли) в моем восприятии действительности. И, верно, в том воображении, которое каким-то

незримым образом в последнее время стало подчинять меня себе. А ведь это более... печально? больно? обидно? потому что знала я наверняка, что такой -- раньше не была.

Да и -- не позволяла себе быть.

Хотя вернее, пожалуй, именно: не позволяла себе быть. Всячески отрещиваясь от тех действительно душевных порывов, которые подспудно все-таки просачивались...

Да и сейчас я, если разобраться, лишь впала в какое-то действительно малодушие. Размякла. Еще гляди и расплачусь!

И я -- усилием воли -- попыталась взять себя в руки.

Получилось.

И уже дальше -- я принялась (с той же, свойственной мне, настойчивостью) ругать себя.

Но ведь, согласитесь, не очень-то приятно казаться слабой и зависимой. Нет, для кого-то это вполне привычное состояние. (И в этом нет ничего плохого. Психика людей проявляет себя одинаково, если это касается каких-то мелких, не существенных, деталей).

Но вот я-то... Я совсем не могла себе позволить -- быть такой. Для меня все же как-то привычней -- подчинять себе других. Повелевать--не повелевать (женщины как-то испоганили власть над мужчинами, сделав ее смехотворно вынужденной, и -- "до поры до времени"), но я хотела, да и могла, властвовать над мужчинами... Хотя по сути -- никогда и не любила их. Мне все-таки больше ближе женщины. Этакие милые создания, которыми... Впрочем, как могла, я свои отношения с женщинами скрывала. И не то чтобы общество было не готово к подобной

форме отношений. Скорее мне было привычнее самой сдерживать свое иной раз прорывающееся желание -- демонстрировать публично: какие могут быть отношения между двумя женщинами! Да и не о сексуальных я даже говорю. А именно о искусстве любить. Ухаживать. Тонко чувствовать те женские желания, которые может понять только женщина...

Но ведь я никогда и не отказывалась от мужчин! Правда, несмотря на мои двадцать семь, -- еще не спала ни с одним из них.

Но это дело поправимое. Было бы только желание.

Хотя, признаться, такого желания как раз и не было. Женщины -- да. Женщины -- это другое. А вот мужчины... Они все казались мне -- или с чрезмерным наличием маскулинных качеств. Или наоборот -- фемининных. Что-то среднее если и встречалось, то вовсе отталкивало своей расплывчатостью

Но вот как быть с этими письмами?..

Интересно, что никто из них, по всей видимости, не знал, что мне написал другой... Или знал?!

А ведь как-то нужно было выходить из создавшегося положения...

Глава 11

-- Насколько ты считаешь, она способна понять мои чувства?..

Владимир Сергеевич Венгеров в который уж раз слышал вопрос Бурляева, -- и совсем не мог на него ответить.

Вернее, может быть, на сам-то вопрос ответить мог. Но вот если бы его задал кто-то другой. А что до Бурляева... Бурляева в последнее время он вообще недолюбливал.

Не то что бы они так-то уж рассорились (из-за пустяков они не ссорились, а на серьезные темы друг с другом не разговаривали). Просто ему (как-то нелепо и вдруг) Бурляев стал безразличен. Неинтересен. Как человек.

Объяснить он это не мог. Да и -- если разобраться -- никогда и не пытался.

-- Если честно, мне вообще непонятно -- зачем она тебе нужна? -- все же, решившись ответить с откровенной прямоотой, выпалил Венгеров. -- По-моему, когда она была в России -- никто из вас и не думал о ней как о возлюбленной?

-- Из "вас"? -- настороженно посмотрел на него Бурляев. -
- Кого это ты имеешь в виду?

-- Гершензона, -- признался Венгеров. (Он, конечно же, знал о чувствах к Ольге Маер Викария. Как и о том -- что Бурляев -- пока об этом не знает.)

-- Какой негодяй! -- Бурляев принялся нервно расхаживать по комнате (они встретились в кабинете Венгерова. Вернее -- Бурляев пришел к нему. Как раз -- "попросить совета"), -
Подонок!.. Безумец!

-- Безумец? --заинтересованно посмотрел на него Венгеров.

-- Безумец, -- словно сам с собой разговаривал Бурляев. -- Неужели этот педераст влюбился в мою Оленьку?

-- Вот те раз!? -- не удержался Венгеров. --Когда это она стала "твоей"? Все продолжаешь жить в мире иллюзий?

-- Тебя это не касается! -- жестко ответил Бурляев, засобиравшись.

-- Уходишь?! -- издевательски произнес Венгеров, с проступившей на его губах ехидной усмешкой рассматривая Бурляева.

-- А ты что хочешь?! -- с вызовом посмотрел ему в глаза Бурляев.

Венгеров почувствовал -- он всегда это чувствовал -- что Николай еле сдерживается, чтобы не броситься на него с кулаками.

-- Ну полно, полно, -- как можно спокойнее постарался произнести Владимир Сергеевич. -- Ты прости меня. У меня всегда так, -- иногда вырывается совсем ненужное.

Давай я лучше тебе как-то постараюсь помочь? Ну, например, съезжу в Братиславу -- и попробую убедить Ольгу в твоей любви к ней. Или...

-- Ничего мне от тебя не надо, -- перебил его Бурляев. -- Справлюсь как-нибудь сам, --сказал он и, повернувшись, направился к входной двери.

-- Ну и убирайся! -- прокричал (про себя!) Венгеров и -- пожал на прощание руку Николаю Андреевичу.

-- А что? -- вышел на балкон Венгеров, закуривая. -- Может быть, мне действительно поехать в Братиславу? Сделать такой ход конем, -- со злорадством подумал он, провожая взглядом вышедшего из подъезда Бурляева.

Глава 12

Состояние Гершензона ухудшалось с каждым днем. Это казалось еще и необъяснимее, потому что никаких видимых причин, как будто бы, врач не обнаружил. Да и врача-то, собственно, Гершензон был вынужден вызвать по настоятельной просьбе старушки-соседки, которая, заметив, что он несколько дней не выходил из квартиры -- (дежурив у подъезда, она, в той или иной степени была в курсе личных дел жильцов) -- зашла к нему.

Как ни пытался Викарий Германович противиться, но чем больше он пытался не думать об Ольге, наоборот, мысли о ней, казалось, почти только одни и роились в его голове.

Когда-то, еще в самом начале зарождения (а то и даже только предчувствования) любовной страсти Гершензону казалось, что он с легкостью может избавиться от подобного.

Но, верно, упустив момент в самом начале, у него теперь не было сил даже раскаиваться в собственном малодушии. Тем более, винить себя.

Каким-то незаметным образом ситуация выскользнула из под его контроля. И теперь казалось -- ему больше ничего и не остается -- как лишь только смириться с происходящим.

Но не означает ли такое смирение -- катастрофу?.. Ту самую катастрофу, которая, как он чувствовал, все более и более

затягивает его в пропасть. Может быть, ту самую пропасть, из которой так просто не выбраться.

Гершензон подумал: не выбраться без посторонней помощи. Но почти тут же вспомнил свои мысли (многолетней давности), когда он, отвечая на один из вопросов после конференции (конференция на какую-то совсем нереальную тему, а выступление Гершензона, кажется, касалось творчества писателей, у которых он нашел общий мотив в изображении чего-то), Гершензон с уверенностью попытался убедить собравшихся, что в отношениях между двумя -- третий, в зависимости от обстоятельств, может быть и "лишним", и "единственно необходимым".

Но теперь Викарий Германович отмахнулся от своей же мысли.

В его отношениях с Ольгой -- никто помочь ему не мог. Да и Гершензон бы тысячу раз подумал, чтобы допустить "третьего".

Но что же было делать, если сам он -- разрешить уже явно наметившийся разрыв -- был не в силах. Не мог. Не был способен. Так же, как не был способен реально оценить ситуацию.

И он знал об этом! Знал, что в данный момент находится в плену собственных чувств к... в общем-то, незнакомой ему женщине. Знал, что она... ему не нужна. Но чем больше он убеждался в абсурдности своих притязаний "на любовь" и обладание этой (далекой... конечно -- далекой) женщиной, тем еще больше он хотел именно ее.

И ничего не мог с собой поделаться...

Глава 13

Ольга Зиновьевна Маер, двадцатисемилетняя, высокая, красивая женщина, мучительно раздумывала над своими любовными отношениями.

Ее заостренный профиль (видимый стороннему наблюдателю -- каких, в общем-то, в тот час не оказалось -- сквозь приоткрытую дверь кабинета точной механики одноименной кафедры Братиславского университета) мог бы показаться божественным в лунном свете, если бы черты лица Ольги Маер не искажала гримаса такой безысходности, что впору было действительно спасти бедную женщину.

-- Я запуталась в своих отношениях... -- думала Ольга. Еще минута, и ее тонкая фигурка должна была бы (по сценарию) затрястись в уже не скрываемом плаче, если бы... если бы -- оглянувшись -- она не увидела в дверях... Бурляева.

(Рассудив, что стоит довести начатое "признание" до конца -- Николай Андреевич бросил все дела и вылетел в Братиславу. Он как раз решил -- на всякий случай (час-то поздний) -- зайти в университет, где -- как сказали -- она работала и, обойдя кабинеты (на вахте сказали, что Ольга Маер еще не выходила), -- нашел наконец-то ее).

Что он хотел сказать своим приездом? Действительно ли думал разрешить свою проблему (не много ли вообще проблем?) таким образом. Или это было очередной ошибкой, которые (прямо напасть какая-то) в последнее время он стал совершать одна за другой.

Совсем об ином подумала Ольга. Вернее, -- во-первых, она вдруг разом вообще потеряла способность думать. И испуг еще больше отразился на ее лице, а взгляд -- из ощущения безысходности -- разом принял выражение какой-то забитости.

А во-вторых, отчего-то в лице Бурляева -- она увидела не Николая Андреевича Бурляева, а... Гершензона.

Но это было только вначале.

Заметив направленный на нее взгляд поклонника (она тут же вспомнила письмо), -- Ольга тотчас же надела маску недоступности -- и гордо посмотрела на Бурляева.

-- Зачем Вы приехали? -- металлическим голосом произнесла она и встала, механически поправив прическу. -- Разве Вы не получили моего письма, в котором я довольно ясно дала понять, что между нами невозможны никакие отношения? (Это был ва-банк. Никаких писем Ольга не писала. Да она, по сути, и не знала что написать. Но теперь, видя как ситуация грозила выйти из-под контроля, -- все действия касающиеся ее персоны Ольга привыкла, как минимум, заранее планировать, -- она сама пошла в наступление)

-- Ну, зачем Вы так сразу, -- тотчас же растерялся Бурляев. (Вообще-то, -- если разобраться, ему никогда не доставало мужества. И, если приходилось быть решительным, то это было больше наносное. И достаточно редкое состояние. От которого он еще в недавнем прошлом пытался так безуспешно

избавиться, но потом решил, что этого делать, в общем-то, не стоило).

-- Значит, давайте так, -- завидев смущение Бурляева, решила не выпускать ситуацию из-под контроля Ольга. -- Мы сейчас расстанемся. И больше никогда не будем искать друг с другом встречи. Иначе...

Бурляев не дал ей договорить. Медленно, по ходу ее монолога, приближаясь к ней, он покрыл последние полуметры подобием какого-то прыжка, и, через секунду-другую совсем непонятной борьбы (к такому развитию сюжета Ольга была совсем не готова) -- он, повалив Ольгу на ее же рабочий стол -- осуществлял нехитрые движения, не только проникнув в Ольгу, но и -- явно начиная доставлять ей удовольствие.

-- Действительно, такого у нее еще не было... И за первым порывом высвободиться, Ольга только покрепче притянула первого в ее жизни мужчину, с удивлением чувствуя разливавшееся по телу наслаждение -- в ответ на ощущение чего-то горячего и упругого внутри.

-- А ведь это, пожалуй, совсем не то, чего ей удавалось достичь в отношениях с женщинами, -- подумала она. -- Тем более, что там -- в основном она выступала в роли мужчины. А теперь...

Всего через минуту-другую, не в силах сдерживаться, крик Ольги огласил здание уснувшего научного учреждения.

К моменту, когда удивленные охранники заглянули в ее кабинет (дверь никто закрыть и не подумал), -- Ольга Зиновьевна Маер уже разливала кофе (себе и Бурляеву) из термоса, словно

мимоходом (надо же было что-то ответить) представляя Николая Андреевича Бурляева как коллегу из Москвы.

Глава 14

Венгеров оказался в двойственном впечатлении от встречи с Бурляевым.

С одной стороны, -- он был доволен, что успел сказать тому о притязаниях на любовь к Ольге еще и Гершензона. Но с другой, -- был, в общем-то, недоволен, что не успел окончательно настроить против Викария Германовича -- Бурляева. А то и действительно боялся (мысль об этом промелькнула в его голове) объединения двух влюбленных друзей -- против него. Ведь, исходя из предположения, что всегда можно найти врага, чтобы консолидировать свои действия против него, Владимир Сергеевич Венгеров как-то начал подозревать, что как раз таким "врагом" вполне может стать и он.

И он -- по сути -- был недалек от истины. Именно идея "объединения" пришла в голову Бурляеву, когда он вышел от Венгерова. Бурляев даже направился к Гершензону -- но не застал того дома. И тогда он пошел в ближайшую кассу -- и купил билет на самолет до Братиславы. (Вопрос о необходимости виз в любую страну он решал через бывшего одноклассника, работавшего теперь в МИДе).

Что мог Венгеров противопоставить и Гершензону, и Бурляеву? И, должно быть, в первую очередь Ольге? В отличие от "друзей" -- у него не было никаких чувств к загадочной шатенке, --

как он ее называл. Вернее, -- не было никаких положительных чувств. А то и наоборот, -- в его душе накапливалось какое-то (необъяснимое?) недовольство этой женщиной. Недовольство, которое объяснить он действительно был не в силах.

Разве что... Но нет. Эту мысль он тут же отогнал в сторону. Хотя, быть может, и правда?..

Но нет. Конечно же, этого не могло быть. Притом, что Венгеров, по сути, вообще не мог ни в кого влюбиться. Не был способен. Не способен, прежде всего, на какое-то чувство. Потому как эгоцентризм был развит у него в значительно большей степени, чем у кого бы то ни было. Притом что себя он не только любил, но и вполне научился совсем обходиться без женщин. Они ему были не нужны. Не нужны -- как и не нужен сам лживый факт их существования. (Помимо женщин, -- действительно отчего-то вызывавших в нем неприязнь, -- Венгеров также не любил животных, мужчин и -- особенно -- детей. Эти маленькие волчата его вообще раздражали).

Впрочем, не больше, чем все остальное.

И тогда уже вполне можем спросить себя (вернее -- должен был, вероятно, спрашивать себя сам Венгеров), -- насколько оправданна была его подобная позиция? Ведь отчего-то казалось, что это было не иначе как -- вынужденная мера. И специфика существования, да и сам факт наличия в душе Венгерова подобных мыслей -- могли бы, наверное, натолкнуть кого-нибудь на мысль хоть как-то проинтерпретировать подобное.

В какой-то момент Венгеров решил ехать к Ольге. Мысли об этой женщине неотступно следовали за ним. Явно

мешая и заставляя все время сбиваться на совсем неприятные для него размышления.

Притом что казалось -- поделаться ничего он действительно не мог.

-- Значит -- надо действовать, -- в который уж раз решил Венгеров, предусматривая в первую очередь поездку в Братиславу. Но сначала решил навестить Гершензона. Узнать, так сказать, детали его взаимоотношений с Ольгой Маер. И просто -- узнать последние новости.

Однако Гершензона он не застал дома. Мобильного у того не было (не признавал!). Домашнего телефона, впрочем, тоже. Единственная возможность увидеть его -- прийти или домой, или в институт -- где, как вспомнил сейчас Венгеров, Гершензон читал какие-то лекции. (На самом деле телефон у Гершензона был. Вот только номер почти никто не знал).

Владимир Сергеевич направился именно туда.

В институте сказали, что самим было бы интересно увидеть Викария Германовича. Несколько лекций сорвано. ("Может быть Вы прочитаете?" "Да нет -- я энтомолог". "Ничего, это лучше, чем совсем отменять занятия", -- так и не поняв Венгеров -- шутила или говорила всерьез заведующая кафедрой мировой литературы, где -- как оказалось -- работал Гершензон).

Выйдя из института, Венгеров было даже растерялся. Зная Гершензона, он вполне мог предположить, что тот ни за что не будет делать каких-то странных поступков, как, например, "саботирование" собственных лекций.

Значит, получалось, что-то стряслось. Но что?

Раздумывая над этим вопросом (неразрешимым, по сути), Венгеров неожиданно заметил Гершензона, который шел по другой стороне улицы -- через дорогу; притом, что было абсолютно ясно -- в институт тот не собирался.

Кричать на улице Венгеров бы себе никогда не позволил, а потому поспешил нагнать Гершензона и узнать у него ответы на многочисленные (возникающие и наслаивающиеся друг на друга уже как снежный ком) вопросы. Однако, когда он уже было и нагнал того (десяток метров не в счет), Гершензон внезапно сел в затормозившую рядом машину (хотя до того неспешно дефилировал по тротуару, явно никуда не спеша и производя впечатление человека который внезапно сошел с ума. Точнее -- почему-то так казалось -- с тех пор, как он его увидел несколько минут назад -- Венгерову. А если быть еще точнее -- иного он просто и не мог бы подумать) -- и уехал.

В таком дурацком положении Венгеров давно уже не был. Создавалось впечатление, что у него было какое-то задание всей его жизни -- и он его сейчас провалил. Вернее, и не провалил даже. А оно -- просто куда-то исчезло. Испарилось. Самоликвидировалось, -- как говорил Куравлев в одной из комедий; но Венгерову было сейчас совсем не до комедий.

В одночасье он ощутил себя таким ничтожеством, что застыл на месте, парализованный внезапными мыслями.

-- И что ему было делать теперь?

-- Кого-то ищите? -- услышал он вкрадчивый голос за спиной, и, оглянувшись, увидел... Гершензона.

-- Так ты же... там... машина... -- растеряно пробормотал Венгеров.

.....

-- ...Ничего, все будет хорошо... Немножечко отдохнем... Я вам просто гарантирую -- что вскоре все придет в норму... И вы увидите, наконец-то, свою машину. Или что вы там искали... (Перед Венгеровым появилась уже совсем другая "картинка". Теперь голос принадлежал не Гершензону. Точнее, может быть, и Гершензону. Но почему тогда он был в белом халате?)

-- Да я... я вроде как и здоров? --неуверенно произнес Венгеров и тотчас же почувствовал свою незащищенность перед осторожно привязывавшими его к кровати (ремнями или веревками, -- разглядеть не представилось возможным) молодыми мужчинами в таких же белоснежных -- как и у "говорившего" -- халатах. -- Ну, полноте, зачем... -- что-то еще бессвязно пытался шептать Венгеров, но вскоре -- укол начал действовать -- провалился в какой-то другой мир. В иное -- измерение. И тотчас же нелепые (но почему-то -- догадался Владимир Сергеевич -- они и не кажутся такими уж нелепыми) сновидения завлекли его в конец зашатавшегося -- в анализе действительности -- сознания; и как-то быстро Венгеров и совсем лишился способности что-либо оценивать.

Да и можно ли было назвать то, что виделось теперь Венгерову какими-то -- даже намеками -- на сновидение? Перед ним разом, то появлялась мозаика сотен тысяч различных цветных картинок (в малых размерах которых Венгеровым интуитивно угадывались поступки, интуиции, обстоятельства собственной

жизни; правда, совсем невозможно было разобрать -- действительно ли все это уже случилось? или в некоторых из картинок был заложен код управления будущим?); то, наоборот, перед его сознанием предстал абсолютно чистый лист; и словно слайды -- разными, но всегда едиными цветами -- желтый, оранжевый, бирюзовый... -- различные картины его прошлой жизни проходили перед ним, задерживаясь на долю секунды. Так что совсем нельзя было ничего на них разобрать. Но почему тогда он не мог ничего узнать? Или мог?..

Постепенно картинки (большой частью те, подобные мозаике, в которой угадывалось какое-то изображение) принесли ощущение какой-то безмерной радости. Счастливее Владимира Сергеевича Венгерова теперь не было на свете. Но как только Венгеров уже было начал задаваться вопросом, мол, достоин ли он подобной радости -- тот час начали появляться какие-то необъяснимо -- загадочно -- неразличимые черные кляксы. Расплывавшиеся и постепенно заполнявшие с трудом сопротивлявшиеся цвета.

Потом как-то резко все померкло. И почти тут же Венгеров начал ощущать в себе состояние такой тревоги, что волнение, беспокойство и прочее -- уже даже и не усиливали и без того ощущение какого-то ужасного "грехопадения". Мир обрушился. И ничего, кроме боли -- теперь не могло быть. Ощущаться. Чувствоваться.

Не хотелось ни жить, ни умирать. Почти совсем и вовсе ничего не хотелось.

Венгеров разом лишился способности даже думать о чем-то. И какая-то необъяснимая тяжесть стала разрастаться внутри него. Еще немного, и она уже грозила разорвать его сознание, разорвать его самого, уничтожить... Венгеров вдруг стал задыхаться. Теперь у него даже времени не было что-то думать.

Он почувствовал, что умирает...

-- Что Вы ему вкололи? -- услышал Венгеров голос. И осторожно открыл глаза. Над ним склонились двое мужчин. В одном из них он разглядел Гершензона. Правда, тот несколько изменился. Постарел. Но неужели и правда это был он?

-- Аминазин, -- произнес "Гершензон".

-- История болезни у Вас в кабинете? -- спросил другой.

-- Ну, где ж ей еще быть? -- усмехнулся "Гершензон" и, дав какие-то наставления стоявшей неподалеку полубожаженной женщине ("медсестра"?), мужчины удалились.

-- Я в больнице, -- догадался Венгеров и, на всякий случай закрыл глаза. Но открывать их ему уже расхотелось. Он уснул.

Глава 15

Если честно, я толком не знаю, каким образом Венгеров оказался в психиатрической клинике. Как раз в то время я на две недели уехала во Францию (конференция в Париже). Бурляев -- уехал в Москву. А когда я приехала и позвонила подруге в

Москву, та сказала, что меня зачем-то разыскивает Гершензон. И, словно между прочим, -- о том, что Венгеров попал в больницу.

-- ...Ну что ты, дурочка, -- улыбнулась (на том конце провода) подруга, видимо, на мой невольный вскрик (я вообще не любила, когда с кем-то из тех, кого я знала, что-то случается). Он цел. А больница -- психиатрическая. Кажется, неврологическое отделение.

Тут же подруга рассказала, что "новость" она узнала от Бурляева (Бурляеву, кстати, она-то и дала мой зарубежный адрес; а с Николаем Андреевичем познакомилась, когда он пришел к ней в поисках меня. Причем, как я узнала, познакомилась достаточно близко).

-- Вот оно что!?! -- подумала я.

Признаюсь, мне отчего-то показалось, что виновницей случившегося -- была я. Зная о дружбе Гершензона, Бурляева и Венгерова и понимая, что как минимум двое из них в меня влюблены, я подсознательно решила, что Венгеров влюбился тоже.

Вероятно, подумав о моих мыслях, -- подруга еще больше подлила масла в огонь, сказав о том, что доктора говорят - мол, Венгеров все время упоминает о какой-то женщине. Но она, к сожалению, не знает о какой.

-- Черт бы побрал всех этих добровольных помощниц, -- выругалась я и уже начала было думать, как теперь скорректировать свое поведение (особенно была мучительной мысль, что если и правда Венгеров попал в клинику, страдая от

любви ко мне), но что-то мне помешало. А через время я и вовсе забыла и о Венгерове, и о Бурляеве, и о Гершензоне. А также о подруге, о Москве, о работе... потому что -- влюбилась сама.

Глава 16

Гершензона не отпускало. Еще недавнее состояние внутренней тревожности, которое, он философски рассудил: уже не пройдет, -- а значит, к нему следовало "привыкнуть", внезапно прошло само собой. Но торжествовать и отмечать победу вовсе не хотелось. Он просто не верил, что отделаться от того постоянного беспокойства, которое начиналось с момента, когда он открывал глаза и -- с переменным успехом -- сопровождало его в течении дня -- будет возможно. Ну, не верил -- и все.

-- Оно не могло пройти, -- все больше думал он, когда число пройденных (с момента "излечения") дней -- уже оказывалось обратно пропорционально состоянию улучшения, которое испытывал он и которое ("вот пример иллюзии обмана"! -- думал Гершензон), казалось, уже совсем и не думало возвращаться.

Но когда сознание Гершензона, наконец-то, стало готово к принятию сего факта -- Викарий Германович внезапно подумал об Ольге -- и все возвратилось на круги своя.

Но вот удивительная деталь. Как только это случилось -- Гершензон, наоборот -- почувствовал себя лучше. Правда, продолжалось это недолго и связано было, вероятно, с тем, что как

только "болезнь" отпустила -- Гершензон (каждый день!) подспудно ожидал -- возвращения ее. И -- дождался.

-- Теперь так просто не отделаться, -- философски заметил он, настроивая себя на внутренние ощущения.

Сказать, что у него получилось, пожалуй, нельзя. Но и что -- совсем уж "не получилось" -- тоже, наверное, невозможно.

Хорошо было бы вовсе забыть и об этом не думать. Хотя бы -- не думать.

Но -- не получилось. Неприятно, -- но разве от этого может когда-нибудь быть приятно?

Мысли о том, что надо было что-то решать с Ольгой (ответа от нее он не получил. Несмотря на письмо, на которое она -- по его мнению -- "должна была ответить"), -- каким-то образом оставались без той необходимости "активации", когда действительно необходимо было действовать.

Но что он мог поделать?

Поехать к ней?

А дало ли бы это хоть что-то?.. Гершензон хорошо знал тот тип женщин, к которому принадлежала Ольга. Он даже как-то бессознательно тянулся к подобным людям. Но только тогда, когда был уверен в какой-то своей правоте.

Сейчас же все было неясно.

-- Неплохо было бы, наверное, совсем забыть ее, -- подумал Гершензон. Но все эти раздумья -- были, по сути, размышлениями ни о чем. Потому что -- заставить себя -- Викарий Германович был не способен. Влюбиться в другую?.. А зачем?..

Так уж были нужны ему эти женщины?.. Да и чем они -- по сути -- отличались?.. Фигурой?.. Внешностью?.. Так это была только оболочка. Та обманчивая видимость, на которую он, собственно, когда-то и обращал внимание. Обманывая и себя, и доверившихся ему женщин.

Приносил ли он своим обманом горе?.. Да Викарий Германович -- если хотите -- вообще боялся об этом думать. Хотя... не слишком ли многого он боялся?..

-- Да нет. Все оправданно, -- убеждал он себя. И в какие-то глубокие рассуждения -- проникать тоже боялся. Бродив все больше "на поверхности".

-- Конечно, можно было бы придумать себе какое-то новое занятие, -- чуть было не загорелся новой идеей Гершензон.

Но подобная мысль, поблуждав в лабиринтах души, -- так и не нашла никакого лучшего применения, как раствориться среди множества других, таких же не оформившихся во что-то конкретное и нереализованных (потому и нереализованных) желаний.

Гершензон, было, еще раз задумался. Но больше никакие мысли не шли в его голову.

Безграничное пространство воображения по-прежнему манило и поражало таящимися внутренними богатствами, но с недавних пор они стали для Гершензона недоступны.

Но прежде, чем провалиться в пропасть небытия (нечто похожее он испытывал в последнее время), -- Викарий Германович вспомнил о своих друзьях: Бурляеве и Венгерове, с которыми он давно -- вроде как -- не виделся.

Викарий Германович не знал точно, как это выразить, но выходило -- что он и не искал встречи с ними.

Ему стало неловко.

-- А вдруг с ними что-то случилось? -- подумал он, но тотчас же отогнал эту мысль.

Честно сказать, ему было неловко, что все это время ("а, сколько прошло-то?.. неделя?.. две?.. месяц"!?) Гершензон даже не пытался связаться с ними.

Ну, по телефону он, предположим, разговаривать не хотел. Но ведь были и другие варианты общения. Встречи, наконец. Помнится, раньше он сам искал... Хотя... о чем это он? Никогда сознательного общения он ни с кем не хотел. Он вообще мог вполне наслаждаться общением с самим собой. Правда, иной раз появлялись какие-то странные мысли. Но ведь не мог же он действительно...

-- Черт те что, -- Викарий Германович оборвал собственный поток измышлений, еще раз выругавшись, и решил покончить с неприятной темой.

Он встал, накинул плащ (осень в Москве уже начиналась) и вышел, решив направиться напрямиком...

Куда?..

Викарий Германович в нерешительности остановился. Куда-то идти ему внезапно расхотелось.

Глава 17

"Осознание какой-то страшной реальности отзывается во мне жуткой (и неприглядной для восприятия) болью.

Не сказать, чтобы я к этому был совсем не готов... Но -- насколько я мог судить на самом деле -- наступление чего-то похожего -- я каким-то образом все время отодвигал куда-то на задворки сознания. Ошибочно полагая (не в этой ли ошибке мне сейчас приходилось расплачиваться), что если смог избежать его сейчас -- то, значит, оно уже никогда и не придёт.

Но сказать, что я действительно заблуждался?.. Мог ли я позволить себе сказать об этом?.. Не это ли и есть -- ошибка? Ошибка именно "в понимании непонимания"? И...", -- я наконец-то решила прочесть ту тетрадь, что мне передал Гершензон.

Но неожиданно (цепочку порой совсем нелепых обстоятельств, сопровождавших получение тетради от Викария Германовича, переданную мне через какие-то третьи руки -- знакомых -- знакомых я сейчас и не привожу) читать мне вовсе расхотелось.

В какой-то момент я принялась, было, обвинять себя в подобной бесчеловечности. Но осеклась, выдвинув себе в оправдание теорию о том, что я и сама, мол, такая же несчастная, как и он. Просто, может быть, я научилась скрывать свое состояние от окружающих. Не выплескивать на других все те недовольства, которые вскипающим штормом разливаются внутри, и которые я... Нет. Я не искала повода найти успокоение. Можно было бы даже сказать, что подобное состояние чуждо мне. И в стремлении прекратить начинавшуюся внутреннюю тревожность (которая, я знала, черт знает к чему может привести)

-- я с суматошной поспешностью стала разбивать и разбрасывать, вполне перемешивая одно с другим, окружающие предметы.

Гостиничный номер, который мне предоставил институт, вскоре покрылся обломками мебели, осколками посуды, намеками на когда-то вполне приличную обстановку, которой я, впрочем, никогда не придавала значения. Мою душу выворачивало наизнанку. Она растрескивалась в иступлении плача.

Содрогалась в штормовом помешательстве отказывающегося что-либо понимать разума. Сотрясалась в полном осознании безысходности.

Я знала, что ничего не изменится. Ни сегодня, ни через год, ни через жизнь. Вся причина заключалась во мне. И это было, видимо, итогом той нервозности, которая настолько близко слилась с моим обыденным состоянием, что мне уже было невозможно (даже если б я захотела) отделить одно от другого.

Я знала одно: я должна была страдать. Это страдание, в какой-то мере (ведь я вполне могла рассудить так), было своего рода искуплением за мое отношение к жизни. Искуплением, -- больше напоминающим расплату. Потому что в семантическом единстве эти слова казались не только связаны неразрывной связью, но и в симбиотической страстности -- способны были только усиливать эффект, произведенный другим.

А значит ждать каких-либо улучшений -- все равно, что сдаться, смирившись с неизбежным.

Но способна ли я была допустить подобное?

К черту все! Мою жизнь! Положение! К черту всю ту нелепость, которую могут подумать обо мне другие!

...Я посылала, выкрикивая ругательства, все к черту... и мне становилось легче.

Вероятно мои крики (на часах -- почти полночь) привлекли чье-то внимание, и в мою дверь осторожно постучали.

-- Кто там? -- хрипло прокричала я.

-- Полиция! -- как можно спокойнее ответили за дверью.

-- Пошли к черту! -- молча ругнулась я и пошла открывать.

-- Мадам, у вас все в порядке? -- смущаясь (только сейчас я вспомнила, что почти не одета и постаралась прикрыться дверью) и пряча глаза, проговорил молоденький полицейский. Другой закатил вверх глаза, видимо пытаясь сохранить в своем воображении мою -- только что виденную им -- грудь. Он вообще показался мне извращенцем.

-- Да, да, простите, -- поспешно произнесла я и попыталась, было, закрыть дверь. "Извращенец" успел поставить башмак.

-- Но, мадам, -- заметив действия напарника, молодой полицейский подбирал слова, пытаясь объяснить необходимость появления полиции.

-- До свидания, -- жестко произнесла я и, выбив своей ногой башмак "извращенца", -- захлопнула дверь. -- Можете подавать в суд, -- прокричала я сквозь дверь опешившим полицейским.

-- Это попытка сопротивления властям, -- услышала я голос "извращенца", но только усмехнулась про себя. Эти истосковавшиеся по бабе "педерасты" хотят только одного, --

подумала я про себя и тут же поймала себя на мысли, что
слащавые лица полицейских действительно напоминали мне геев.
И как только я поняла это -- то тот час же легко смогла объяснить
себе и свою реакцию на поведение полицейских.

.....

Читать не хотелось... Я совсем не способна была
собраться и решить, что же мне теперь следовало делать.

Одинокая луна казалась такой же одинокой, как и я. Или
я -- как она?

Еще днем кипевшие мысли, будоражащие хоровод
желаний и (неудавшееся) приключение будущего... смолкли перед
ощущением вечности, которая нависла надо мной.

Или это нависла тьма?

Я зажгла настольную лампу.

Лампа оказалась единственным, что уцелело после
недавнего побоища с собственным сознанием.

Что я должна теперь делать?

Спать?

Спать не хотелось.

Быть может, следовало попробовать убрать в комнате?
Расставить хоть кое-как уцелевшую мебель, -- я искоса пыталась
ухватить масштабы "погрома". Собрать -- уже, впрочем,
отсутствующие -- мысли...

Делать мне ничего не хотелось.

Если честно (могу же я хоть себе в чем-то признаться?), я очень боялась того, что со мной происходит. Может быть, боялась -- повторения подобного.

Хотя вряд ли я действительно чего-то боялась.

Мне внезапно захотелось кого-то любить. Не абстрактно, -- а по-настоящему.

Причем захотелось именно мужчину.

Что это со мной сделал Бурляев?.. Наверное, назло ему следовало пригласить к себе женщину. Но женщин почему-то совсем не хотелось.

-- Дура! -- чуть не закричала я. -- Какая же ты дура!

Мне вдруг стало грустно. "Дурой" быть вовсе не хотелось.

С трудом блокируя вырывавшееся желание обозвать себя еще раз -- я прошла в ванную и сунула голову под ледяную воду.

Стриженные волосы (совсем недавно я остригла свои косы) легко пропустили сквозь себя стужу.

-- Неужели и вправду я не могла ничего поделать? -- подумала я.

Желание как будто ушло. И те мысли о собственной безысходности (с которыми я боролась в течении дня, вечера, ночи...) -- вновь вступили в свои права.

-- Значит... в какой-то мере это предreshено, -- уже готова была я смириться с открывавшей врата неизбежностью -- как вдруг осознание действительно представившегося передо мной

откровения -- разом вытеснило существовавшее до сих пор "безобразие".

Я натянула футболку, джинсы и вышла, выталкивая перед собой "шлепки".

-- Спасибо, -- поблагодарила я служащего гостиницы, в ответ на мой вопрос -- кивнувшего в сторону телефонного аппарата, стоявшего неподалеку от него.

-- Будет слушать или уйдет? -- не успела подумать я, как на том конце провода услышала заспанный голос Гершензона.

Не давая Викарию Германовичу выразить свои восторженные эмоции -- я попросила его прилететь первым же рейсом и продиктовала адрес. -- Буду ждать, -- прошептала я (служащий занимался своими делами) и положила трубку.

Начало было положено.

Теперь следовало приготовиться "к приезду".

Глава 18

Венгеров растерялся.

-- Как с ним могло такое случится? -- Владимир Сергеевич осторожно приподнялся с кровати. -- Не привязан!

Вокруг ходили какие-то абсолютно непонятные люди. В непонятных одеждах. С непонятными выражениями на лицах. ("И

это неврологическое отделение"? -- подумал он, вспомнив случайно услышанный разговор двух больных).

-- За что меня так? -- пронеслось в голове.

Через час, срочно вызванный в кабинет главного врача, Венгеров увидел там улыбающегося (в приветствии!) Бурляева, и - переданный ему под опеку -- еще через время... ("сколько нужно времени, чтобы доехать на такси до Кушелевки?") сосредоточенно рассматривал новый канделябр (у Бурляева -- страсть к собирательству) в квартире Николая Андреевича.

-- Ну, пойми, я, как только узнал, что случилось с тобой - тотчас же примчался, -- вздыхая от непонимания друга, оправдывался Бурляев.

-- А сколько я просидел в этих застенках? -- спросил, обращаясь, в том числе и к самому себе Венгеров.

-- Я вылетел к тебе сразу... -- принялся, было, вновь что-то доказывать Бурляев, как тотчас же осекся, поймав на себе заинтересованный взгляд Венгерова.

-- Вылетел? -- переспросил тот. -- Откуда это ты вылетел? -- в голове Венгерова пронеслись возможные адреса нахождения Бурляева, и он почему-то подумал о Братиславе.

-- Ну... нет-нет... я... -- неожиданно смутился Николай Андреевич и тем тут же укрепил подозрения Венгерова.

-- Ты был у Ольги, -- догадался Венгеров и посмотрел на Бурляева как на мартовского кота.

-- Да полно тебе, -- принялся, было, оправдываться Бурляев, но "все понимающие" кивания головой Владимира Сергеевича явно убеждали в бесперспективности такого шага.

И тогда он пошел в наступление.

В следующие несколько минут друзья выложили друг другу все -- что они друг о друге думали.

Победу явно одержал Бурляев (по крайней мере, так показалось Венгерову); а потому Владимиру Сергеевичу стало совсем как-то нехорошо. Тем более, -- что и хорошо-то -- с того момента, как он обозначился на улице (хоть и тайно, -- он все равно считал -- что тогда это был Гершензон) ему не было. На мысли в голове нанизывались невидимые лучи (излучаемые черт знает кем и откуда), от которых становилось не то жарко, не то холодно, -- а может быть они и вообще расширялись (впитывая в себя оставшийся разум), и казалось, готовы вот-вот разорваться -- на мелкие частицы совсем черт знает чего. И, признаться, Владимир Сергеевич все время теперь ожидал повторения того амебоподобного состояния, в котором оказался тогда, и которое... Нет. Пока он был (хотя бы более-менее) в здравом уме -- Венгеров гнал от себя все, что хоть чем-то напоминало (или могло напомнить) начинавшееся безумие. Следовало, правда, как-то "позаботиться" об этом, но... почти ничего сделать было нельзя. Не хотелось.

-- Ты знаешь -- я осознал свою ошибку, -- неожиданно произнес Бурляев. -- И преданно посмотрел на Венгерова.

Если бы Владимир Венгеров решил бы задаться целью да проанализировать (даже мало-мальски серьезного анализа не потребовалось бы, так лишь, усердие, внимательность, да сопоставление фактов) поведение Бурляева, то он бы, наверное, с легкостью обнаружил, что психика того характеризовалась невероятным сочетанием повторяющихся "спадов" и "подъемов". Цикличность, конечно, проследить было трудно. Но то, что одно неизменно сменялось другим -- было несомненно.

И тогда уже, вероятно, душевным подъемом можно было бы объяснить поездку Бурляева в Братиславу (в чём тот признался). Сейчас же -- явно был "спад". И потому делать с Николаем Андреевичем можно было все что угодно.

И это было так.

В такие минуты (затягивающиеся, иной раз, на долгие месяцы) Бурляев действительно представлял из себя нечто бесформенное. Словно внутри он раздваивался (на два -- это мало; скорее -- на три, пять, семь...) и собрать части самого себя какое-то время было совсем невозможно.

-- Я могу предоставить тебе шанс искупить вину, -- медленно, словно раздумывая, произнес Венгеров.

Венгеров -- в отличие от того же Бурляева -- всегда был собран и сконцентрирован. За исключением случая, когда он попал в клинику (и этот случай настолько ему представлялся загадочным, насколько и -- невозможным. Хотя факт его нахождения там мог засвидетельствовать Бурляев, сидевший напротив. Но можно ли было верить этому его свидетельству?

Бурляева самого нужно было лечить), Венгеров всегда не только знал, чего он хочет, но и всегда следовал намеченному плану. А если что когда не удавалось -- искал и устранял причину. По крайней мере, -- не было ничего, к чему он бы боялся подступиться. (И если такие "что-то" или "кто-то" находились -- Венгеров не противопоставлял себя им, а просто избегал "совместного местонахождения". Тем самым -- исключая нежелательный "объект" из своей жизни).

Совсем иная ситуация была сейчас.

Ну, во-первых, следовало что-то решить с Ольгой Маер. (Даже упоминание об этой женщине было ему неприятно. Венгеров словно чувствовал свою незащищенность перед ней. Незащищенность -- базирующаяся вероятно на незнании, неумении подобрать к ней ключ; невозможности пока что, как он считал, -- подчинить ее себе). Во-вторых, был еще Гершензон. (А разрешить загадку -- "он или не он" проходил в тот день мимо института -- было сродни решению иных вопросов, связанных с Викарием Германовичем). Ну и в третьих, -- следовало завершить начатое с Бурляевым.

Итак, по всей видимости, сейчас решать нужно было с Бурляевым.

В голове Венгерова родился план. По нему выходило, что Бурляеву сначала следовало максимально увлечь собой Ольгу Маер, -- а потом бросить её. Тем самым хоть на какое-то время пошатнуть ее уверенность в себе. (Что следовало делать дальше -- Венгеров придумать не мог. Где-то в голове вертелась необходимость и его участия. Но во что-то конкретное необходимость этого самого участия оформиться не могла. Разве

что... Нет. Что-то путное действительно не лезло в голову). Решить же вопрос с Гершензоном -- Венгеров вознамерился в первую очередь. И заслал к нему Бурляева. Тот должен был рассказать о своих отношениях с Ольгой. И, -- главное, -- об ответных чувствах Ольги к нему.

Затем нужно было бы, наверное, вмешаться и ему. А в каком ключе предложить помощь -- следовало решить в зависимости от реакции Гершензона. Здесь Венгеров решил полностью положиться на свою интуицию. Что-то придумывать заранее было бессмысленно.

Но все ходы Венгерова нарушила Ольга. Когда Бурляев уже собирался отправиться к Гершензону -- тот неожиданно пришел сам. И поведал о своей помолвке с Ольгой Зиновьевной Маер.

-- И она согласилась? -- бессознательно выдал свои чувства к Ольге Бурляев.

-- Да я и сам не ожидал, -- искренне признался Гершензон и рассказал о звонке из Братиславы, просьбе приехать и о том предложении, -- которое сделала Ольга.

Бурляев взглянул на Венгерова. В его взгляде читался вопрос: следовать ли намеченному плану?

Венгеров убрал глаза, что можно было бы истолковать как -- "не знаю", так и -- "делай, как считаешь нужным".

Опомнившись (рано было давать инициативу Бурляеву!) Венгеров попытался поймать взгляд Николая Андреевича, но тот посчитал нужным -- и в самых что ни на есть живописных красках -- поведал застывшему на месте Гершензону (тот, вроде бы, и

раздеться еще не успел; чувствовалось, что он был переполнен новостью о намеченной свадьбе) о том, с каким наслаждением Ольга отдавалась ему, когда он -- проездом в Вену -- заехал к ней поговорить о чувствах влюбленного в нее друга Викария...

Гершензон побелел. Он был похож на человека, которого разом лишили правды жизни. Лишили будущего. Отобрали...

Венгеров еле успел втиснуться между Бурляевым и бросившимся на него Гершензоном. Нож, нацеленный на Николая Андреевича (и, вероятно, бессознательно подхваченный Гершензоном со стола -- друзья собирались обедать) вошел в тотчас же обмякшее тело Венгерова.

Увидев, что произошло, -- Гершензон потерял сознание.

Борясь с бессознательным желанием прирезать лежащего в обмороке Гершензона (всунув орудие убийства в руки лежащего рядом Венгерова -- мол, зарезали друг друга), Бурляев побежал вызывать скорую. Уже выбегая на улицу, подумал, что следовало, вероятно, просто позвонить по телефону.

Глава 19

События, произошедшие в России, еще не коснулись меня. А потому -- я вся была в предвкушении ожидавших меня изменений в жизни.

Брак почему-то виделся мне как раз тем событийным моментом в жизни, который должен был эту самую жизнь здорово изменить. Внести в нее то новое, чего, быть может, давно не

хватало. И чего, наверняка, до сих пор -- я всяческими путями избегала.

Чего я ждала от брака?.. Да еще от брака с Гершензоном?.. Любила ли я его?.. Насколько я в действительности себе отдавала отчет, когда предложила ему столь выгодную для меня "сделку"?

Действительно ли это было можно назвать сделкой? Ну, а как же тогда -- любовь?

Да собственно говоря, любовь была. Ну, конечно же, не любовь -- к Гершензону. Или -- к какому-либо еще из мужчин (о том, что произошло между мной и Бурляевым я вообще быстро забыла. Ну -- заставила себя забыть. Признав случившееся чем-то вроде ошибки).И, быть может, как раз именно то, что произошло между мной и Николаем Андреевичем, можно сказать: подтолкнуло меня к решению -- перестать так уж опасаться того, что уже давно жило внутри меня; того моего "я", которое я всяческим образом или принижала, или -- что еще хуже -- старалась от него избавиться.

Как раз поэтому, вероятно, становится понятно, почему я решилась сделать такое предложение Гершензону. Со всех позиций это был более чем оправданный ход. Оправданный прежде всего самим существованием во мне нетрадиционного желания получения наслаждения от общения именно с женщинами.

Чем была для меня женщина? Женщиной была я. А общение с себе подобной -- способно было, на мой взгляд, дать

мне то недостающее, что я никак не могла бы иначе получить от жизни.

Конечно, ещё вопрос -- какой должна была быть женщина, которую искала я? И, в первую очередь, конечно же, она должна была нисколько не походить на меня, так сказать, в моем сознательном отображении. Тем не менее -- являя пример именно меня: в бессознательном измерении. Пример той, которую я всячески подавляла в самой себе. То, от чего если и не избавлялась до конца -- то стремилась подавить, заглушить, нивелировать смысл прорывавшихся желаний.

Другими словами, это могла быть женщина, с которой я всячески -- в себе -- боролась. Но к которой же -- подсознательно я стремилась.

И я знала, как только в ком-то из своих знакомых подружек увижу себя, и после того, как уговорю ее быть со мной (жить и любить так же, как и я), -- то именно тогда наступит гармония. Та внутренняя гармония, к которой я всегда стремилась. Та гармония, -- которая, в принципе, отдалялась от меня. И которая -- как недоступная звездочка сопровождала меня по жизни.

Эту самую звезду я и намеревалась достать.

А помочь мне в этом должен был Гершензон.

Ну, во-первых, он был такой же, как и я -- в своих сексуальных пристрастиях.

Во-вторых, каким-то образом умудрился влюбиться в меня. (Как раз самой-то любви -- как я предполагала -- не было. Видимо, в моем лице он видел некое средство заполучить то, чего подспудно он боялся. Ошибочно приняв страх, а может быть, даже ненависть -- за любовь. И, наверное, официальное обладание мной

-- должно было как-то успокоить его. Помочь снять внутреннюю нервозность, которая вполне могла погаситься несколькими путями-способами. Например -- как я догадывалась -- его достаточно развитым стремлением к подчинению. Этаким латентный мазохизм. В приобщении к сильной и властной личности, -- каковую, вероятно, он видел во мне, -- Гершензон вполне мог ожидать, что и ему достанутся частички этой власти. Или, скажем, возможность иметь меня в качестве жены -- тешило бы его самолюбие. А значит -- позволило бы унять стремление к власти. Повысить свою значимость. И тем самым -- опять же -- снять ту "базальную" тревогу, которая не только жила в нем, но и - подчиняла его себе).

В общем, во всех отношениях -- и Гершензон и я -- выигрывали. Так же как и обоюднo выигрывали в том, что не должны были таиться в выражении собственных сексуальных пристрастий. Звание -- "муж" или "жена" -- способно закрыть не одни пересуды.

Ну а, кроме того, я не могла не сказать и о совсем уж подсознательном желании Гершензона изменить меня. Как многие гомосексуалисты, которые боятся разоблачений, а потому -- иной раз -- вынуждены подвергать (и себя и партнеров) чрезмерной конспирации, -- Гершензон вряд ли мог спокойно реализовывать свои скрытые сексуальные фантазии. А слишком частое утаивание (и, вследствие этого, -- избегание интересных для него контактов) -- вполне могло привести к зарождению у него мысли -- мол, я на самом деле "не такой". И стоит мне найти нормальную (в его понимании) женщину -- и больше мне никто не будет нужен.

Наивные люди. Нахождение понимающей (даже если такая дуручка и найдется) женщины -- не избавит их от привычек. Тем более, это и не привычка уже -- а сама жизнь. А избавиться от жизни -- можно только лишившись ее.

Но уже именно потому (мучительного взвесив все "за" и "против") я понимала, что брак между нами будет как раз именно тем, что позволит нам -- оставаясь собой -- еще и продолжать жить.

Не отвлекаясь на болезненные детали психики, способные если не привести в отчаяние, то уж испортить жизнь точно.

Итак -- я должна была действовать. И теперь мне необходимо было готовиться к свадьбе...

ЧАСТЬ 2

Глава 1

Венгеров выжил. Пролежав в больнице несколько месяцев -- его выписали (забирали -- Ольга и Бурляев).

Отмахнувшись от дернувшихся, было, к нему знакомых - Владимир Сергеевич прошел мимо. Словно не замечая.

Бурляев и Ольга переглянулись.

Неуверенно ступая вслед за Венгеровым ни Ольга, ни Николай не знали, как начать разговор с Владимиром Сергеевичем. За время, пока тот лежал в больнице, никто из них -- огражденный запретом следователя -- навестить его не смог.

Сейчас -- они чувствовали вину за это.

К тому же, совсем неизвестно было будущее Гершензона (который находился в тюрьме). Так же как и неизвестно, что решил Венгеров (через медсестру Ольга передала записку Владимиру Сергеевичу, где соглашалась "принять любые условия" в обмен на... ну понятно было на что).

И вот теперь -- судя по реакции Венгерова -- исход и решение по делу Гершензона был совсем не ясен.

С одной стороны, -- предполагала Ольга, -- у Владимира Сергеевича вполне могла включиться некая защитная реакция психики. Впрочем (соглашалась она с Бурляевым), -- Венгеров всегда был всем недоволен. И достаточно непредсказуем. Как он поведет себя на этот раз?

Несколько потеряв Венгерова из виду (Бурляев и Ольга -- встретив ассистента лечащего врача -- вынуждены были потратить какое-то время на выслушивание благодарности от разоткровенничавшегося молодого парня за подаренную -- Ольга постаралась -- аппаратуру. Конечно, благодарить было за что. Как-никак почти десять тысяч долларов потрачено. Но -- время, время...), они успели нагнать Венгерова, когда тот садился в такси.

Бросив на обоих недовольный взгляд, Владимир Сергеевич передал им сложенный вдвое листок из блокнота.

Развернув (такси уехало вместе с Венгеровым), они увидели электронный адрес с кодом доступа.

Ольга тотчас же вытащила карманный компьютер и вошла в Интернет.

Через минуту они уже вчитывались в текст письма Венгерова.

Глава 2

Инесса (подруга Ольги Маер и ее двоюродная сестра) отошла от тюремного окошка, куда только что отдала передачу. Среди нехитрого набора -- сало, колбаса, хлеб, чеснок, сигареты (причём, сигареты обязательно требовали потрошить, передавая один табак) -- не было ничего незаконного. Письмо Инесса

передала через "контролера" (охранника), заплатив названную тем сумму.

Если говорить о мотивах её помощи Гершензону -- мы легко можем зайти в тупик. О любви говорить было, по меньшей мере, безрассудно. Сменив несколько мужей -- Инесса давно уже находилась в свободном полете. Даже не подрабатывая сексом -- а зарабатывая им на жизнь.

Но только уже как полгода ей совсем не нужно было ложиться под всех (хотя она всегда давала себя "любить" не всем, а избранным). Потому как теперь -- являлась она официальной невестой одного двадцатидвухлетнего мальчика. Который успел настолько в нее влюбиться (и как в первую женщину в том числе), что ничего не хотел слышать ни о ее тридцати семилетнем возрасте, ни о сплетнях по поводу нимфомании и занятиях проституцией (папа -- руководитель пресс-службы нефтяной компании -- давно собрал всю информацию об Инессе Амшеровне Каплан), ни о... ни о чем, в общем.

Он любил ее.

И она "отвечала взаимностью".

Причём, практически невозможно было сказать (все только на уровне предположений) -- насколько отношения с Олегом (так звали парня) были игрой.

На игру она настроилась автоматически, получив предложение Олега пожить у него на даче (предложение было подкреплено тысячедолларовой банкнотой на мелкие расходы). И даже потом, вынужденная после секса с Олегом -- спустившим все запасы только от воображения обладания такой женщиной (!) --

догоняться самостоятельно, -- ни о чем другом, кроме как об игре -
- Инесса не думала.

Да и зачем ей было много думать? Во всех вариантах, предстоящий брак сулил только выгоды. Тем более, что и отец Олега, казалось, уже смирился, махнув рукой.

Такой шанс упустить было нельзя.

Если же говорить, откуда Инесса знала Викария Германовича Гершензона?.. Так она почти и не знала его. Познакомились они на улице, когда Викарий Германович (в бытность его сектантства) завлекал прохожих обещанием "помочь попасть в рай".

Потом -- верно, из любопытства, -- Инесса пришла на одно из его выступлений в братстве. А когда случайно столкнулась на кафедре института (который заканчивал Олег -- Ольга поддалась на уговоры жениха показать ей учебное заведение) -- то разговорилась, с удивлением открыв в Викарии Германовиче собеседника, которого ей давно не доставало (когда-то Инесса закончила с отличием филфак МГУ).

Больше они не встречались. Иногда созванивались.

Ни с кем о своем новом знакомом Инесса не говорила. С сестрой она вообще общалась довольно редко (после того, как та уехала за границу).

Но даже незачем гадать, как удивились бы обе -- узнав об общем знакомом.

.....

От Олега Инесса и узнала, что один из их преподавателей арестован по делу -- то ли убийства, то ли попытки убийства. Но и тогда она почти не обратила на это внимания, никак не в состоянии представить, что этим преподавателем мог быть Гершензон.

И только когда за какой-то надобностью она решила услышать Викария Германовича, а его телефон (мобильный телефон, который она подарила ему, и номер которого -- как позже выяснилось -- тот использовал только для общения с ней) молчал несколько суток, Инесса -- словно случайно (как она считала) проезжая мимо -- зашла к Гершензону, где (от соседа -- похотливо разглядывающего ее груди, выпиравшие из-под футболки) узнала, что того посадили.

Глава 3

Владимир Сергеевич изменился после произошедшей с ним трагедии.

Он отгонял мысли о возможной смерти (понимая, что только случай помог избежать ее), -- но те вновь и вновь заполняли его сознание. Никакого желания общаться с кем-то из прежних знакомых давно не возникало. Жизнь давала неожиданный повод начать все сначала. Скорректировав (а, может быть, и действительно изменив) прежнюю жизнь.

О каких-либо новых комбинациях думать не хотелось.

Стравливать людей, выгадывая на этом и достигая запланированных тайных целей -- нет... теперь это было незачем.

-- И ведь не сказать, чтобы я так уж поверил в Бога? -- рассуждал сам с собой Венгеров, оставаясь убежденным атеистом. Но...

Владимир Сергеевич, видимо, боялся это произнести, но он стал вдруг верить в какое-то предначертание свыше, оставаясь совсем безразличным к тому, как это должно было называться. Причём, сложно сказать, пришел ли он к этому после случившегося с ним или шел к этому постепенно? Вряд ли он даже задумывался о том.

Но факт остается фактом. Владимир Сергеевич стал вдруг верить... даже не в судьбу, а в какую-то непогрешимость истины.

Но... хватило его ненадолго. Венгеров никак не мог смириться с тем, что пострадал из-за тех людей, к контролю над которыми он все время стремился. И уже подчинив было их себе -- он вдруг потерял рычаги управления.

Или не потерял? Может быть, наоборот -- теперь все эти людишки (и неожиданным образом к ним присоединившаяся Ольга Маер) оказались зависимыми от него. А значит -- по крайней мере, подсознательно -- готовы были к подчинению ему.

Из чего следует -- необходимость правильно распорядиться возникшими преимуществами. Ну, а письмо (отправленное им по электронной почте на специально открытый для этого адрес), так сказать, было первым шагом. Там Венгеров высказал свою позицию относительно случившегося, постаравшись запугать Бурляева и Ольгу своим решением довести

Гершензона не только до суда, но и до вынесения ему сурового приговора. Грозь, -- к тому же -- "сообщить по своим каналам" (которых -- заметим -- у него не было) "на тюрьму" -- о статусе Викария Германовича, который (Венгеров вынес вполне, признаемся, справедливое предположение) скрыл от сокамерников, что является гомосексуалистом. И тут же намекнул, что он знает от своего троюродного брата, отбывающего уже "пятую ходку" -- на зоне Гершензон может быть жестоко наказан. Его могут даже убить, -- словно бы добавил он.

Правда, само письмо Венгеров все же закончил несколько неопределенным образом. Так что можно было догадаться, что он ожидал чего-то, раздумывая пока: привести ли угрозу в действие? Однако, как раз это "раздумывание" могло быть истолковано двояко. Ничего взамен Венгеров не просил. ("Если бы он только попросил денег", -- с надеждой подумала Ольга, собираясь -- в случае этого -- снять со счета пятьдесят тысяч долларов, оставшихся после продажи квартиры, покупки аппарата в больницу и некоторых трат на личные нужды. Причем, если бы она их сняла -- там все равно еще оставалось столько же. А новую квартиру она все равно получила от умершей недавно бабушки).

И это не выдвижение Венгеровым условий -- лишь только дополнительно накаляли и без того гнетущую обстановку.

-- Может, -- добьем его?! -- пошутил Бурляев, и Ольга взглянув на него, увидела промелькнувшее у того желание подобного. -- За те же десять тысяч, что мы ("вернее -- ты", --

поправился Николай Андреевич) заплатила врачам -- вполне можно было найти исполнителя, который...

-- Да о чем ты говоришь! -- вспыхнула Ольга, не дослушав (как она выразилась -- "бред") Бурляева. -- Все мозги ушли в яйца? (Все это время Ольга жила с Бурляевым, чуть ли не по несколько раз в день испытывая на себе его извращенные фантазии).

-- Ну, ну, аккуратнее, -- предостерег ее Бурляев, чувствуящий какую-то власть над -- внешне казавшейся независимой и строгой -- Ольгой.

-- Подонок, -- тихо произнесла Ольга и тут же обмякла, ощутив у себя между ног руку Бурляева.

-- Ну, не надо... не сейчас... -- пыталась, было, протестовать она, но Бурляев уже вошел в раж и, развернув ее к себе спиной, -- положил не сопротивлявшуюся девушку на барельеф, собираясь...

-- Здравствуйте! -- встрепенулись оба (защелкивание молнии, одергивание платья...) и -- обернувшись -- увидели улыбающегося Семена Сергеевича, родного брата Венгерова. -- Не помешал?

-- Да как Вам сказать... -- еще не отойдя от возбуждения, но уже пытаюсь взять ситуацию под свой контроль (больше выражающийся во внешней недоступности), произнесла Ольга, с удивлением отмечая про себя сходство стоявшего перед ними мужчины -- с водителем такси, на котором уехал из больницы Венгеров (водитель курил возле машины и сел в нее, когда Ольга с Бурляевым подходили). Если Бурляев тогда не обратил никакого внимания, то Ольга (закончившая когда-то художественную школу и легко запоминавшая любые детали) сфотографировала

человека, который ("Да -- это он", -- убедилась Ольга) стоял перед ними.

Мужчина представился.

-- Я и не знал, что у Володи есть брат, -- смутился

Бурляев.

-- Мы сводные. По отцу, -- улыбнулся Семен Сергеевич Венгеров и протянул Бурляеву папку. -- Здесь очень любопытная информация, -- сказал он. -- Я думаю, вам обоим будет интересно почитать.

-- Какая информация? -- испуганно переспросил Бурляев, инстинктивно принимая папку.

-- Раскройте, раскройте, -- видя боровшегося с таким желанием Бурляева, -- подсказал Семен Сергеевич. -- Мои люди сделали все возможное, чтобы информация была более полной... По крайней мере, -- для общественности -- вполне достаточно, -- добавил Семен Сергеевич, с уничижительной полуулыбкой посмотрев на Бурляева и Ольгу.

Раскрыв папку, Бурляев и Ольга увидели достаточно крупные снимки, на которых изображалось то, как Николай Андреевич Бурляев занимался любовью (в самой что ни на есть извращенной форме) с работницами того стройтреста, где он работал во время -- уже позабытого -- эксперимента. Снимков было немного. И на каждом из них Бурляев был представлен или с одной, или с двумя строительницами. Все они были в рабочей одежде, и уже, судя по их форме, можно было узнать в отдающихся Бурляеву женщинах -- сварщиц, крановщиц, и -- большей частью, -- малярш да разных там отделочниц. Которых тогда и "отделывал" Николай Андреевич Бурляев -- судя по

разнообразие поз и застывшего на лицах всех участников удовольствия -- по полной программе. Да еще, видимо, во время -- или обеденного перерыва, или -- рабочего дня.

Вскоре снимки сменились изображениями Ольги -- с женщинами. Разнообразие применявшегося ассортимента секс-шопа -- явно указывало...

-- Мерзавец, -- выдавила из себя Ольга.

-- Ну, ладно, ладно, -- посерьезнел Семен Сергеевич. -- Это -- надеюсь, вы поняли -- только копии снимков. Да и лишь небольшая их часть. Кроме того (там я положил несколько листочков, так сказать, для ознакомления, -- кивнул на папку Семен Сергеевич), есть еще и информация текстового характера, в которой изложено, например (взгляд на Ольгу), -- как вы сканировали ряд "закрытых" документов из архива Братиславского университета (Ольга писала книгу и, действительно, договорилась на время пустить ее в архив, якобы сверить какие-то факты из своей же кандидатской диссертации). Или -- (тоже занимательная история, -- усмехнулся Семен Сергеевич) -- передача взятки руководителю диссертационной коллегии -- аккуратно, перед вашей защитой.

-- Про вас же, -- Семен Сергеевич посмотрел на Бурляева...

-- Ваши условия, -- перебил его Бурляев.

-- Да какие там условия, -- наигранно вздохнул Семен Сергеевич. -- Впрочем, если так настаиваете, -- я вам сообщу о них, -- словно делая одолжение, произнес он.

.....

-- Чаще проверяйте почту, -- посоветовал Семен Сергеевич, откланиваясь и демонстрируя извлеченный из внутреннего кармана пиджака карманный компьютер.

-- Это называется...

-- Искупались в дерьме, -- закончила за Бурляевым Ольга, недовольно вздохнув и доставая пачку сигарет.

-- И теперь надо искать воду, -- философски заметил Бурляев, доставая зажигалку. -- Отмываться! -- добавил он, поймав на себе удивленный взгляд Ольги.

Глава 4

Гершензону казалось -- мир остановился. Все, к чему он когда-то стремился -- превратилось сейчас в дымку непонимания общества, грозившего ему самыми тяжелыми карами за совершенный поступок.

То, что он совершил -- Гершензон до конца осознать не мог. Скорее всего -- импульсивное желание все-таки вобрало в себя какие-то желания тайные, подсознательные. И мысль о том, что именно за это он должен был пострадать (и сказать больше -- именно за сам факт наличия подобных желаний) -- оптимизма, сил, уверенности... Гершензону не прибавляло.

Он должен был страдать. И страдать -- в принципе -- за дело.

Но в чем же заключалась его вина? В том, что доверившись женщине, он узнал, что та откровенно изменяет ему.

Или за то, что поверил в первую очередь не ей, -- а человеку, в дружбе с которым давно уже не нуждался; о чем, видимо, подозревал и тот. А значит -- вполне мог -- и выдумать, и преувеличить сказанные слова.

Да и слов-то таких, по сути, говорить Бурляев был не должен. И то, что все же сказал их, -- еще больше подтверждало предположение Гершензона.

Новость о том, что вместо Бурляева он зарезал Венгерова, -- Гершензон узнал уже в СИЗО. То, что произошло в квартире, представало в таком нахлынувшем тумане, что ни лиц, ни -- конечно же -- собственных действий (о мотивированности поступка говорить даже не приходилось) тогда Викарий Германович не осознавал.

И уже как раз за это постарались уцепиться адвокаты (два адвоката профинансированные Инессой Каплан) Гершензона. С их подачи -- Викария Германовича перевели сначала в тюремное отделение психиатрической больницы -- а после отправили на освидетельствование в институт им. Сербского. (Заметим сразу, что позже линия защиты была переиграна. Гершензона решили признать вменяемым. Хотя, был ли он таким, как говорится, по жизни, вопрос спорный. И осудить по статье нанесения тяжких телесных повреждений в состоянии аффекта, подведя Викария Германовича или под амнистию, или под условный срок).

Но пока что Гершензон находился в тюрьме. И на него давила неопределенность собственного положения. Что-то узнать заранее -- было невозможно. А случайно подслушанные

(немудрено -- столько людей в одной камере) разговоры сокамерников -- только подливали масла в огонь, усиливая разливающуюся по телу нервозность.

С какого-то момента -- будущее уже вообще не представлялось никаким. Длительное ожидание (время в тюрьме ползет совсем иначе, чем на воле) стало приводить к тому, что Викарий Германович стал безразличен к тому, что должно произойти. Умоляя какого-то невидимого Бога, чтобы все поскорее разрешилось.

Ночью или днем (свет горел в камере круглосуточно -- да и переполненность вынуждала спать только в свою смену) попытки уснуть (и без того мучительные на воле) изначально убеждали в безрезультатности этих самых попыток. Тем более, в нескольких суточных (без сна) бдениях совершенно неожиданно нашлась своя польза. Мозг -- уставая -- уже не успевал с былой скоростью прогонять через себя многочисленные мысли (главным образом -- анализировать: что было, и чего -- не было); и Викарий Германович научился спать, притулившись к "шконке" (нарам).

Причем, характер навязчивости периодически сменялся. И помимо прочего, появился страх разоблачения. (Ведь на "прописке" Гершензон не объявил себя гомосексуалистом -- а значит, в разряд "петухов" (опущенных) зачислен не был. И за это могли жестоко наказать. Даже убить. И со временем (хотя и времени-то прошло не так уж много) чувство вины (безраздельно теперь господствующее в тщедушном организме Викария Германовича -- со своих шестидесяти пяти -- при росте под метр восемьдесят -- его вес упал почти на десять килограмм) привело к

тому, что даже некоторые из сокамерников стали беспокоиться за его здоровье.

Но до того ли было ему?

Признаться, никакие мысли -- толком -- не находили своего (более-менее) реального воплощения в сознании Викария Германовича. Все больше свидетельствую...

Это было начало конца. И Гершензон об этом знал.

Глава 5

-- ...Ну, пройдоха! -- весело, не сдерживая себя, засмеялся Владимир Сергеевич Венгеров, выслушав рассказ брата. -- И ты говоришь, эта сучка еще пыталась строго держаться? -- сквозь смех переспросил он.

-- Пыталась, -- словно о чем-то сожалая, вздохнул Семен Сергеевич, подыгрывая общему настроению брата.

-- Хорошо, -- постепенно возвращался к своему обычному (строгое лицо, пронизательный взгляд...) состоянию Владимир Сергеевич. -- Нам надо скорректировать план дальнейших действий.

-- Я думаю, через несколько дней можно сбросить на "емейл" условия, -- предложил Семен.

-- Да нет, -- вздохнул Владимир Сергеевич. -- Это было бы слишком просто.

-- Просто? -- переспросил, ничего не понимая, Семен.

-- Ну да, -- искренне ответил Владимир Сергеевич. -- Нам пока вообще следует не выдвигать никаких условий.

-- Держать в напряжении! -- догадался Семен. -- Причем, особо и спешить-то некуда, -- тут же предположил он, хитро прищурясь и поглядывая на брата.

-- Ну... здесь не скажи, -- засомневался Владимир Сергеевич. -- Падать больно -- когда есть с чего упасть.

-- Да-а-а... -- протянул Семен Сергеевич. -- Об этом я как-то не подумал.

-- ...Ну, ничего, -- после небольшой паузы произнес Владимир Сергеевич. -- Будем надеяться, наши друзья останавливаться не собираются. Поэтому, какое-то время переждем. (Пусть, заодно, подергаются). А пока... надо бы нам решить вопрос с Гершензоном. Что это он будет там чалиться?.. Пора освобождать.

-- ...Зачем? -- с нескрываемым удивлением уставился на него Семен. -- Ты хочешь его простить? -- спросил он, видя что Владимир Сергеевич, словно раздумывая, молчит.

-- Да нет, -- усмехнулся Владимир Сергеевич. -- Освобождать от его брэнного тела.

-- ???

-- Да что там тянуть! -- видя недоумение брата, произнес Владимир Сергеевич. -- Через наши каналы отправь маляву в тюрьму, где сообщи о сексуальных пристрастиях Гершензона.

-- Понял, -- кивнул головой Семен.

-- И еще... -- словно раздумывая, посмотрел на брата Владимир Сергеевич. -- Ты когда собирался уезжать? (Брат Владимира Сергеевича -- Семен, постоянно жил в Германии; что до "такси" -- он тогда одолжил его у знакомого).

-- Да еще пару недель собирался побыть в Москве, -- ответил Семен Сергеевич, заинтересованно посмотрев на Владимира.

-- Давай за эти две недели -- закончим с Инессой, -- распорядился он. -- На нее информация собрана?

-- В полном объеме, -- улыбнулся Семен.

-- Значит, пока сделай так, чтобы снимки -- как бы случайно -- попали на глаза отцу этого пацана, как его там... Олега.

-- Я размещу их в Интернете, -- ответил Семен. -- В поле зрения тех сайтов, где "лазит" Марат Романович Клавин (отец Олега, жениха Инессы).

-- Вот это дело! -- потер руки в предвкушении ожидаемого скандала Владимир Сергеевич.

-- К тому же можно вообще разместить их на сайте компании, -- предложил, улыбаясь, Семен.

-- Взломать?! -- предложил Владимир Сергеевич.

-- Взломать, -- кивнул головой Семен.

-- Ну, это может даже еще лучше, -- раздумывая, произнес Владимир Сергеевич. -- Не так тонко как в первом случае...

-- Зато уж наверняка, -- усмехнулся Семен.

-- Верно, -- одобрительно кивнул Владимир Сергеевич Венгеров. -- Только на сайте обязательно размести фото -- и с Олегом, и с другими мужиками.

-- Да Инесса уже всем примелькалась, -- заверил брата Семен. -- Она таскается с сыночком босса на все корпоративные мероприятия.

-- Только постарайся, чтобы картинки были посмачней. Да и загружались быстрее, -- распорядился Владимир Сергеевич.

-- Все сделаю как надо, -- усмехнулся Семен Сергеевич Шмеерсон, доктор физико-математических наук, декан кафедры информатики одного из немецких вузов.

-- Да я и не сомневаюсь! -- улыбнулся Венгер.

Глава 6

Уже два дня, как я была не способна собраться с мыслями... События недавнего времени выбили меня из колеи. Так что любое напоминание о ком-нибудь из старых знакомых -- явно вызывало во мне самый настоящий протест. Который, как я догадываюсь, мог закончиться самой настоящей депрессией, которой раньше никогда особо и не было.

...Но теперь то меланхолическое состояние, которое я высмеивала в других, способно было привести к самым тяжелым последствиям.

Вопросы, множество вопросов, казалось, с каждым днем только усиливали ощущение безрезультатности -- даже поисков -- ответа.

Как будто меня разом предоставили самой себе, -- но отобрали все средства к существованию.

Тяжело еще было и потому, что каких-либо вариантов ответов, казалось, и вовсе не существовало.

Ничего подобного я раньше предсказать не могла.

Каждый день, просыпаясь, я давала себе установку начать решать навалившиеся проблемы, но даже попытка структурировать их -- все время неизменно заканчивалась провалом.

Мне даже не за что было уцепиться!

Тем не менее -- я решила не отступать.

На мой взгляд, в первую очередь, нужно было решить вопрос с Гершензоном. И, самое главное, ответить самой себе -- хочу ли я с ним жить? Ведь у нас, как-никак, была запланирована свадьба. Правда, сроки давно все вышли. Но "помолвка" расторгнута не была. А значит....

Викарий Германович, конечно же, мне нравился. Но именно в том смысле, для чего я рассчитывала его заполучить. То есть, -- для прикрытия. Но если Венгеров -- как грозитя (о связи между ним и его братом трудно было не догадаться), обнарудует все те фото, указывая на мою нетрадиционную ориентацию... то тогда и черт с этим Гершензоном. Даже наоборот -- буду жить жизнью, которая нравится мне. Да и -- по сути -- отношения между женщинами вряд ли вызовут такой же резонанс, как если бы нечто похожее происходило между мужчинами. Разве что с работы придется уволиться... Ну, найду наконец другую. Время пройдет; страсти улягутся; денег мне пока хватит...

Неожиданно Ольгу перекосило от злобы.

-- Так поступать с собой она никому не позволит!

Она набрала номер Бурляева.

-- Коля? Ты как-то говорил о предложении за десять тысяч... Я готова найти двадцать -- закрывай вопрос...

Глава 7

Что такое страх?..

Вряд ли Гершензон когда-то всерьез задумывался об этом?.. Попытки подступиться к ответу на вопрос ранее -- как бы все время отодвигались "на потом". Да и помимо страха у Викария Германовича хватало причин беспокоиться за свое психическое здоровье.

И даже теперь -- совсем ошибочно было бы говорить, что страх как таковой уже завладел им. Если бы было так -- пожалуй, тогда хотя бы можно было отыскать причину страха. А поиск причины -- уже почти мог означать, что от страха можно было избавиться...

Совсем иное чувство испытывал сейчас Гершензон. И даже, пожалуй, страхом-то это нельзя было назвать. Скорее это было что-то, что страх только напоминало. Но...

Гершензон запутался. Ему хотелось, чтобы поскорее все закончилось. Хотелось -- чтобы его хотя бы вызвали на допрос. И он во всем сознался бы.

Но следователи молчали. Периодически выдергивая других -- кого к следователю, кого на этап -- создавалось впечатление, что о Гершензоне забыли. И от этого становилось только хуже.

-- Может, мне что-нибудь сделать, чтобы меня заметили?
-- спрашивал себя Гершензон. А еще через несколько дней (кажущихся в тюрьме вечностью) Гершензону удалось убедить себя в необходимости совершить что-то такое, чтобы хотя бы оказаться на допросе у следователя.

-- Дурак, -- спокойно сказал сосед Гершензона, которому тот поведал о своем решении. -- Повесишь только на себя лишний срок. Сиди и жди, пока сами вызовут. А лучше -- найди какое-нибудь занятие. Быстрее пройдет время.

Сосед Гершензона в тюрьму попал уже в третий раз. Первые два -- по пьянке (как ухмыльнулся он, неожиданно разоткровенничавшись). Но теперь -- за дело.

-- Какое дело? -- недоуменно переспросил Гершензон и тотчас же поймал на себе озлобленные взгляды некоторых сокамерников.

-- Здесь у нас не принято об этом спрашивать, -- спокойно объяснил сосед, закручивая самокрутку.

-- И все же? -- не отступал Гершензон.

Иной раз на него действительно находило, и, сидевшая в нем нервозность, выражалась в различных (зачастую отрицательных и вызывающих гнев окружающих) формах. Ну, например, хотя бы в надоедливости, которую демонстрировал он и сейчас.

-- А скажи-ка лучше, петушок, -- ласково приобнял Гершензона за плечи подошедший молодой зек, оскалившись вставными зубами-фиксами. -- Не желаешь ли "на клычок"?

Раскат смеха других сокамерников (подсаживающихся поближе в предвкушении "концерта") совпал с окончанием фразы говорившего, который стоял теперь перед Гершензоном и, ехидно улыбаясь, разглядывал его.

-- Что ж ты гнида молчал? -- почти что выкрикнул он и резко ударил Гершензона в челюсть.

Викарий Германович потерял сознание.

Тот же самый зек, проведя своим членом по губам лежащего без сознания Гершензона, -- опустил его.

-- Это петушара! -- гневно заверил он недоуменно взвизгивающих на увиденную сцену подследственных. -- Пришла малява, что этот пассажир -- пидор. На воле.

Толпа недовольно зашумела.

-- Может его прикончить, -- высказался кто-то.

-- Пока достаточно будет, если мы ему сломаем руки, -- сказал зек, собираясь уже было позвать амбала, трущегося у параша (неделю назад опущенного культуриста -- призера России в тяжелом весе -- решившего качать права в камере и обзававшего пидарасами всех присутствующих, за что того опустили), приказывая сломать Гершензону обе руки.

-- Можно сделать намного хитрее, -- пришел на помощь один молодой парень, попавшийся за воровство в морге, когда работал санитаром. Высказав свою мысль и получив добро от зека с фиксами, он получил от того "мойку" (лезвие бритвы) и перерезал сухожилия на руках Гершензона.

-- Теперь нужно срочно перебинтовать, я покажу как, -- сопровождал он свои дальнейшие действия словами. -- А этот (он кивнул на корчившего от боли Гершензона, которого несколько

зекон держали, запихивая ему в рот -- чтобы не кричал -- полотенце) теперь будет инвалидом. Кости срастутся. Сухожилия -- всегда не до конца.

-- Даже хуй достать не сможет! -- радостно оскалился фиксами зек.

-- Так и есть! -- самодовольно улыбнулся "санитар-патологоанатом". -- А чтобы нам не спалиться, -- он подозвал культуриста, который покорно подошел. -- Скажешь, что это сделал ты, -- и, не дожидаясь согласия парня, он резко ударил его - - зажатым в руке лезвием -- по глазам.

Это уже было чересчур. Зеки недовольно зашумели, обсуждая только что увиденное.

Взявший было на себя инициативу руководства зек с фиксами -- задумался. За это по головке могут и не погладить! А ведь его должны "короновать" на должность смотрящего за камерой, обязанности которого он сейчас исполнял.

Сунув окровавленное лезвие в руки воющего от боли культуриста -- "санитар" подскочил к двери и стал стучать кулаками, требуя врача.

Ворвавшимся в камеру надзирателям зек с фиксой успел прокричать, что (показав на двух окровавленных сокамерников), мол, петухи что-то не поделили; больше сказать он ничего не успел -- надзиратели натравили на зекон обезумивших от запаха крови овчарок и принялись избивать всех без разбору дубинками.

Глава 8

"Ничто не может быть тяжелее страдания". Рудольф Самуилович Сеченов записал фразу в дневник, закрыл его и задумался.

Рудольф Самуилович приходился Гершензону каким-то родственником (по-моему, он был братом мужа сестры бывшей жены Гершензона, кажется так. Или, скажем, мужем сестры бывшей жены. И в том и в ином случае, действительно родственником, пусть и достаточно дальним). Правда, каких-то близких отношений с Гершензоном у Сеченова никогда не было. Он и видел-то его всего несколько раз. Но воспоминания (от тех встреч) сейчас вмешивались в его сознание. Создавая, в принципе, хорошее впечатление о Викарии Гершензоне. Может быть еще и потому, что и Сеченов, и Гершензон оказались очень похожи. Точнее, Сеченов вполне бы походил на Гершензона, если бы -- когда-то давно -- он много сил не отдал на то, чтобы измениться. Стать другим. Считая, что в ином случае, психическая жизнь просто не позволит максимально раскрыться его потенциалу. А хотел Сеченов многого.

В двадцать семь -- он уже стал доктором исторических наук. В тридцать один -- членом корреспондентом. В тридцать семь -- академиком.

Сейчас ему было -- сорок пять, и он был заместитель президента РАН.

Карьера в принципе блестящая. Но так вполне можно было бы считать, если не знать, какую он за это заплатил цену.

А дело все в том, что Сеченов был сумасшедший. И то, что никто (как предполагал Сеченов) из окружающих еще об этом

не догадывался, -- была исключительно заслуга его, академика Сеченова. Человек, который не только сделал себя сам, но и сумел скрыть свое "изобретение".

Правда, это была только одна сторона медали. Большой частью некий иллюзорный мир. Мир, который еще не наступил (да и вряд ли когда наступит). На самом деле, Рудольф Самуилович Сеченов -- был старшим преподавателем кафедры истории одного из вузов пригорода Москвы. И на большее, к сожалению, пока Сеченов претендовать не мог. Потому что... Потому что -- он действительно был сумасшедший. И действительно было то, что до сего момента (с переменным, правда, успехом) Сеченову удавалось скрывать это.

И это уже больше походило на правду.

Да что там -- может быть, как раз только это "правдой" и являлось. А остальное... Хотя, в принципе, в некоторых фантазиях тоже бывают свои плюсы, заключающиеся хотя бы в том, что позволяют -- как минимум -- выжить человеку. И, наверное, -- продолжать жить дальше.

Записи в дневник Сеченов вносил нерегулярно. И достаточно в хаотичном порядке. Нельзя было даже сказать, что он ими особо дорожил. Впрочем, некоторые -- были ему действительно дороги.

"Если вы смотрите на мир широко раскрытыми глазами -- берегитесь: наверняка он вас обманет".

(Почти два года назад; одна из первых записей).

"Перед тем как садиться в трамвай -- присмотришь: действительно ли это трамвай?"

(А это одна из недавних; которая-то и особо любима им никогда не была. Но -- не вычеркивать же?!)

"Если будете думать, -- не забудьте предупредить об этом окружающих. Вас могут неправильно понять".

(Так себе... И почему-то -- без числа).

"Вооруженными бывают не только люди, но и умы их. Чтобы разоружить первых -- пристрелите их. Вторых -- сделайте дураками".

(Недавняя... месяц назад).

"Прислушайся к окружающему миру. Тем более, если он давно уже просит об этом: стуча по голове".

(Вчерашняя)

"Пусть будет наш бег суматошен, -- произнес кролик черепахе, -- главное, что мы все равно не добежим до финиша. Там нас ждут..."

(Незаконченная... а начата -- год назад).

"И будет мир, и земля, и солнце, и Рудольф Сеченов". (Из личного).

(Это вообще какой-то бред, -- подумал Сеченов). Запись тоже без числа.

"Если вы упали, -- то это хотя бы говорит о том, что было -- откуда падать".

(Эту запись Сеченов написал только что. Больше -- ни читать, ни писать -- ему не хотелось)

Та жизнь, которой жил Рудольф Сеченов, -- несколько не казалась ему какой-то неправильной, а тем более, неудавшейся. Он достаточно здраво к себе относился, чтобы быть не довольным тем, чего достигнуть не смог. Потому и не смог -- на его взгляд -- только по своей вине.

Разобраться, какая это была вина и в чем она заключалась -- Рудольф Самуилович пока не пытался. Справедливо (в своем внутреннем восприятии) откладывая это "на потом". А то, что это "потом" до сих пор не наступало?.. Ну, его ли в этом вина?.. Да и какая на самом деле разница, если...

-- Если в беде Гершензон! -- неожиданно подумал Сеченов и вспомнил, что он сегодня собирался заставить себя "начать поиски по спасению". Все-таки... (почему он должен был спасти Гершензона -- Рудольф Самуилович не знал. Но он случайно узнал, что тот попал в тюрьму. А значит, как честный человек, -- таким честным человеком Рудольф Самуилович всегда себе казался, -- должен был вытащить родственника -- хоть и уже лет десять как бывшего -- из "застенок").

Выход из ситуации Сеченов видел в следующем. Во-первых, следовало вспомнить каких-то знакомых, связанных с МВД или другими силовыми структурами. Во-вторых, неплохо было бы навести справки о самом Гершензоне (и это, может быть,

было главное). Кем он сейчас стал? Где работал? Притом, что вспомнить хоть что-то из того, что он знал (или, наверняка должен был знать) тоже бы не мешало.

-- Что он о нем знал? -- Сеченов задумался. И вскоре вынужден был признаться, что совсем не помнил Гершензона. Где-то осталось только ощущение того, что Викарий Германович Гершензон (хоть имя-то вспомнил!) -- ему тогда понравился.

Но с тех пор -- с той, быть может, и одной их встречи -- Сеченов Гершензона больше не видел.

-- Странный получается расклад? -- Рудольф Самуилович вдруг засомневался в необходимости собственной помощи. По всему выходило, что он должен был помогать человеку, которого, в принципе, совсем не знал. Не знал даже (Сеченова передернуло), за что тот сидит. А если... И перед глазами Рудольфа Самуиловича промелькнули преступления, хлопотать об освобождении за которые он не стал бы ни при каких условиях.

И так как, собственно говоря, Рудольф Самуилович Сеченов особо и не знал, чем он сможет помочь Гершензону (да и никаких знакомых в фискальных органах у него никогда не было), -- то вполне справедливо (полагал он), что он вообще не должен вступать в это дело. Почему-то решив, что Гершензон был или будет (это только вопрос времени) осужден как раз за те преступления, к которым он относился негативно.

-- Пусть этот подонок посидит! -- уже убедил себя Сеченов, и даже минуту-другую боролся с желанием предпринять что-то, чтобы этот "сексуальный маньяк" (почему-то Сеченов

подумал именно о преступлении подобного рода) получил по заслугам. По "верхнему пределу", как говорится, -- улыбнулся Сеченов в предвкушении того, что ждет насильников в колониях (прессу Сеченов читал регулярно; к тому же не отказывал себе и в детективных романах. Все больше из российской действительности).

Однако, стоило только мыслям о Гершензоне (занимавшим его -- с намеком на последовательность) исчезнуть, - как тотчас же ощущение каких-то необратимых последствий заняло его воображение.

Ему непременно казалось, что с ним должно что-то случится. Но что было это "что-то", -- Сеченов не знал.

Или -- пока не знал. Убедив себя -- что разберется с этим.

Глава 9

Насколько я могла судить -- ситуация начинала запутываться основательно. Понимая, что нужно (срочно!) что-то делать, я, тем не менее, совсем не могла ничего делать.

Я автоматически ходила на работу (из командировки я оказалась отозвана по независимым от меня причинам), автоматически встречалась с какими-то своими друзьями или знакомыми (о большинстве из них я даже и не упоминаю здесь), автоматически -- думала, спала, принимала пищу, занималась любовью... Хотя с последним как раз случился некоторый затор. Поначалу. А потом наоборот -- накопившиеся проблемы да несчастья -- словно сублимировались в сексуальную энергию,

бросая закрывать амбразуры из мужских желаний и женских страстей.

За какой-то короткий срок я создала о себе впечатление нимфоманки (или бляди), подчинившей своим необузданным сексуальным фантазиям все больше и больше мужчин и женщин.

Иногда партнеры и партнерши сменялись. Иногда -- с какими-то из них -- удовольствие продолжалось в течение недели (редко когда больше; обычно потом наступало чрезмерное насыщение, и словно неодолимая сила тянула меня к кому-то новому).

Пытаться как-то истолковать свое поведение (тем более задумываться -- хорошо это или ужасно?) я не могла. Потому как -- словно была подчинена единому порыву, уносившему меня (а, точнее, бросавшему) в бурю наслаждений.

За этот период (трудно было сказать, сколько он продолжался? Отсчёт времени как-то -- то ли сместился, то ли совсем остановился...) я как-то позабыла о недавних проблемах (тем более, думать о том, что они не исчезли -- совсем не хотелось). Ничто, казалось, даже не указывало на существование их. Но... то, от чего я хотела убежать -- вернулось ко мне.

Первый звоночек -- попала в больницу (несколько человек ворвались в квартиру, разбили всю мебель, -- искали деньги, ценности, и -- ничего не найдя -- ударили меня по голове арматурой).

Второй (который открылся много позже -- какое-то время я была в реанимации, потом еще долго отходила после операции, никого не узнавая и толком не понимая, что со мной случилось, -- как следствие удара -- внутри головы образовалась гематома,

которая грозила препятствовать кровоснабжению сосудов головного мозга (некоторые из них еще и лопнули) -- погиб в автомобильной катастрофе Владимир Венгеров. А его брата, как я узнала, нашли с огнестрельным ранением головы. Говорят -- застрелился.

Третий (который, на мой взгляд, уже мало что мог добавить в событийный ряд случившихся происшествий просто потому, -- что и первых двух было более чем достаточно) -- осуждение Гершензона на восемь лет лагерей (по-моему, вторую статью ему добавили за какую-то драку в камере, чему, замечу, я никогда ни за что бы не поверила, а потом поняла, -- что это только укладывается в общую цепочку "недоразумений", случившихся за последний год со всеми нами).

И, наконец, четвертый звоночек, который для меня был совсем необъяснимым -- моя двоюродная сестра Инесса оставила своего жениха и сделала предложение ("должно быть -- предложила, а тот согласился") Гершензону. Свадьба у них должна состояться в ИТУ; когда будет ясно, в какое его отправят.

Всё это случилось так внезапно и было столь неожиданно для меня, что я совсем было растерялась. Сознание отказывалось справляться с мыслями (все больше принимающими выраженную навязчивую форму), и, казалось, я могу и вовсе захлебнуться в обрушившемся на меня потоке информации. Притом, что ничего, что хотя бы косвенно указывало бы на какое-то разрешение ситуации -- не было.

Впрочем... Мне как-то было не до этого. Честно признаться, я тогда еще до конца не оправилась ни от операции,

ни от нанесенной мне травмы, поэтому, если о чем и начинала думать, то это было совсем недолго и ровно до того момента, когда боль -- вызванная мыслительным процессом -- вынуждала меня смириться).

Глава 10

Прошло какое-то время, и я уже не могла просто так отсиживаться.

Да и подобное, признаться, совсем было не в моем духе.

Привыкнув чуть ли не с самого детства к самостоятельности (детдом мне в этом плане очень помог), я просто не привыкла ни от кого ожидать поддержки.

А потому и на этот раз -- стала настаивать на своей выписке.

Доктор не соглашался. По его словам, ситуация была достаточно серьезная. И в ответ на мои провокационные просьбы об откровенности -- сказал, что начинавшуюся было опухоль удалили. Но остались некоторые "остаточные явления". Которые вполне могут привести к угрозе образования тромба. ("Поэтому важны обследования на тех приборах, которые находятся в нашей клинике", -- подытожил он и с недоумением на меня посмотрел, когда я предположила, что, мол, вполне могу появляться периодически. Зачем же находиться в стационаре?)

В общем, с мыслями о том, чтобы выписаться -- пока можно было расстаться.

Но я не сдавалась. Несколько раз я сбежала, но неизменно меня возвращали обратно. Пока, наконец, мне не удалось подговорить Бурляева (он, Инесса, да еще ряд знакомых периодически навещали меня) -- забрать меня "под свою ответственность".

Николай Андреевич -- видимо, испугавшись этой ответственности -- поселился у меня дома. И часто пользовался моим беспомощным состоянием -- насиловал меня. В его представлении, это была любовь. Тем более я, видимо, чувствуя какую-то непонятную вину перед ним -- никогда не сопротивлялась его желанию. Но в душе -- мне было стыдно, больно и противно. И иначе -- чем насилуем -- его проникновения в меня я не называла. Опять же -- про себя.

Глава 11

Гершензон только-только начал отходить от приговора. Осознание сего факта все еще не наступало. Викарий Германович просто никак не мог заставить себя поверить, что все это происходит на самом деле. Но этот "сон", который он с удовольствием представил бы, явно затянулся. На восемь предстоящих лет.

Свыкнуться с этим Викарий Германович не мог. И хоть иного пути, казалось, не было -- Гершензон все же на что-то надеялся. Большею частью ругая себя -- за эту совсем неуместную сейчас -- надежду.

-- Не потому ли все и случилось, что настоящий мир -- я все время старался подменить неким иллюзорным восприятием его? -- задумался Викарий Германович. -- И тогда уже это вполне следовало принять -- как расплату. Наказание за то свое состояние (невесомость, -- как когда-то -- на воле -- называл его Викарий Германович), которое ему, в принципе, нравилось. А может быть, - что было еще справедливее, -- он никогда раньше и не задумывался, что это плохо.

Теперь наступала расплата за это. И быть может впервые -- Викарий Германович Гершензон осознал, что с ним приключилась самая страшная история из серии тех нежелательных историй, которые неотступно следуют за нами; и которые -- словно защищаясь от них -- мы старались не замечать. Принимая, со временем, как должное -- необратимое наступление их.

Мог ли Гершензон на что-то надеяться?

-- Глупо, -- ответил он сам себе, попробовав прикурить сигарету.

.....

Зек в камере ошибся. Сухожилия на руках Гершензона срослись. Правда, если левая отошла почти что в полной мере (он уже мог выполнять ею любые движения), то правая (рабочая) еще поднывала. А пальцы шевелились только наполовину.

Но врачи ("лепилы" -- как их здесь называли) считали, что причин беспокоиться нет. И наскоро подлечив (камера -- "больничка" -- этап), его отправили в колонию усиленного режима

отбывать наказание за нанесение тяжких телесных повреждений (Венгерову) и попытку убийства (культуриста, который ослеп на один глаз, а второй тоже почти ничего не видел; запуганные "блатными" сокамерники в один голос подтвердили следователям о конфликте между двумя петухами: культуристом и Гершензоном).

Восемь лет было еще хорошо. Прокурор требовал двенадцать. Защита настаивала на оправдании. Сошлись на восьми.

Но совсем не о длительности своего срока думал сейчас Гершензон. По этапу он уже шел как опущенный. А значит, и в колонии -- ему предстоит быть определенным в соответствующую касту. Пока, правда, его не трогали. Был отдельный стол, отдельная посуда (по тюремным законам запрещено прикасаться к петуху), с ним никто не разговаривал, ничего у него не просил, не давал (даже в руки запрещено давать. Нужно -- положить на пол, стол, и т.п.) и, естественно, не брал. И пока (единственное, пожалуй, чего он опасался) не приставал с сексуальными желаниями. (В столыпинском вагоне было еще два петуха, которые -- за сигареты, чай и прочее обслуживали заключенных).

Но Викарий Германович знал, что -- рано или поздно -- подобное предстоит и ему. А за отказ -- предупредили его доброжелатели -- всегда будут бить жестоко. И как же избежать этого?..

Ничего в голову не приходило. Правда, была одна зацепка. Как-то один зек, который вместе с ним был на больничке, рассказал историю о том, что в их камере как-то одного опустили

по ошибке. То есть -- по беспределу, -- уже начал вникать в логику местных обывателей Гершензон. -- И тогда по пути следования "незаконно опущенного" пустили маляву, в которой указывалось, что такой-то и такой-то, хоть и считается петухом -- по факту, но таким стал по беспределу. А значит, какие бы то ни было поползновения в его адрес -- будут считаться таким же беспределом. Правда, перевести его обратно -- хотя бы в разряд тех же "мужиков" уже никто не мог. Но того парня никто не трогал. Хотя -- и близко к нему не подходили, -- закончил рассказ зек.

"Вот, если попытаться сделать так же?.." Гершензон осмотрелся. Явно верховодил атлетического сложения зек из солдат, -- как называли здесь сбежавших из армии. Но Гершензон этого не знал. Как не знал и того, что никаким реальным авторитетом такие люди не пользуются. В лучшем случае -- Гершензон просто мог ошибиться, не разглядев реального лидера. В худшем... в худшем -- он оказался рядом с "бакланами", как их называли там, где находился Викарий Германович. И ждать чего-то хорошего "от разговора" было бы ошибочно.

Но интуиция на этот раз была на стороне Гершензона. Он решил отложить разговор. Более качественно продумав детали. Тем более, впереди еще была возможность: пересыльная тюрьма, например; или -- сама зона. Хорошо было бы, конечно, подстраховаться заранее... Но...

-- Ну что, петушара, заскучал? -- над сидящим на корточках Гершензоном (он как-то быстро привык к распространенной у зеков форме "сидения") навис обкуренный

"солдат" из окружения парня, которого Гершензон ошибочно было принял за "блатного". -- Давай, готовь свою жопу, будешь работать, -- захохотал он, поддержанный хохотом слышавших разговор товарищей.

Гершензон не двигался.

Заступаться за "петухов" -- если в отношении них был не явный беспредел -- было не принято. (Запахло). А потому остальные, не из компании "солдат", предпочли сделать вид, что заняты своим делом.

-- Ты что, падла, не слышишь?! -- начал выходить из себя "солдат". -- Снимай штаны -- ебать буду! -- снова пришел он в веселое состояние, вожаденно вообразив предстоящую картину.

-- Оставь его! -- жестко произнес зек, сидевший на корточках неподалеку и вонзил пристальный взгляд в солдата.

-- Ты что это, "петушару" решил защищать? -- недоуменно произнес "солдат", оглядываясь назад в ожидании поддержки товарищей и не решаясь самолично предпринимать какие-то действия.

Поддержки явно не последовало. На лице парня словно было написано, что он привык добиваться своего. А потому "солдат", хмыкнув, отошел, делая вид, что он просто передумал.

Больше Гершензона никто не трогал. А на пересыльной тюрьме, в камере, к Гершензону подошел "смотрящий" -- и сказал, что Гершензон может жить спокойно. Пришла малява, что опустили его по беспределу. Единственно что, -- посмотрел на него "смотрящий", -- соблюдай установленные правила. (Как только "смотрящий" отошел, -- к Гершензону подсел пожилой

заклученный, и словно мимоходом заметив, что не раз топтал зону и видел немало, кратко просветил Викария Германовича о тюремных законах. "Понимаешь? -- горестно вздохнул Пузырь -- как тот представился, -- новые отношения в стране пытаются навязать и нам. Все больше появляется бакланов, которые попирают тюремные правила. Но по мере сил, таких мы наказываем").

Больше Гершензона действительно никто не трогал. Он вообще словно стал безразличен окружающим. Его старались не замечать. На пересылке правил Седой (вор в законе). А потому воровские законы здесь соблюдались строго. Заметим, так бывает не везде. В иных местах -- царит откровенный беспредел. Но Гершензону повезло.

А еще через месяц -- Гершензон оказался на зоне. О чем и сообщили Инессе Каплан. И она засобиралась в дорогу.

Глава 12

Бурляев был, в принципе, доволен. И хоть его план -- в запланированном варианте -- не удался (например, сбой произошел с Венгеровым -- тот погиб сам), результат, в общем-то, был достигнут.

Правда, был момент (в душе), когда ему показалось, что то, что произошло с Гершензоном... В общем, ему бы хотелось, чтобы это произошло не так. А уж тем более с Ольгой (случившееся с ней вообще на некоторое время выбило Николая

Андреевича из колеи. Причем, если честно, он больше переживал не из-за того: выживет или нет девушка; проблема была -- от кого случилось нападение? И Бурляев предпринял дополнительные меры безопасности. Потому что очень подозревал -- что от Венгерова. Что означало -- необходимо чего-то опасаться и ему). Правда, почему-то сейчас он больше думал о Гершензоне. Хотя, если разобраться, они-то и друзьями никогда настоящими не были.

Да и что такое дружба? На какое-то время -- случайно -- люди оказываются рядом. Общаются. Или действительно находя, или в большинстве случаев убеждая себя (что вернее, -- подумал Бурляев), что кто-то другой -- удивительным образом похож на них; а на самом деле, как только изменяются жизненные условия (то есть происходят некие события, которые выводят из "заколдованности" прежнего состояния), -- так почти тотчас начинается тот самый отход от дружбы, который у некоторых (большей частью -- из сторонних наблюдателей) вызывает (порой, искреннее) недоумение.

Но что поделаться... Кто, как ни Бурляев, знал, что друзей -- в принципе -- быть у него не может. В том плане, что ему они -- не нужны!

Что касается отношений с Ольгой... Признаться, она ему уже надоела. Задумываясь, почему же так произошло, Николай Андреевич как-то быстро пришел к убеждению, что раньше его манила в этой женщине именно ее -- "недоступность", строгость, самостоятельность... Теперь же -- подчинив девушку своей воле -- Бурляеву все больше становилось скучно с ней и неинтересно. Правда, и скука, и отсутствие интереса были, конечно же, -- какими-то весьма специфическими. Может быть, просто Бурляев

добился своего. Достиг цели и решил -- поставленную -- задачу. А раз так, -- то ему вполне не хотелось останавливаться. Потому что он привык двигаться вперед.

А Ольга... Ольга должна остаться в его прошлом... (Можно ли назвать причиной, побудившей Бурляева подчинить себе девушку, еще и -- подсознательное желание обставить соперников в виде того же Гершензона или Венгерова, которые также увлеклись Ольгой Маер?)

Правда, еще, как будто, оставался нерешенным вопрос с Сеченовым?.. Этот чудака каким-то образом нашел его, Бурляева, представившись, почему-то, дальним родственником Гершензона и стал предлагать свою помощь. Тогда же у Бурляева и промелькнуло в голове, -- что неплохо было бы посадить этого придурка вместе с Гершензоном. Или вообще -- пристрелить его.

А Сеченов... Сеченов, ничего не подозревая, просил Бурляева свести его с женой или близкой подругой Гершензона. Через них, вероятно, намереваясь добраться до Викария Германовича.

Ничем, конечно, Бурляев Сеченову помогать не собирался. И спустя время, Бурляеву он не только показался еще более подозрительным (чем вначале), но и Бурляев уже готов был взорваться от одного только своего негодования, отчего "этот прошельга" (как он тотчас же окрестил его) обратился именно к нему. Да еще сумел как-то отыскать его. Ведь -- в таком случае -- получалось: если это смог сделать Сеченов, -- то точно также

способен был и кто-то другой. (Сеченов вообще производил странное впечатление. Высокий, худой, лысый -- абсолютно голый череп -- с огромными и чуть навывкате глазами, орлиным носом и каким-то вкрадчиво-гортанным голосом, он напоминал какого-то слащавого педераста. Хотя вполне может быть -- уже решил Бурляев -- таким и был).

Сделав вид, будто забыл о просьбе Сеченова, Бурляев на какое-то время почувствовал себя посвободней. Ему очень хотелось поскорее отвязаться от этого педика. Но Рудольф Самуилович напомнил о себе. И, чтобы действительно отвязаться, Бурляев дал тому телефон Инессы. Номер каким-то чудесным образом оказался в записной книжке. Потом уже Николай Андреевич вспомнил, что Инесса сама дала его, когда он -- в поисках адреса Братиславского университета, где работала тогда Ольга -- случайно вышел на подругу Ольги Маер. Любвеобильную подругу, -- не без удовольствия вспомнил Бурляев оказанный ему прием.

Махнув рукой на расшаркивающегося в благодарности Сеченова, Бурляев наконец-то действительно отвязался от становившегося надоедливым Рудольфа Самуиловича.

Однако то, что отстал Сеченов, -- нисколько не означало, что какие-то проблемы действительно закрыты.

Необходимо было всерьез задуматься о своем будущем. Ведь так вышло, -- а в этом Николай Андреевич пока боялся признаться даже себе, -- что для него все, что было связано с музыкой -- стало совершенно безразлично. То ли вдохновение куда-то ушло и возвращаться не собиралось, то ли действительно наступило какое-то чрезмерное пресыщение, и, -- вследствие

этого, -- разочарование всем, что было связано с музыкой как родом занятий, но так или иначе, Николай Андреевич решил сменить род деятельности.

Правда, здесь ему пришлось серьезно задуматься. Шутка сказать, -- столько лет отдал профессии. И, главное, -- ничем кроме музыки Николай Андреевич никогда не занимался.

А потому, безуспешно вытесняя уже изрядно измучившие его мысли, Бурляев вынужден был признаться, что окончательно оставить музыку -- он не сможет. Никакой приемлемой замены было не найти. А значит...

-- Значит, придется опять заниматься тем же самым, -- горестно вздохнул Николай Андреевич, вкратце поведав Шевцову (старый приятель, еще в начале перестройки занявшийся бизнесом) о своих дальнейших "перспективах".

-- Серьезное дело, -- осторожно заметил Шевцов, держа в руке чашку с кофе (сидели в ресторане), а другую -- с зажатой сигаретой -- держа у губ. -- Слушай, --загорелся он внезапно пришедшей идеей, -- а что если тебе уехать за границу? В Штаты, например.

-- Пытался, -- обречено улыбнулся Бурляев. -- Но в Штаты мне не дают визу.

-- Чем мотивируют? -- любопытствовал Шевцов, заинтересованно посмотрев на приятеля.

-- Ничем! -- усмехнулся Бурляев.

-- Да-а-а, -- протянул Шевцов. -- Бизнесом, я так понял, у тебя душа не лежит заниматься.

-- Не лежит, -- согласился Бурляев.

-- А не пробовал пойти преподавать? -- подыскивал все новые варианты Шевцов. -- Например, у меня есть...

-- Преподавать я не буду, -- устало перебил его Бурляев.

-- А как думаешь жить? -- задал висевший у него на языке вопрос Шевцов.

-- Вернусь обратно, -- устало произнес Бурляев. -- Пойду хотя бы лабарем. У тебя есть знакомые рестораторы?

-- Есть, -- секунду подумав, закивал головой Шевцов.

-- И у меня есть, -- усмехнулся Бурляев. -- И если не примут "мои" -- обращаюсь у "твоим". Идет?

-- Идет! -- радостно пожал, протянув руку, Шевцов. -- Если честно, я и сам собирался открыть ресторан. Если хочешь -- могу даже подыскать должность повыше.

-- Спасибо, -- улыбнулся Бурляев. -- Но если я все же решу, -- то только лабарем. Лишняя ответственность мне не нужна. А деньги я и так заработаю.

-- Ну, тоже верно, -- согласился Шевцов.

Когда Бурляев ушел, -- Шевцов еще долго смотрел ему вслед. По всему выходило, что Марат Романович действительно не ошибся. (Шевцов был компаньоном одного из близких друзей Марата Романовича Клавина -- отца отвергнутого жениха Инессы -- Олега). Вся эта публика была ненадежна...

Зачем Бурляев понадобился Клавину -- Шевцов не знал? Единственно, -- он догадывался, что и Олег и его отец -- были недовольны поведением Инессы. Особенно отец, который с присущим кавказским темпераментом -- какая-то доля в его крови была действительно народностей с Кавказа -- считал, что женщину

может бросить мужчина. Но никак -- не она его. А теперь выходило, что его сын не только влюбился в проститутку, но еще она ушла от него, когда -- получается так? -- он ей надоел! Это было верхом неприличия! Да еще и так опозорился, когда на сайте их компании появились фото, запечатлевшие преступную порнографическую связь с его сыном и с другими мужчинами Инессы Каплан, "невесты" сына руководителя пресс-службы нефтяного концерна. Теперь все узнали, что эта блядь бросила его сына ради какого-то уголовника. Хорош же отец, воспитавший сына с такими неразборчивыми связями, -- думал Клавин и ему хотелось наказать мерзавку. И он даже выработал план действий. План, -- который должен был претвориться в действительность... Но об этом еще рано было загадывать. Следовало наладить все механизмы единой цепи. Которая должна была сомкнуться на горле неверной -- и уже окончательно бывшей -- невесты его сына. И немаловажную роль во всей цепочке должен был выполнять Георгий Макарович Шевцов; человек, с которым Клавин познакомился давно. Но начал близко общаться только сейчас. После того, как случайно узнал в одной из многочисленных фото, оставшихся после проживания у них Инессы, -- Шевцова (кажется, какая-то вечеринка в ресторане; быть может -- чей-то день рождения; в общем -- банкет, где среди гостей -- присутствовал и Георгий Макарович Шевцов). Распутать клубок трудности не составило.

Эти бы проблемы Бурляеву! В его сорок с небольшим -- наметился серьезный крен в сторону, своего рода, переоценки ценностей. И то, что некогда еще казалось, в принципе,

нормальным -- теперь было пересмотрено под совсем другим углом зрения. И, признаться, ничего хорошего этот "новый взгляд" не сулил.

И все же, Бурляев мог на что-то надеяться. Ну, хотя бы на то, что следовало как-то урегулировать собственное отношение к жизни, подозревая, что именно от него -- зависит вообще -- оценка действительности.

Другими словами, Николай Андреевич решил ничего нового не придумывать. А постараться наоборот -- прислушаться к себе. (Тем самым, нацелившись на собственный потенциал -- найти разрешение случившимся неурядицам). И, заметим, он был недалеко от истины. Точнее -- способ, выбранный им, -- был точно такой же полноправный способ, наравне и с другими -- согласимся так же и с этим -- вариантами.

Однако уже здесь случился новый казус, который, хоть и не отвернул Николая Андреевича от "следования намеченным курсом", -- но, тем не менее, на какое-то время вынудил даже пожалеть о принятом решении. Хотя и такой чтобы жалости -- не было. Бурляев понимал, что по-настоящему помочь может себе только он сам. А потому уже через время -- собравшись с силами - - пустился в исследование собственной психики, решив раз навсегда закрыть вопрос о возможности покончить с какими бы то ни было внутренними проблемами.

Что же до того, что остановило Бурляева на пути следования намеченному курсу, -- так это неожиданно возросшая (и увеличивающаяся в геометрической прогрессии относительно дням, берущим отсчет с "начала самоанализа") внутренняя тревожность. Которая -- вспомним -- существовала в нем и ранее

(правда, наверное, не в такой степени, как у Гершензона). Но теперь (создавалось именно такое убеждение) -- разгулявшаяся не на шутку.

Мы, конечно же, не беремся целью проследить, откуда (и, собственно, когда -- предусматривая некие "истоки зарождения") шла тревожность (тревога и тревожность -- несколько разные понятия, но суть -- одно: беспокойство психики); хотя наверняка (анализируя личность Бурляева с подобных позиций) смогли бы с предсказательной точностью (абсолютную точность не может дать даже сам "хозяин" тревоги; хотя бы потому, что всегда вмешиваются ряд второстепенных факторов, которые легко способны увести в сторону) ответить на этот вопрос. Но зачем? Тем более, что и самому Бурляеву это было нужно ровно настолько, насколько бы позволило избежать -- впредь -- рецидивов подобного. Оптимальным же вариантом было купировать причину возникновения тревожности. Но пока это не представлялось возможным.

.....

Бурляев в полной мере испытал на себе кошмар, который (сейчас он даже удивлялся -- как?) все это время ему удавалось заглушать, не позволяя принимать действительности катастрофические формы и вынуждая... Впрочем, это было действительно ужасно.

Начиналось все утром.

Просыпаясь, Бурляев какое-то мгновение прислушивался к себе, гадая: "повториться -- не повториться?"

Повторялось... И почти тотчас же, -- Николай Андреевич начинал испытывать идущую откуда-то из глубин подсознания тревогу. Не только заполнявшую Бурляева, как говорится, "всего без остатка", но и подчинявшую своему нелепому распорядку -- существование Николая Андреевича. Вынуждая его -- принимать новые правила игры. И -- буквально трястись от каждого шороха; а какой бы то ни было (возможный; и успешно -- в прошлом -- применяющийся) анализ действительности -- подвергал эту самую "действительность" таким сомнениям, что проще было бы, наверное, и вовсе прекратить жить.

Бурляев метался и переживал.

Внутренняя неустроенность -- рождала точно такую же и внешнюю. Беспокойство (заставлявшее трястись Николая Андреевича мелкой дрожью) вызвало приступы страха. Причем, какой-то причины "фобической тревоги" реально как будто и не было.

Но вся беда в том, что теперь любая ситуация представала изначально перед сознанием Николая Андреевича в негативном свете. И что-то изменить он был не в силах.

Ну и, конечно же (словно -- или помимо этого, или -- как следствие), к Бурляеву стали подступать воспоминания, от которых Николай Андреевич думал, что избавился. Забыл, попросту.

Оказалось не так. Причем, хуже еще было оттого, что теперь -- во всех былых совершенных поступках -- Николай

Андреевич чувствовал именно свою вину. Словно он и на самом деле был виноват?!. И десятки раз на день Николаю Андреевичу Бурляеву приходилось прокручивать по новой когда-то произошедшее с ним, при том -- столько же раз -- корить себя, испытывая настоящую вину (а ожившие воспоминания казались только что случившимися) за свое поведение, которое, признаться, он уже в большинстве случаев и не помнил.

И при том -- это все было то, что лежало на поверхности. А стоило "копнуть поглубже", как тотчас же приоткрывались все новые и новые детали и подробности, которые как цепная реакция множились, расслаиваясь на несколько составных частей.

Через какое-то время прошлое уже не казалось чем-то потусторонним. (И, тем более, привлекательным). Оно уже было таким. И Николаю Андреевичу приходилось не только жить с ним, жить -- им, но и -- он уже сам себе казался чем-то прошлым.

Что до тревог... Так к ним -- оказалось -- тоже можно привыкнуть.

Ну, конечно, не так чтобы свыкнуться с ними... А именно привыкнуть. Приучить себя. Научить себя -- или не замечать их (что -- по крайней мере, пока -- было невозможно); или же -- хотя бы -- научиться сосуществовать с ними. В том неожиданном соседстве, с которым он даже свыкся.

Само по себе это, конечно же, чем-то исключительным не было. В большинстве случаев нашей жизни мы уже повторяем путь (хотя бы в жизненных, ситуационных моментах), пройденный другими.

Но почти всегда мы привносим и что-то свое. Причем, или добавляя и усовершенствуя; или же -- наоборот -- совершая ошибки, которые нашим "предшественникам" удалось избежать.

Именно так и считал Бурляев. Именно это, в какой-то мере, диктовало его нынешнее отношение к жизни. Внося в него какое-то особое направление. Заметное... Впрочем, "замечать" пока было некому. И, несмотря на окутавшую Бурляева тревожность (а также целую цепочку сопутствующей симптоматики), он оставался одинок, может быть, как раз -- и вследствие этой "симптоматики".

И если отбросить все то напускное, ту "маску", которую Бурляев одевал на людях (в душе он до сих пор оставался все тем же скромным, забитым и застенчивым подростком, который боялся лишний раз заявить о себе, потому что мог быть подвергнут нападкам окружающих), то, в общем-то, и говорить особо было не о чем.

Что до каких-то внешних проявлений, -- то тут можно выделить, пожалуй, достаточно характерную деталь, заключающуюся, например, в специфике общения Бурляева с другими людьми.

Ну, сказать, что он их совсем избегал было, конечно, нельзя. Но вот та форма общения, которой он придерживался... Нет, не всегда, конечно. Иной раз -- что тоже, признаться, случалось -- Николай Андреевич мог быть совсем даже непосредственным собеседником; с легкостью поднимавшим любые темы и чувствовавшим себя -- при обсуждении их -- очень даже естественно.

Но такое было не всегда. И, в большинстве случаев (особенно, это как раз проявлялось именно в последнее время) Бурляев представлял собой некое запуганное существо, -- когда что-то приходилось или говорить, или просто слушать -- испуганно озиравшееся по сторонам; а после слова или предложения -- делавшее невероятно затянувшиеся паузы. А иной раз -- и просто забывая мысль, которую хотел донести...

Но что, по крайней мере, мне показалось особенно удивительным (удивительным еще и оттого, что таким я Бурляева не знала), Николай Андреевич устроился в один из институтов (владельцем вуза был один наш с ним общий знакомый) на должность преподавателя... кафедры истории.

Что-что, а преподавательские устремления Николая Андреевича как-то проходили раньше мимо меня. Но оказалось, что он когда-то закончил именно исторический факультет Ленинградского Университета; что было "двойной" новостью, потому как, во-первых, я думала, что у него только музыкальное образование, а во-вторых, считала, что Бурляев родился в Москве. Что и подтвердилось. Потом его родители уехали в Ленинград, увезя маленького Колю с собой.

Приехал же он в Москву почти сразу после окончания ЛГУ. С трудом, как оказалось, сумев преодолеть родительский запрет (отец считал, что он непременно должен быть -- как и он -- ученым-историком), и без труда (видимо, сыграли роль несколько факторов, среди которых, помимо собственного желания Николая посвятить себя музыке, и, наверное, желание доказать что-то отцу) поступил в Гнесинское училище.

Тот факт, что на пятом десятке Бурляев решил изменить свою жизнь, все же став историком (причём, преподавателем истории, на что бы я -- на его месте -- никогда не решилась; хотя бы потому, что чувствовала ответственность перед студентами), для меня был и вовсе необъясним.

И оказалось, что мы все (те, кто каким-то образом знал Бурляева), его недооценили. За все время увлечения музыкой -- он почти столько же времени (ну может, все-таки, чуть поменьше) отдавал истории, написав несколько книг и даже подготовив диссертацию, которую к удивлению всех вскоре защитил.

Правда, ходили слухи, что свою диссертацию он "купил". Но уже я отметала их, почему-то будучи уверенной, что Николай Андреевич на это не способен.

.....

Предприняв такой шаг, Бурляев видимо подпал под эффект, который он произвел сим действием на нас. Потому что видимо к этому периоду относится ухудшение состояния, которое -- и не только на мой взгляд -- началось у Бурляева.

Ну, начнем с того, что он внезапно, на какое-то время, перестал узнавать знакомых.

Это было еще и удивительнее оттого, что, как будто, к той симптоматике внутренних расстройств, которые, что уж говорить, были у Бурляева, вроде как и не имело никакого отношения. Было не характерно.

В принципе, замечу, что скоро все стало на свои места. Причем недавнее поведение Бурляева объяснялось достаточно

просто. И все эти "не узнавания" -- были некой защитной реакцией организма. А еще проще -- на какое-то мгновение Бурляеву показалось, что так проще жить.

Но уже вскоре все возвратилось обратно.

Правда, было это тоже не надолго.

Потому что с Бурляевым начали случаться "чудеса", сознанию обычного человека (не отягченного той или иной степенью психопатологии) вроде как и непонятные.

И даже я, признаться, поначалу не понимала его. Можно было сказать -- отвыкла понимать. Хотя, может быть, -- сейчас уже ловлю себя на мысли, -- все-таки "до конца" я Бурляева никогда и не знала.

Начнем с того, что Николай Андреевич как-то внезапно (опять же, эффект "неожиданности" вызывало то, что ранее -- как будто -- с Бурляевым подобного не происходило) мог замолчать, провалившись вглубь себя. И как-то достать его оттуда -- совсем не представлялось возможным.

Загадочно это было еще и оттого, что в такое состояние Бурляев мог погрузиться, как бы с ни с того ни с сего. То есть, -- во время чтения лекции, например. Или, скажем, когда он выступал на каком-либо собрании: будь-то научная конференция, в коих он, с недавних пор, стал принимать участие, или на съезде работников высших учебных заведений.

Ну и, конечно же, было это действительно опасно, когда он вел автомобиль. Думаю, именно перспектива возникновения какого-то несчастного случая и заставила Николая Андреевича продать недавно купленную машину.

Если говорить о какой-либо реакции Бурляева -- то ее просто не было. Не считая каких-то его действий (а Николай Андреевич -- и это было заметно -- скорректировал поведение, лишив себя допустимости некоторых ситуаций), можно было сказать, что он делал вид, словно с ним ничего и не происходит. И максимум, что удавалось выжать из него -- заверения, что он, мол, и раньше -- был таким же. Заставляя обратившегося к Бурляеву с каким-нибудь предостережением -- чувствовать виноватым именно себя. За свою -- невнимательность.

Но от себя, конечно же, Бурляеву было никуда не деться. И если поначалу он действительно делал вид, что ничего не происходит, то со временем ему все же пришлось признать, что ситуация значительно ухудшилась, что привело к тому, что он стал по настоящему скрытен. И с этим необходимо было, как минимум, считаться.

К тому же, у Николая Андреевича Бурляева проявилась еще одна черта, которая, если и была раньше, то можно смело признать, -- ему удавалось ее скрывать.

А дело все в том, что Бурляев вдруг стал безразличен к каким-либо признакам власти.

Ну, что является подобными признаками? Наверное то, что может дать человеку какой-то авторитет, уверенность: деньги, положение в обществе, собственный статус, наконец; который все равно базируется и на деньгах, и на положении в обществе.

Бурляев стал таким альтруистом.

Причем, если раньше деньги тоже Бурляева не так чтобы интересовали (насколько я помню, для него всегда важнее было удовлетворение от работы), но он всегда -- когда подходило время

аванса, зарплаты, премий и прочих выплат -- четко следил, сколько ему дали, даже, бывало, закатывал скандал, если (по его подсчетам) сумма не сходилась, -- то теперь какие бы то ни было финансовые отношения ему действительно стали безразличны. Причем, дошло даже до того, что за зарплатой (в том же институте, где он работал) он даже не ходил. И ему всегда приносил деньги домой устроивший его приятель, расписываясь в ведомости самостоятельно.

Это уже, признаться, настораживало. Могу сказать, что на мой взгляд Бурляев действительно не испытывал каких-либо затруднений, вызванных своим поведением.

Но, -- как выяснилось позже, -- я ошибалась. Николай Андреевич, конечно же, находил странности в таком поведении. И даже пытался с этим как-то бороться. Но борьба эта, к сожалению, приводила к тому, что он вдруг стал подменять самого себя каким-то вымышленным человеком. И, испугавшись, -- все подобные попытки прекратил...

Не знаю... Может быть, он все же смог бы как-то изменить (заставить изменить) себя. Почувствовал бы (пусть и не сразу) улучшение. И даже -- черт возьми -- пусть бы и изменился, пусть бы и не стал таким, каким он до того привык видеть себя, но он бы жил... по крайней мере, -- жил...

Тогда он еще жил. И, конечно же, все эти его "странности", вызывали в нас по меньшей мере недоумение. Кое у кого -- смех. А у кого-то (было и такое) -- несколько подозрительное отношение.

Так относятся к шутам (когда шут действительно вдруг внезапно умирает, а не играет -- это все равно вызывает смех); так относятся к изначально больным людям, которые вдруг -- словно болезнь на мгновение отходит от них -- начинают говорить что-то серьезное... Так бывает.

Но почему же тогда то, что произошло с Николаем Андреевичем Бурляевым -- вызывает в моей душе то тоскливое чувство недовольства самой собой, когда кажется, что совсем не видишь просвета. А все, что до сих пор казалось несущественным -- внезапно выходит на передний план; становится важным и актуальным.

Мне давно уже не хочется жить. Скрывая все это за вовремя надеваемой маской веселости, -- я, тем не менее, упорно стремлюсь к смерти. Сама, быть может, и не подозревая о этом.

Глава 13

Гершензона освободили.

Случилось это совсем неожиданно для нас. И, конечно же, для него.

Быть может, даже еще в большей степени для него.

Как оказалось, Инесса все это время не оставляла попыток добиться освобождения Викария Германовича, по отношению к которому она испытывала необъяснимое (наверняка уже точно -- для нее) чувство вины.

Но еще больше удивила меня следующая цепочка событий.

Причем, сами события скорее напоминали каскад, россыпь изумрудных моментов, которые в одночасье превратились вдруг в "факты биографии" жизни, к отдаленным моментам которой косвенно была причастна и я.

А случилось следующее.

Олег (бывший возлюбленный Инессы) каким-то образом нашел ее (вернув, кажется, с полпути ее поездки на зону к Гершензону) и предложил сделку: она выходит замуж за него, а он -- в ответ -- платит ровно столько денег, чтобы Гершензон оказался на свободе.

Инесса соглашается.

Гершензона действительно выпускают (дело закрывают "за отсутствием состава преступления", сначала вернув Гершензона в тюрьму -- в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, а потом уже оттуда -- выпускают на свободу).

А в самый день их свадьбы, в результате покушения неожиданно убивают сначала отца Олега, а потом -- как считали все -- случайной пулей убивают Олега вместе с невестой. То есть - Инессой Каплан. Моей двоюродной сестрой.

А Гершензон, совсем перестав что-либо понимать, оказывается в психиатрической клинике. Откуда выходит через полгода (после проведения курса усиленной химиотерапии -- самое "надежное", что есть в подобных клиниках) настолько изменившимся, что потребовалось еще полгода, чтобы он хоть как-то пришел в себя.

И то, я думаю, не до конца.

Глава 14

Гершензон давно уже перестал что-либо понимать.

Началось это еще в тюрьме. И даже еще раньше; когда он только попал в СИЗО, будучи арестованным за... да он и не понимал за что.

Новые обстоятельства жизни навалились на него так внезапно, что его сознание (удрученное "новыми обстоятельствами") оказалось совсем не готовым к такой вот реальности. И почти все время нахождения за решеткой -- перед Викарием Германовичем стояла дилемма: удерживать собственное сознание в надлежащих границах, или же махнуть на всё рукой.

Подобную "схватку", заметим сразу, Гершензон проиграл. Изначально. Просто так получилось, что... Да он действительно мало что понимал. И проходило все словно в каком-то тумане. Забытье. Как будто Викарий Германович закрыл глаза -- и все, что происходило с ним после -- было во сне.

И ведь, что удивительно: спроси кто Гершензона о каких-то деталях (даже того места, где он находился) -- с почти невероятной точностью можно было утверждать, что он ничего не помнит. А то и -- не знает вовсе.

Все потому, что жил Викарий Германович в той обстановке -- в состоянии легкого забытья. Гипноза. В состоянии, которое вынуждает сознание не фиксировать какие-то подробности жизни. Предлагая взамен -- выживание.

Да это и действительно была не иначе как возможность просто выжить. Жить, не взирая на подстерегавшие на каждом углу сложности. И, конечно же, хоть как-то, но не обращать внимание и вовсе на что бы то ни было. Словно перед ним разверзлась земля. И он провалился в потусторонний мир. Тот мир, где были другие законы. И даже не сами законы, -- а и вообще -- совсем иной взгляд на них.

А это, пожалуй, было намного сложнее. Ведь к законам еще можно как-то подстроиться. А к тому (сознательному или подсознательному) мнению, непосредственно формирующему взгляд на отношение к каким-либо обстоятельствам (будь то сама жизнь или только видение ее) -- иначе как принять это что-то в себя -- "подстроиться" было невозможно.

Все приходилось -- или "принимать за чистую монету", -- или же -- изначально отказываться от нее. И совсем нельзя было выбрать -- что лучше.

Но самое печальное, -- это то состояние, которое словно поглотило Викария Германовича; и которого совсем нельзя было избежать. Как-то обойти. Так же, как нельзя было -- и не заметить.

Несчастье свалилось на Гершензона. Но он даже не способен был (в полной мере) осознать пагубность этого несчастья. Потому что совсем потерял возможность подвергать какому-то анализу внешний мир. Будучи погруженным, главным образом, вглубь себя. Своего "Я". Своего -- сознания.

И на самом деле достаточно и сложно, и ошибочно, было пытаться ответить на вопрос: хорошо это -- или плохо?

По всей видимости -- это было ужасно. Но тогда уже и весь ужас был неким, однобоким, что ли. Потому что совсем не может он объяснить то, что происходило с Гершензоном (с сознанием Гершензона) на самом деле.

А на самом деле... На самом деле это была трагедия, которую Викарий Германович вроде как и не осознавал.

Глава 15

-- ...Ну и насколько ты считаешь допустимым такой расклад? -- я прервала вопросом Гершензона, уже в течение получаса пытавшегося мне доказать несправедливость общества в отношении его персоны.

Мой вопрос вызвал у Викария Германовича новый всплеск эмоций, и в течении еще получаса мне пришлось успокаивать его.

Не успокоился.

Гершензон ушел взвинченный и рассерженный.

А я... я, в который уж раз, пыталась убедить себя, что ни в чем не виновата. И как могла -- всегда стремилась только помочь.

К сожалению, мне не удалось убедить и себя. И в итоге -- я вновь стала ощущать в себе это предательское чувство вины, которое, казалось, теперь неотступно преследовало меня, и от которого я так безуспешно пыталась избавиться.

Гершензон зашел ко мне на следующий день.

Я отметила, что Викарий Германович был чем-то встревожен. И в тоже время -- подавлен.

А ещё вернее, общая канва его подавленности просматривалась, несмотря на прорывавшуюся у Викария Германовича ярость и агрессию.

Он был обозлен на мир. Обозлен на окружающих. В число которых, конечно же (так уж вышло, -- обнадеживала себя), попадала и я.

В таком состоянии с ним невозможно было говорить. И даже нахождение с таким человеком рядом неминуемо вынуждало обращать всю его агрессивную тревожность (точнее -- агрессией он маскировал тревожность) на себя.

Чего мне, признаться, не хотелось.

Но иначе и не просматривалось выхода. После всего, что произошло с Викарием Германовичем, -- от него отвернулись даже близкие друзья (Бурляев, например, вообще заявил ему, что не хочет такого "отморозка" знать). Что уже было говорить о каких-то второстепенных знакомых, которым довелось судьбой когда-то пообщаться с Гершензоном.

Правда... Вспомнила о его знакомых, и тут же в памяти всплыло обеспокоенно-унылое лицо Сеченова.

Вот кто -- наоборот -- искал с Гершензоном встречи.

Но -- почему-то не хотел с ним общаться Гершензон. Мотивируя совсем уж глупостями типа -- не помнил Сеченова; или же (что уже хоть как-то что-то объясняло) -- не желал видеть бывшего родственника бывшей жены. Стоило мне поправить Викария Германовича, упомянув, что Сеченов -- точно такой же и

"его" бывший родственник, -- как Гершензона тут же передернуло, и я почти невероятными усилиями вернула его в более-менее адекватное состояние, потому что, казалось, еще мгновение -- и Гершензон погрузится в тот свой внутренний мир, из которого его уже будет не так-то просто извлечь.

Правда, проходило какое-то время, и Викарий Германович обычно успокаивался.

Но такое случалось хоть и часто, -- но не всегда.

А то и наоборот, -- на него вдруг находили приступы немотивированной агрессии. И тогда спастись от него приходилось бегством.

Или... сексом.

К сожалению (мне, признаться, совсем не нравилось ни его худосочное тело, ни слабая потенция), -- именно такую форму релаксации мы стали практиковать с ним.

У меня, впрочем, мужчин -- кроме него и Бурляева (который периодически захаживал ко мне, получая "свое") -- не было.

Да я и не стремилась их найти.

Что же до Гершензона -- так ему, мне казалось, было тоже безразлично. И большей частью у нас вообще получалось -- только благодаря моей неустанной работе в области практики с ним того, что ему больше всего нравилось (минет, господа...); да еще, вероятно, -- его богатого воображения, в котором он -- как догадывалась я -- представлял вместо меня -- кого-то другого (кого?)

Кстати, нечто схожее я наблюдала и с Бурляевым. Тот также "включал" в постели со мной свое воображение. Но -- как

мне виделось -- он больше представлял меня "с кем-то". И оттого заводился (потенция у него тоже была так себе) -- и мог хоть как-то кончить.

Вообще, ни Гершензон, ни Бурляев как любовники меня, конечно же, не устраивали. Может быть потому, что мне приходилось всегда брать инициативу в свои руки (почти в буквальном смысле); да еще всячески подыгрывать им, теша их большое воображение и -- такое же ущербное -- самолюбие.

Гершензон, тот вообще, в большинстве случаев (когда я - за минуту-другую угадывала последующую от него "просьбу") канючил, вымаливая (чуть ли не на коленях) заняться с ним любовью.

Бурляев же наоборот. Вроде как и просил сам. Но как только начинал чувствовать "мое согласие", принимал откровенно униженную позу. И в большинстве случаев я замечала, что он получал наивысшее наслаждение -- только когда был предварительно мной "растоптан, да унижен".

Какое-то время я держала в голове идею нашего трио в постели. Но, пообтесав её и так и этак, -- все же отказалась. Испугавшись большей частью того, что мне совсем тогда предстоит невыносимая работа с этими полу-импотентами. (Хотя уже позже я поняла, что, вероятно, несколько ошибалась. Потому что -- один возбуждился бы от члена другого. А другой -- от того, что меня кто-то "имеет" не в его воображении, а наяву).

Но ко времени, когда я поняла это -- подобное желание у меня уже пропало. Да я, если честно, до конца не верила, что Гершензон с Бурляевым поладят друг с другом. Все-таки вражда между ними проявлялась достаточно часто.

Глава 16

Альберт Самуилович Сеченов неожиданно стал проявлять интерес ко мне.

Испугавшись было (новые знакомства я всегда заводила неохотно), я какое-то время под любыми предложениями избегала этого его "интереса". Пока не поняла, что, в общем-то, Альберт Самуилович безобиднейший человек. И напрашивающаяся поначалу параллель с Гершензоном -- совсем неожиданно стала закручиваться в сторону, явно указывающую мне на ошибочность собственных выводов.

Я действительно ошибалась. И если что и могло роднить Сеченова с Гершензоном -- так это только их внешность: оба худые и изможденные. Словно -- уставшие от жизни.

Но отличие, которое, может быть, и не было заметно сначала, -- это просматривавшаяся в Сеченове установка на изначальный проигрыш в любой ситуации. Проигрыш -- независимо от любых прогнозов, да и возможных шансов. Ничто, совершенно ничто не способно было вселить в Альберта Самуиловича хоть долю той уверенности, которая у подобных "типажей" иногда все же присутствует.

Вот в чем от него отличался Гершензон. Изначально вроде как настроенный точно так же -- он в минуты, когда создавалась действительно какая угроза его "Я", -- взрывался, словно убегающий заяц, убивающий задними лапами бросившегося на него коршуна.

И это (в отношении Гершензона) казалось еще и удивительным потому, что никто бы заранее ничего подобного в Гершензоне не угадал бы.

Но это, видимо, общая специфика таких людей. Они могут быть забытыми; могут во всем соглашаться с вами (даже боясь мыслить о каком-либо возражении); будут ловить ваш взгляд; будут вам улыбаться; причем, улыбаться той угодливой улыбочкой, -- которая уже изначально ставит обладателей такой скверной улыбки на несколько порядков ниже вас. Подобные люди, кажется, всем своим видом только и показывают свою зависимость от вас. Словно бы говоря, что ни на что большее они и не рассчитывают.

Но вот только стоит подобный народишко действительно припереть к стенке -- как они могут внезапно перейти в атаку, бросившись на вас.

Сеченов таким не был. Гершензон -- да. Но только не Сеченов.

Люди, подобные Сеченову (при внешней схожести с "гершензонами") -- будут и показывать вам свою униженность, и вести себя точно также. Даже без перспективы демонстрации какой-либо агрессивности (агрессию, на мой взгляд, в какой-то мере можно рассматривать как способ выживания в обществе).

И может быть поэтому, когда я действительно поняла это, -- Сеченов перестал представлять для меня угрозу.

Он даже стал мне безразличен. Как стало безразлично и вообще его существование.

Особенно, как мужчины (какое-то подобие флирта, и уже как следствие, подсознательного вожделения, промелькнувшего

как-то в его глазах, вызвало во мне такой безудержный смех, что мне с трудом удалось заставить себя остановиться, видя как стушевался Альберт Самуилович).

Но ведь он действительно казался мне полнейшим ничтожеством. Это было настолько очевидно, что когда я узнала, что Сеченов сошелся с Бурляевым, -- я долго недоумевала, что их могло объединить. Совсем забыв (вспомнила -- Сеченов как-то упомянул о своей работе), что Альберт Самуилович так же как и Бурляев -- историк. По-моему, они даже специализировались на истории древних народов.

Как бы то ни было, но Сеченов действительно необычно тесно сошелся с Бурляевым. Угадывала я в этом, конечно же, и подсознательное желание Сеченова "насолить" Гершензону, продолжавшему избегать Альберта Самуиловича; и, наверное, где-то такое же желание было и у Бурляева. С Гершензоном он до сих пор не общался.

И, как оказалось, и дружбу-то со мной Сеченов решил завести, только чтобы через меня сблизиться с Николаем.

Что до самого Бурляева, то я так и не поняла, для чего же ему был нужен Сеченов.

Но, быть может, он и сам это до конца не осознавал.

Как-то стало заметно, что Бурляев стал быть, как говорится, "сам себе -- на уме". И, вроде как, и слышал он вас, и даже отвечал что-то, но большей частью это происходило как-то... бессознательно, что ли. А сам Николай Андреевич, создавалось впечатление, находится где-то совсем далеко.

Я, правда, сначала не придавала этому серьезного значения. В нем и раньше, и всегда, были заметны какие-то

странности. И я, должно быть, просто уже устала от ожидания какого-либо нового проявления существовавших в его психике девиаций.

Сам же Бурляев, словно уже и перестал обращать на это внимание.

В нем стали развиваться какие-то фобийные зависимости. Например, для меня поначалу было совсем необъяснимо его желание -- иной раз -- говорить нарочито громко и развязно.

Позже я поняла, что, вероятно, таким образом он маскирует собственный страх, словно вытесняя и сублимируя его в это внешнее проявление агрессии. И на его лице тогда появлялась маска не только внешней отрешенности, но и -- недоступности.

Николай Андреевич как бы заранее оберегал себя от вторжений извне. Но если кто не реагировал на это, -- он, в зависимости, быть может, от психического состояния на тот момент -- или взрывался гневной руганью (что, все же, случалось реже), или же, наоборот, невероятно сникал. Беспомощно сдавая былые позиции.

Таким Николай Андреевич действительно раньше (как будто?) не был. По крайней мере, я его помнила все же более-менее (правда действительно "более-менее") уверенным в себе. Особо, как будто, и независимым от мнения (а тем более, посягательств) других.

Теперь же все изменилось. И, вероятно, то, что ему раньше удавалось заглушать, как-то маскируя в себе, -- теперь наоборот -- вышло на поверхность.

-- ...Ну почему ты считаешь, что вы не можете общаться?
--настаивала я, в который уж раз высказав недоумение по поводу избегания Бурляевым -- Гершензона. --Ведь если ты до сих пор не готов простить ему того случая (имела я в виду их конфликт, после которого попал в больницу ставший между ними Венгеров), то даже врачи признали, что Гершензон действовал в состоянии аффекта. Был невменяем.

-- Признали они позже, -- тут же заметил Бурляев, хотя мне казалось, он меня и не особо-то слушает.

-- Позже. Позже! -- согласилась я. -- Но лишь потому, что в первый раз кто-то очень хотел Викария посадить (при этих словах Бурляев бросил на меня настороженный взгляд).

-- Ты думаешь?.. -- задумчиво произнес он.

-- Ну, это только мое предположение... О покойниках, как говорится, ничего такого не говорят. Но...

-- Я так и думал, что это он! -- перебил меня Бурляев. -- Да еще, может быть, его братец.

-- Послушай? -- я вероятно как-то уж слишком заинтересованно посмотрела на Бурляева, потому как он, смутившись, опустил глаза. -- А это не ты его?.. Ну, с той автокатастрофой.

-- То просто совпадение, -- произнес Бурляев с таким выражением лица, что я еще больше убедилась в своих первоначальных предположениях (по-моему, когда я узнала о смерти Венгерова, то никаких сомнений в том, почему это случилось, у меня не было. Как-то вспомнила я и свой тогдашний

разговор по телефону с Николаем Андреевичем...) Неужели это и, правда, он?

Сейчас, когда уже прошло какое-то время после его смерти, мне, признаться, немного не доставало той холодной выдержанности и рассудительности Игоря Сергеевича Венгерова. Может быть, подобное еще больше было заметно на фоне тех психопатологических черт характера, которые я наблюдала в Гершензоне и Бурляеве. Ведь в этом отношении, мне казалось, Венгеров всегда был безупречен. Не думаю, конечно, чтобы у меня стало развиваться какое-то патологическое чувство вины по этому поводу. Но... мне почему-то стало действительно жаль погибшего Венгерова.

-- Может, ты думаешь, что и его брата -- я?.. -- донесли до меня слова Бурляева, и, посмотрев на него, я поняла, что он встал в какую-то ерническую позицию. (Параноик, -- подумала я).

-- Ну ладно, замолчи! -- неожиданно жестко ответила я. -- Разговор о прошлом мне вести не с тобой. А если боишься увидеть в Гершензоне свои психопатологические черты, -- то можешь и дальше с ним не общаться.

-- Чего это ты?! -- недоуменно произнес Бурляев, -- но в глазах его читался страх.

-- Все! -- так же жестко ответила я.

-- Оленька! -- с глумливо-похотливой улыбочкой Бурляев потянулся ко мне (вероятно подумав, что я таким образом начинаю заигрывать с ним), но я -- словно поддавшись ему -- улыбнулась, -- а потом резко ударила головой в его переносицу. Не дожидаясь взрыва эмоций или причитаний (и то и другое

вполне сочеталось в Бурляеве), я встала и ударила ему еще и между ног.

-- А это, мудака, за все твои извращенные желания, -- по возможности хладнокровно произнесла я и теперь уже окончательно ушла. Мысль -- остаться, понаблюдав за страданиями Бурляева, -- если и промелькнула в голове, то была тут же отогнана мной как недостойная нынешнему статусу, в который я только что себя возвела.

.....

Бурляев что-то еще причитал, но я уже не слышала его, хлопнув дверью его квартиры, в которую я и пришла-то, может быть, только для того, чтобы сделать нечто подобное.

Глава 17

-- Было ли мне когда-нибудь раньше так тяжело? -- задумался Викарий Германович.

Вот уже год прошел с тех пор, как он освободился. Но его мысли, каким-то неподвластным ему образом, все время возвращали его сознание к лагерю, к тюрьме, к заключению.

Но еще мучительнее было оттого, что его психика после заключения действительно расстроилась. И он не хотел этого признавать.

Да она и раньше, впрочем, не была такая уж идеальная. Теперь же девиации сознания начинали выражаться какими-то

психосоматическими последствиями. Например, почти каждый день -- очень болела голова. Сильно. До невозможности. А когда боли все же отпускали, -- тотчас же внутри его мозга что-то начинало бурлить, бродить и клокотать; и становилось необъяснимо тревожно на душе, словно ожидание какой-то невероятной надвигающейся катастрофы начинало преследовать его. И эта обсессивная тревога (как он где-то прочитал) непременно начинала вызывать за собой и компульсивные проявления. Другими словами, -- за навязчивыми идеями, повторением какого-то образа -- последовали и особые ритуалы, не выполнять которые Викарий Германович вроде уже и не мог.

И вот это его начинало порой здорово раздражать. Правда, раздражение, в какой-то мере, благоприятный фактор. Потому что хотя бы свидетельствует об осознании действия, которое, собственно говоря, и вызывает раздражение. К подобным ритуалам можно было отнести навязчивое желание поддерживать идеальный порядок.

И раньше-то Гершензона неряхой назвать было невозможно. Всегда в костюме, всегда гладко выбрит, рубашку больше дня не носил, галстуки менял каждый день (его коллекция доходила до тысячи). Но, вот, теперь... Теперь все его движения становились не только до невероятности отточенными (нарушение правил просто не допускалось), но и слишком часто повторяющимися.

Начиналось все с момента пробуждения. Хотя... сигарета, там, натошак, да обязательная чашка кофе -- это было и раньше. И даже чтение утренних газет -- обязательно вечером -- это еще

почти абсолютная ерунда. Обычная привычка, так сказать, без каких-либо просматривающихся психопатологических вывертов.

Но вот эти до боли однообразные переходы улиц (когда, бывало, до получаса Викарий Германович стоял перед дорогой, дожидаясь, пока машины исчезнут с неё); или, скажем, уже набившее оскомину стремление к чистоте. Квартира убиралась трижды в день. Сам же Викарий Германович -- до пяти раз в день принимал душ и изводил на себя бутылками туалетную воду.

Но и это еще было так... Пожалуй, наиболее доставалось Викарию Германовичу от необходимости общаться с другими. Вот уж чего он поистине избегал. Он даже написал заявление на телефонную станцию, чтобы ему отключили телефон.

Собственно говоря, специфика работы Гершензона (а он был, как мы помним, литератором, -- так он одним словом называл свои занятия писательством и работу редактором в одном из московских издательств) вроде бы и позволяла исключить особо тесные контакты с внешним миром. Притом, что вскоре (видимо с этим как раз и было как-то связано его стремление к одиночеству) он вообще стал затворником. Собственное творчество он с легкостью отправлял по электронной почте. Но за работами для своей редакторской правки еще ходил в издательство, словно опасаясь совсем потерять связь с внешним миром.

И, вероятно, подобное его стремление к аскетизму накладывало свой отпечаток и на дальнейшее развитие болезни. Невроз; невроз давно уже царствовал в душе Викария Германовича. От него нельзя было избавиться. Может быть, лишь

как-то заглушая его, -- сублимируя симптоматику заболевания -- в творчество.

Уже тут вероятно можно заметить, что издатель Гершензона был необычайно рад тому, что происходит с Викарием Германовичем. Можно было даже сказать, что Гершензон, пожалуй, был единственный его работник, который не отдыхал ни дня. А саму дневную норму выработки постоянно увеличивал.

Да Викарий Германович даже если и хотел отдохнуть -- не мог. Слишком высока была вероятность, что невротические проявления его захлестнут настолько, что совсем не будет больше возможности даже жить. А возвращаться в психиатрическую клинику он не хотел.

Но... вот в чем вопрос-то... Таким своим графиком Викарий Германович загонял себя в яму, из которой совсем невозможно будет ему выбраться.

Да он это, может быть, понимал и сам. И уже проходило какое-то время, а сознание Гершензона начинало протестовать. Его психика настолько была подвержена краху, что стоило только случиться какому-то потрясению, которое наиболее бы сильно задело его, -- и все. Пиши -- пропало. Спасения бы не было.

Так и случилось.

Гершензон узнал, что его сын, служивший в Израильской армии (и которого он не видел уже очень давно), погиб от рук экстремиста-араба, взорвавшего себя рядом с проезжавшей машиной войск армии Израиля.

Родители Гершензона (проживавшие тоже за границей, но в другой стране) вылетели на похороны внука. Но мать -- умерла в самолете от разрыва сердца.

Как только узнал Викарий Германович обо всем этом, тотчас же почувствовал, что окружающий мир стал изменяться в своих объемах. То, словно, непомерно увеличиваясь, он как будто надвигался, а то и набрасывался на него, то наоборот -- отдалялся. И Викарию Германовичу с трудом удавалось различать даже некогда крупные детали его.

А то и вовсе предметы вдруг начинали кружиться в каком-то зловещем танце; и уже не было возможности вообще ухватить их глазами. Да и начинала невероятно сильно болеть голова, а Гершензон катался по полу, зажав её руками, воя и скуля, и умоляя какого-то невидимого Бога прекратить эти страдания.

Об этом я узнала много позже. А тогда, пересилив себя и дотянувшись до телефона, Гершензон вызвал скорую, которая и отвезла его в психиатрическую клинику. И уже оттуда, через взявшего помочь ему санитаря, он сообщил мне. (Вернее, пытался сообщить, но я тогда на месяц уехала в Прагу, продлив -- позже -- командировку еще на три месяца).

Все это время Гершензон находился в клинике. Подправив самочувствие психотропными препаратами, врачи не могли его отпустить просто так. Необходимо было сдать или родственникам, или -- поручившимся за него -- знакомым. А так как никому кроме меня Гершензон не сообщил, -- то он и дожидался, пока отзовусь я.

Приехав из Праги, я пребывала в возвышенных чувствах после удачно выполненной работы, пока не узнала о Гершензоне.

И не то чтобы настроение тотчас же изменилось. (Хотя и изменилось, конечно, сразу). Но все дело в том, что я начинала осознавать, что Гершензон уже меня тяготил.

И общаться с человеком, который совершенно не видит впереди себя какого-то просвета, было трудно. Тяжело. Может быть, даже страшно.

Но, думаю, Гершензону было уже все равно до моего такого мнения.

Он и раньше-то считал, что всегда может рассчитывать на противопоставление окружающему миру только своей личности. А теперь, когда этот окружающий мир стал настолько чуждым ему, Викарий Германович все больше скрывался в своем внутреннем мире. Находя, может быть, там хоть какое-то успокоение.

Глава 18

Не оставить в беде Гершензона решил Сеченов.

Для меня всегда было загадкой, что же руководило этим человеком? Например, признаюсь, я не только считала его неудачником (таким же, впрочем, как и Гершензона с Бурляева), но и как-то всерьез не могла его воспринимать.. Тем более, даже какие-то намерения этого человека были мне и непонятны, и казались нелепыми -- в их последующем исполнении.

Сам так Сеченов не считал. И как только узнал, что Гершензон вышел из больницы (навестить его в психиатрической клинике он опасался), -- тотчас же поспешил приехать к нему.

Тогда психика Гершензона -- после усиленного курса медикаментозного лечения -- находилась в сравнительном покое. (Сравнительном, -- потому что не было у меня уверенности, что в любой момент его состояние не обострится). И что-то такое видно сказалось, но Гершензон вдруг стал считать Сеченова чуть ли не своим самым лучшим другом, начав -- через время -- доверять ему свои мысли.

Мысли, заметим, были ужасны.

Психопатологической уже была основа их.

Но Сеченов внимал и даже, казалось, что-то записывал.

У самого же Гершензона в голове вдруг стали рождаться какие-то гигантские проекты. До поворота рек, думается, не доходило только по причине того, что это было Гершензону неинтересно.

А вот стремление создать какое-то новое направление в науке -- было. Причем, как оказалось, Гершензон уже несколько лет над этим работал.

Я, конечно, ни за что бы не решилась заглянуть в эти записи.

Но Сеченов читал. И с позволения Гершензона -- комментировал какие-то отдельные моменты, включив диктофон, и наговаривая туда мысли, уже пришедшие ему. Причем, у меня совсем не было оснований подозревать, что Сеченов тоже сошел с

ума. Скорее, -- он таким уже был раньше. И до поры до времени не проявлял себя, верно, ожидая, подходящего часа.

Может быть потому он и пытался так давно сблизиться с Гершензоном. Найдя в нем какие-то патологические черты присущие самому себе.

Но это уже были мои выводы.

Сами же "друзья" ни о чем подобном не думали. И даже, -- сложилось у меня впечатление, -- нашли друг в друге то недостающее, что помогло обоим ощутить внутреннюю гармонию.

Хотя, что такое гармония?

По всей видимости, гармония -- это некая гипотетическая ситуация, которая позволяет оценивать окружающий мир таким образом, что он не вызывает в вас тех болезненных ощущений, которые, быть может, испытывали вы до сих пор.

И уже в применении к Гершензону и Сеченову я могла заключить, что эти ребята каким-то образом сумели объединить и то, что было и так между ними схоже и, конечно же, что в характере одного -- было представлено в большей степени.

Конечно, можно возразить, что это только мои предположения. Но был один факт, который (хотя бы косвенно) подтверждал мои мысли. А именно -- и Гершензон, и Сеченов после встречи друг с другом -- как-то... "излечились", что ли?..

Хотя уже вскоре я поняла, что ошибалась.

Но какие-то изменения с ними все же произошли.

Что же до конкретики, то я думаю, что они просто научились скрывать бросавшуюся раньше в глаза симптоматику своих внутренних конфликтов.

Конечно, подобное сокрытие несколько не означало излечения. Да и это, наверное, в их случае было бы слишком оптимистичным. Тем более, таких масштабных планов никто из них не строил. И для Гершензона с Сеченовым вполне хватало того, что они научились не раскрывать нараспашку (как ранее) свой внутренний мир перед окружающими.

И это, признаться, я уже считала прогрессом, хотя бы относительным. Потому как, никогда не знаешь, на что в тебе обратят своё внимание окружающие. И как они воспользуются этим. Можно ведь просто не заметить. Или, заметив, употребить во зло.

Правда, моими подобными размышлениями я даже не решилась поделиться ни с Гершензоном, ни с Сеченовым. И даже не то чтобы боялась, что они меня неправильно поймут. Скорее всего я как-то опасалась, что Гершензона или Сеченова (а то и -- скорее -- их обоих) это сподвигнет на какие-то излишне навязчивые мысли. И сможет ли их большая психика переработать такую информацию и выдать адекватный результат? Адекватный - моим надеждам, которых по отношению и к Гершензону, и к Сеченову -- с недавних пор не было.

Глава 19

Бурляев, казалось, совсем был выбит из колеи. Ничего толком у него не выходило. Не получалось. Все валилось с рук.

Можно было, конечно, сказать, что это некое следствие депрессии; которая у Бурляева явно затянулась.

Но с другой стороны, вполне можно согласиться и с тем, что это депрессия -- была следствием психопатологических черт характера Николая Андреевича. И ничего с этим уже было не поделать.

Хотя, признаюсь, меня всегда настораживала явно бросающаяся в глаза мнительность Бурляева. Вроде и мелочь случится какая-нибудь, но он возводит эту мелочь в масштаб настоящего бедствия, начинавшегося в его душе.

И уже хотелось чем-то ему помочь. Но после моего (как сейчас я уже считаю) ненужного скандала с ним -- к себе меня он не подпускал. Может быть, в душе, опасаясь повторения подобного.

И как бы то ни было, но мы совсем перестали общаться друг с другом. А возможности где-то случайно пересечься -- у нас не было.

Разве что...

Как-то случайно я увидела Бурляева на конференции, причем, что еще более было странно -- конференция проводилась по теме и ему и мне -- безразличной. Я пошла, потому что сдуру пообещала знакомому профессору из МГУ. Он, как оказалось, потому что попросил его о том -- Сеченов, с которым он продолжал поддерживать отношения. Что же до Сеченова, то у меня к этому человеку была явно выраженная антипатия. И,

вероятно, заметная. Потому что -- ни Бурляев, ни Гершензон -- в разговоре со мной его фамилию старались не произносить.

На конференции Бурляев подошел ко мне сам. Я могла отметить его какую-то необычную психическую возбужденность, явно заметную в контексте настороженно-внимательных лиц членов конференции.

-- Как бы этот тип не сделал какой-нибудь гадости, -- подумала я. И, видимо, подумав о том же, Бурляев принял обеспокоенный вид.

-- Только этого мне не хватало, -- промелькнуло у меня в голове.

Но Бурляева, вероятно, беспокоило что-то другое. Поэтому, улучив момент, -- он скрылся. Вкратце, впрочем, успев поведать о причине его прихода сюда.

О причине моего присутствия здесь, конечно же, рассказать не пришлось. Да я и не очень-то, если честно, хотела.

Примерно несколько месяцев мы не виделись.

А потом Бурляев заявился ко мне домой. Пьяный и окровавленный.

Ну, что до крови (терпеть, кстати, не могу мужиков в крови), то разбили ему только нос. Какие-то подростки напали уже в моей парадной. Из чего следовало, что ко мне он шел сознательно. Ну, или -- бессознательно, учитывая его состояние. И был вопрос -- зачем?

Оказалось все просто и до тривиальности неприятно для меня.

Бурляев узнал, что Сеченов общается с Гершензоном. (Странно?! Я считала, что он знает.) И ему показалось, что Сеченов -- гомосексуалист. (А вот это уже интересно.)

Естественно, Бурляев сопоставил это предложение и то любопытство, которое Сеченов к нему проявлял. А также вспомнил о наклонностях Гершензона. Кстати, как раз от этих наклонностей Гершензон вроде как избавился. Вернее -- заглушал их. И...

В общем, мне было понятно и так.

И с одной стороны мне, конечно же, было жаль Николая Андреевича. Я вообще, признаться, не сторонница человеческих страданий. Но вот что я никак не могла себя заставить делать -- это обращаться с Бурляевым хоть с каким-то, но, -- уважением.

Для меня действительно этот человек потерял всякую значимость. Я даже нисколько не хотела вспоминать прошлого.

Да уже и само прошлое -- оказалось словно отрезанным от меня. И если случайные обрывки воспоминаний еще и появлялись в сознании, то я лишь недоуменно отмечала их появление. Этакая констатация факта -- без какой-либо оценки.

Ничто меня не способно было сподвигнуть к тому, чтобы я как-то изменила свое мнение о Бурляеве. Былого было не вернуть. И к прошлому -- не возвратиться.

Но Бурляев неожиданно стал умолять меня... стать его женой.

Что мне было делать? Выставить его вон? Или согласиться?

Я поступила иначе.

Я позвонила Гершензону и попросила его срочно приехать.

Викарий Германович явился через двадцать минут. Запыхавшись, он влетел в квартиру и буквально остолбенел, увидев Бурляева.

-- Ну а теперь выскажите друг другу все, что вы друг о друге думаете. А потом будем пить чай, -- ввела я обоих в состояние легкого транса. Причем, Бурляев неожиданно протрезвел. Гершензон же чуть не упал в обморок. В последнее время он вообще стал слишком ранимым.

Правда, судя по моим действиям -- в клинике нуждалась я. Но, вероятно, в моем случае -- это была одна из, пусть и рискованных, но возможностей помирить бывших друзей; а заодно избавиться от излишнего внимания к моей персоне.

У меня даже не было желания просчитать последствия созданной мной ситуации. Да и действовала-то я большей частью спонтанно.

К тому же, я ведь могла добиться и обратного. Учитывая состояние и того и другого, -- мало ли что в их голове могло защелкнуться таким образом, что...

Ничего не произошло. Бурляев, видимо на свой лад истолковав приход Гершензона, -- ушёл. Гершензон же, -- вероятно, не так меня поняв -- ушел тоже.

Я осталась одна. И уже собиралась было браво выкрикнуть что-то про чёрта, к которому, вероятно, следовало направляться моим знакомым, -- как раздался звонок в дверь и, открыв, я увидела на пороге смущавшегося... Сеченова.

Вот уж кого я действительно не ожидала увидеть?!

Мое удивление, должно быть, достигло критической точки, когда в зашедшем в квартиру Сеченова я узнала... Касьянова?!

Вот кого я не ожидала увидеть -- никогда!

Касьянов был моим одноклассником. Да еще -- как помнится -- класса до восьмого. Ушедши потом в ПТУ, затем, как оказалось, он поступил в университет, закончив последовательно два факультета -- прикладной математики и информатики, и менеджмента.

И что самое интересное!

При виде Касьянова я тотчас же поняла свое подсознательное раздражение по поводу... Сеченова.

Они действительно были похожи. Причём, не какой-то внешней схожестью. Скорее, что-то исходившее от Касьянова (этакое излучение) -- каким-то незаметным образом искажало взгляд -- смотревшего на него. Словно вырисовывая перед этим

человеком -- заранее искаженный образ Касьянова. Да и, вероятно, искаженный настолько, -- что он все время казался наделен какими-то исключительно отрицательными чертами. Словно смотрели вы на него -- а перед вашими глазами все время вспыхивал только негатив. Тот негатив, который вы не хотели бы видеть у другого человека.

Может быть, какие-то подобные отрицательные черты проецировались от вас. Но при виде Касьянова -- всегда создавалось впечатление надвигающегося на вас вселенского ужаса.

Такую ауру излучал этот человек. И я всегда бессознательно его избегала. Ещё со школы. И, видимо, чего-то я боялась настолько, что, несмотря на то, что уже прошло более пятнадцати лет с момента нашей последней встречи, -- я не только тотчас же узнала Касьянова, но и поняла, что все эти годы -- его боялась.

Вернее, в моем случае, вероятно, страх был какой-то специфический. И именно страхом можно было назвать это ровно настолько, насколько я не хотела видеть Касьянова, потому что мне он был неприятен.

Даже слишком -- неприятен.

Что-то такое во мне всегда протестовало, когда я видела Касьянова. Лишь только я начинала думать даже о случайной встрече с ним, -- и во мне начинали активизироваться различные соматические реакции. Причем, порой, такие скверные, что даже упоминать о них не хочется.

И что интересно, большей частью это все я действительно поняла только сейчас. Это осознание пронеслось в

моей голове, в мгновение расставив акценты, какие раньше я лишь только предчувствовала. Но никак не понимала.

-- Давно мы не виделись, -- как-то даже с сожалением произнес Касьянов.

Я смотрела на него, видимо, настолько испуганно, что Касьянов, заметив мой взгляд, поспешил что-то сказать в оправдание своего прихода.

Но, вероятно, я его совсем не слушала. Со мной внезапно случился какой-то ступор. Я вроде как и слышала, что он мне что-то говорит, -- но думала черт знает о чем. Словно подсознательно оберегая себя от осознания слов его.

-- Как ты меня нашел? -- с трудом выдавила я из себя, может быть потому, что надо было что-то говорить, а может, начиная чувствовать, что и молчать, вроде как, неудобно.

-- Школьный альбом, -- признался Касьянов.

-- ...Ты совсем не изменился, -- смотрела я на него и -- не видела его лица. Передо мной сидел черт. С рожками и ехидной улыбочкой. Своими маленькими глазками черт изучающе смотрел на меня. И я чувствовала, как его взгляд -- пронизывает меня. Выворачивает наизнанку. Мне казалось, что сидящий напротив меня человек -- видит все мои пороки и наклонности; чувствует "странности"; может предугадать желания.

И уже казалось мне, что передо мной сидит дьявол. В облики -- Петра Касьянова.

А, может быть... И не Касьянов это вовсе.

А, например, тот же Сеченов, как мне и показалось первоначально. А со мной сыграло шутку мое больное воображение. Хотя, неужели у меня больное воображение?

...

Пауза явно затянулась. Никто ничего даже не пытался сказать.

А может быть Касьянов (если это был действительно он) выжидал.

Что могло показаться достаточно странным: появиться впервые (и без спроса) за пятнадцать лет -- и молчать.

Но уже подумала я, что может Касьянов и говорит. А я просто его не слышу. Или -- не понимаю.

-- Ну, не знаю, молчишь и молчишь, -- все также ехидно (неприятно и подозрительно) улыбаясь, произнес Касьянов, не сводя с меня своего сверлящего взгляда. И мне почему-то тут же показалось, что Касьянов действительно говорил все это время. А молчала лишь я.

И, видимо, желая как-то реабилитироваться, я уже открыла было рот -- но вопрос так и не возник в моем внезапно отключившемся сознании.

.....

Очнулась я одна. В квартире не было никого и -- ничего. Квартира оказалась вообще пустой. Только голые стены.

Попробовав, было, встать (я нашла себя лежащей на полу), -- у меня ничего не вышло. Оказалось, что кто-то привязал меня за руки (запястья) к какому-то крюку, вбитому над плитусом. Причем, таким образом, что я могла лежать только на спине. И не было возможности -- ни встать, ни повернуться.

А я еще обнаружила, что почти обнажена.

На мне был лишь какой-то непонятный пеньюар.

Непонятный -- потому что не мой. И я была так обескуражена сложившимся положением, что даже не способна была попытаться что-то вспомнить и сопоставить.

Мои мысли, впрочем, впервые за долгие годы оказались настолько чисты, что подобная "чистота" могла быть достигнута только отсутствием всяких мыслей.

И их действительно не было.

Я впервые не могла сосредоточиться на чем-то не потому, что информации было столько, что я не знала: что выбрать?

А именно потому, что самой информации -- не было.

Моя голова была свежа -- как у новорожденного. Хотя тот, наверное, "переживал" бы от того, что пришлось вылезти в какое-то непонятное место -- из материнского лона.

Но уже тогда -- в отличие от кого бы то ни было -- я не понимала ничего.

И не думала -- ни о чем.

И даже -- могла признаться себе (но признаваться -- а значит думать -- не хотела) -- что мне почему-то было хорошо.

Ощущение приобщения к какому-то одухотворенному началу разливалось в моей голове и в теле.

Хотелось громко смеяться.

И я не решилась себя сдерживать.

-- Что, уже проснулась? -- заглянул в комнату...

Гершензон.

Я недоуменно уставилась на него и вдруг стала ощущать, как вновь начинаю проваливаться в пустоту.

Я ощутила прикосновение рук у себя на голове. Кто-то ласково гладил меня по волосам.

-- Все позади, -- снова услышала я чей-то голос и теперь, открыв глаза, увидела, что на меня смотрит... Бурляев.

-- Вот те раз, -- подумала я.

И тотчас же внутри себя я ощутила какой-то живой предмет, который пульсировал, излучая тепло и доброту.

Мне тотчас стало приятно, и я рассмеялась.

-- Не все так страшно, -- услышала я голос, показавшийся мне невероятно знакомым.

Но я словно не могла вспомнить, кому он принадлежал.

Пересиливая любопытство, я еще какое-то время продолжала находиться в том положении, в котором и проснулась, -- но вскоре сдерживаться уже представлялось мне каким-то преступлением, и я попыталась перевернуться (что мне, замечу, не удалось), но боковым зрением я заметила... Венгерова.

-- Это были его слова!?

-- Но разве он не умер?

И тотчас же я поняла, что смогу и садиться, и вставать, и переворачиваться... Кто-то, видимо, успел меня отвязать, потому как...

Но в комнате никого не было...

Никого, кроме Венгерова.

-- Игорь, ты жив? -- прошептала я и испугалась, не услышав своего голоса. -- Игорь, ты... жив?! -- произнесла я уже громче, и, видимо, человеку, который сидел напротив меня резануло слух, потому как я заметила промелькнувший в его глазах испуг.

-- Ты жив..., -- уже констатировала я, широко раскрытыми от удивления глазами рассматривая... Касьянова.

Я чуть скосила глаза (оглядывая себя) и теперь заметила, что я сижу в том же самом месте и в том же самом положении -- как сидела, когда разговаривала с Касьяновым раньше.

Сознание вернулось ко мне.

И комната -- была обставлена точно так же, как и раньше.

Так что же изменилось?

Значит то, что я видела до этого, -- был только сон? Или? -- посмотрела на Касьянова, ожидая от него каких-либо разъяснений.

Петр молчал. Молчал как камень, который и не удалось бы разговорить, несмотря на любые старания.

Или чудеса?..

А то, что привиделось мне, -- тоже было чудо? Или сон?

Но, несмотря на мои попытки разговорить этого человека (во мне вдруг проснулась какая-то необъяснимая агрессивность), -

- Касьянов продолжал молчать. И уже даже не смотрел на меня. А куда-то в сторону.

Но когда мне все же удалось вынудить его посмотреть мне в глаза ("в глаза смотри, сволочь"! -- хотелось выкрикнуть мне), я вдруг заметила совсем отсутствующий взгляд Касьянова. Словно он и смотрел на меня и при этом -- смотрел куда-то -- сквозь меня.

Мне стало не по себе.

Я, видимо, собиралась что-то еще ему сказать, как вновь заметила, что начинаю проваливаться в пустоту.

-- Гипноз, -- успела подумать я, прежде чем уже перестала что-либо осознавать.

На этот раз мне не казалось уже ничего.

По крайней мере я, проснувшись, уже ничего не помнила.

Касьянов уже ушел.

А может -- его и не было?..

Глава 20

Гершензон открыл в себе способности видеть себя со стороны.

Причем, в действиях того, другого, казалось, был и он и - не он.

Должно быть, действительно -- не он.

Но "тот" человек неожиданно оказался настолько близок Викарию Германовичу, что он уже с легкостью выдавал его за самого себя.

И теперь Гершензон уже проживал не одну жизнь -- а сразу (как минимум) две.

Причем, эти две жизни были наполнены таким смыслом и содержанием, что у Викария Германовича, было, промелькнула мысль: почему же такое не было возможно раньше? Иначе бы он -- успел намного больше...

Впрочем, была у такого подарка и обратная сторона.

Например, Гершензон стал часто путаться: какие же действия ему стоит совершить?

Потому как мысли приходили в голову в удвоенном количестве. И уже вскоре совсем невозможно стало (хоть как-то) разделять их. И раньше-то много было ложного. С трудом объяснялось происхождение их. И Гершензону приходилось тратить значительное усилие на анализ, которому он подвергал пришедшие ему в голову идеи.

Теперь же в аналитическо-мыслительной работе Гершензон находился постоянно. Отсеивать, фильтровать возникающие в его голове идеи приходилось с еще большей тщательностью еще и оттого, что он стал серьезно подозревать, что пройдет еще какое-то время, и у него совсем пропадет способность -- тестировать реальность. И уже тогда -- бессознательное (пока только прорывающееся сейчас) начнет безраздельно господствовать над его сознанием. Обрекая на новые муки. И вынуждая -- все более и более -- погружаться в совсем иной, внутренний мир.

Тот внутренний мир, в котором и так Гершензон находился значительное время. И именно тот внутренний мир, который грозил теперь -- подчинить его полностью.

Спасть было невозможно.

Сигнализируя (на протяжении ряда последних лет) обострением симптоматики невроза и психопатологии, этот внутренний мир теперь требовал все большего, от Гершензона, участия в своей жизни. Иными словами, шутки, которые до сих пор вроде бы еще проходили, -- теперь все больше и больше уходили в небытие.

Гершензону следовало задуматься, начав, наконец, отвечать на вопрос: что с ним происходит?

Но как он мог на него ответить, если теперь на этот вопрос должен был отвечать не один Гершензон. А еще и тот; другой. Быть может, это было его второе "Я", которое теперь неожиданно получило излишнюю актуализацию? Может быть, вмешалась какая-то третья сила, которая также требовала, если пока еще не пристального к себе отношения, то -- участия -- наверняка. По крайней мере, с ней -- как минимум -- необходимо было считаться.

Тогда как Гершензону -- наоборот: стало слишком трудно выбирать между собой одним, и собой же -- но уже другим.

Вот где таилась загадка.

А выбор делать было нужно.

Глава 21

Но уже вскоре исчезла и какая-то необходимость подобного выбора.

Потому что два "начала", два "я" Гершензона -- смешались. Причем, настолько безраздельно они начинали (да уже и начали) господствовать над его сознанием, -- что, казалось, совсем не было возможности как-то разрешить проблему.

Но вот вопрос: чувствовал ли Гершензон, что ситуация настолько критическая, что у него не было даже шансов как-то самолично ее разрешить?

Например, мне казалось -- что он этого уже не способен был понимать.

И, судя по его действиям, -- так это и было.

И уже тогда ему оставалось -- или перестать обращать внимание на собственную патологичность характера, продолжая "жить как жил", насколько это позволял его внутренний конфликт.

Или же -- обратиться за помощью к психотерапевту, психоаналитику или, на худой конец, -- к психиатру. Причем, в отличие от первых двух, -- психиатр с помощью медикаментозного лечения -- мог купировать различные симптомосоставляющие болезни. И, тем самым, хоть как-то попытаться заглушить болезнь. А то и -- если повезет -- свести ее на нет.

Впрочем, Гершензон на эти мои слова-предложения никак не отреагировал. И всё, чего я добилась -- Гершензон стал меня избегать. Избегая, должно быть, возможности напоминания о своем состоянии.

А так, -- может быть, и было ему мучительно плохо. Но то, что об этом не знали окружающие, -- лишь только облегчало ему задачу. Потому что -- именно в интровертивности своей -- находил он спасение. И ему было, по большому счёту, наплевать -- что об этом думают другие.

Других -- в свой мир -- можно и не впускать.

Глава 22

Роберт Георгиевич Гегечкори уже как час нервно расхаживал по коридору института, дожидаясь доцента Сеченова.

Гегечкори слишком долго добирался до Москвы (он приехал с Северного Кавказа, из поселка Красная Поляна, что недалеко от города Сочи). Уж очень он хотел увидеть легендарного академика Сеченова.

Правда, ему сообщили в деканате, что на самом деле тот Сеченов, который работает у них, -- пока еще не академик, а только старший преподаватель.

-- Старший преподаватель?! -- с характерным грузинским акцентом, проявляющимся у него, когда он нервничал, переспросил Гегечкори, явно ничего не понимая. -- Но у меня же письмо?! Письмо?! -- чуть подрагивающим голосом произнес Гегечкори, явно смешавшись, какую тактику ему следует избрать.

В Гегечкори сейчас противостояли два мощных начала: кавказская вспыльчивость -- то, что досталось от природы; и -- внутренняя забитость, страх, неуверенность -- что было, как

говорится, наносное, как следствие -- неврастении, как минимум. А то и какой патологии.

Гегечкори смутился.

-- Письма я сейчас найти не могу, -- как можно тверже сказал он, усилием воли заглушая начавшуюся предательскую тревожность, которую, впрочем, выдавал лишь чуть подрагивающий голос. -- Но могу вас уверить (несколько человек, которых застал в тот момент Гегечкори, удивленно-испуганно взирали на полусумасшедшего приятеля Сеченова), -- Рудольф Самуилович мне лично писал, что он доктор наук, профессор; а как-то прислал открытку, что ему присвоили звание академика.

Сотрудники кафедры истории, куда к их несчастью пришел этот непонятный гражданин (утверждавший, впрочем, такое -- что вполне можно сделать вывод, что на их кафедре работает как минимум психопат), недоуменно переглядывались.

Между ними пробежал нервный смешок, когда Гегечкори еще раз упомянул об их сотруднике-академике, явно надеясь вызвать в их душах понимание, а может и уважение.

Некоторые дамы готовы были впасть в истерику, слушая этого горца, который, желая убедить их в своей правоте, иногда использовал жесты (переходя на какой-то непонятный -- должно быть грузинский -- язык), которые показались им невероятно двусмысленными. Так что, хотелось выгнать взащей этого недоумка -- и одновременно -- слушать его и слушать...

Гегечкори действительно завораживал своим голосом, манерами, каким-то загадочным для женщин поблескиванием глаз.

Но в главном он ошибался: их сотрудник Сеченов -- никаким академиком не был.

В любом случае, не желая до конца уже расстраивать Гегечкори, -- ему посоветовали подождать Сеченова, который скоро должен был подойти: через час у него по плану начиналась лекция со студентами первокурсниками.

...Гегечкори нервно расхаживал по коридору.

Гегечкори -- более чем нервно расхаживал по коридору.

В его голове постепенно начинался хаос и какая-то необъяснимая тревога -- словно он мог потерять что-то ценное для себя.

.....

Сеченов стоял перед входом в институт и -- не решался зайти.

Сегодня утром он вспомнил, что как раз в этот день должен приехать тот грузин с Кавказа, который написал ему первое письмо еще полгода назад и которого -- за это время -- Сеченову удалось убедить в том, что именно он, Сеченов, и является тем академиком Сеченовым, труды которого с самого детства изучает охотник Гегечкори.

К слову сказать (в какой-то степени -- к ответу на вопрос: почему он это делал?), Сеченову показался невероятным интерес какого-то охотника с Кавказа -- к трудам Сеченова. Причём, не

важно -- какого Сеченова: физиолога (которого давно уже не было), или однофамильца -- Сеченова -- историка.

Более того. Он даже не особо-то верил в существование этого грузина. И уж никак не ожидал, что тот может бросить все -- и приехать.

Поэтому он списался с ним, с удовольствием рассказывая о своих научных открытиях, и -- признаться -- обрел в лице жителя горной станицы -- искреннего почитателя своего таланта.

Таланта, который наверняка -- по мнению самого Сеченова -- в нем присутствовал. Но, почему-то, именно этот талант -- упорно не желали замечать окружающие.

И уже, быть может, оттого (это наше предположение) Сеченов больше и стремился попасть в свой внутренний мир, в котором безраздельно царствовал только он. И где никто не мог ему навязывать какой-то своей точки зрения; где не нужно было подстраиваться к мнениям окружающих; а то и более того, вполне можно было эти мнения -- высмеивать.

Что, признаться, иногда Сеченов и делал. И тогда стены его четырехкомнатной квартиры сотрясал невероятный хохот. И мало кому хотелось (из тех, до кого доносился этот хохот) поддерживать Сеченова в его весёлом состоянии духа.

Потому что -- было это не веселье. Совсем -- не веселье.

А скорее -- предчувствие какой-то невероятной беды, надвигающейся катастрофы, мучившего Сеченова -- несчастья.

Никто никогда не задавался желанием выяснить -- в чем причина трагедии Сеченова?

С ним никто не общался. Его предпочитали обходить стороной. Соседи -- избегали его.

И в этом, наверное, был свой резон. (По крайней мере, право на это -- у них было.)

А Сеченов... Да Сеченов, в общем-то, и не переживал; привык к такому.

Можно сказать, в какой-то мере он был даже благодарен этим людям.

Ведь держали бы они в напряжении его своим вниманием, -- и не рождались бы в голове Сеченова те мысли, которые присутствовали сейчас.

И окажи кто какое внимание к персоне Сеченова -- и чувствовал бы оттого Сеченов скованность. Внутреннее неудобство какое-нибудь.

А так -- предоставлен он был самому себе. Дети жили отдельно. Жена ушла к любовнику. А Сеченов -- наслаждался свободой.

И своим сумасшествием, рождаемым вследствие этой свободы.

Но теперь следовало разобраться с грузином.

Рудольф Самуилович все же решился и стал медленно подниматься по ступенькам.

-- А, будь что будет! -- наконец-то махнул рукой он и поспешил к открывшимся дверям лифта.

...

Горца он заметил сразу. Еще только готовясь вывернуть из-за угла холла в коридор, -- Сеченов уже знал, что грузин там. Что он ждет его. Может быть, даже нервничает.

А как он занервничает, когда узнает что...

-- Здравствуй, дорогой! -- нарушил ход мыслей Сеченова, возникший откуда-то сзади Гегечкори.

-- А-а-а, -- поникшим от страха и неожиданности голосом протянул Сеченов.

-- А я уже тебя второй час дожидаюсь, -- с характерным грузинским акцентом произнес Гегечкори. -- Пойдем теперь разговаривать!

Сеченов нервно посмотрел на часы. Через пять минут у него начиналась лекция. Еще нужно было зайти в деканат.

И вот этот грузин...

Причем получалось, что грузин-то подошел заранее. Да он-то и сообщил, что как только приедет -- сразу, чтоб не терять времени даром, направится в институт, которым руководит "академик Сеченов".

Сам же Сеченов не только не решился его разубеждать (хотя, раз Гегечкори собрался приехать -- дело, вероятно, зашло уже далеко), но и -- с приближением неизбежного -- вовсе махнул рукой.

Мол, черт со всем этим. А пока грузин доедет -- что-нибудь да изменится.

Но ничего не изменилось. И теперь следовало как-то срочно искать выход из сложившейся ситуации.

-- Отослать бы его куда? -- промелькнуло в голове Сеченова.

-- У тебя, дорогой, сейчас лекция? -- словно бы констатировал факт Гегечкори.

Сеченов заинтересованно посмотрел на него.

-- Так я могу посидеть. Послушать. Заодно -- и подожду, -- предложил Гегечкори.

-- Да, да, -- сдавило в горле у Рудольфа Самуиловича.

-- А хочешь -- сам выступлю! -- предложил Гегечкори.

-- Нет! -- чуть ли не закричал Сеченов, и Гегечкори впервые за время их встречи как-то странно посмотрел на него. -- Нет, не надо, -- уже спокойнее произнес Сеченов, подумав, что студенты уже вероятно его ждут.

Прозвенел звонок начала пары.

-- Пойдем, дорогой, -- легонько подтолкнул его Гегечкори. -- Кстати, я для тебя приготовил замечательный материал. О животных, -- сказал Гегечкори, когда они входили в аудиторию.

-- Причем здесь животные? -- подумал Сеченов.

-- Товарищи студенты! -- неожиданно произнес Гегечкори громким голосом, когда они вдвоем вошли в аудиторию. -- Сегодня вам прочтет лекцию мой друг и соратник -- академик Сеченов. Тема лекции, -- Гегечкори потянулся во внутренний карман пиджака за бумажкой и, не давая опомниться опустошенному после подобной диверсии Сеченову, продолжил. - Тема лекции, -- читал он с бумажки, которую наконец-то нашел, -- "Влияние охотничьих инстинктов на мозг ученого-охотника". Ну, или "охотника-ученого", -- предположил Гегечкори.

Аудитория дружно взорвалась хохотом.

Сеченов, побледневший Сеченов (который испытывал такое чувство, как если бы на заседании кафедры или научной конференции неожиданно бы оказался совершенно голый) застыл в ступоре. И скосив глаза на Гегечкори, вдруг заметил, что верх-то у того -- рубашка, пиджак и галстук, а низ -- спортивно-тренировочные шаровары. При этом, на ногах -- классическая модель туфель из кожи, черного цвета. В руках же -- пакет с надписью какого-то универсама.

Сеченову стало плохо.

А у Гегечкори стали проявляться какие-то совсем дикие инстинкты, -- и он стал обзывать студентов, приглашая их к себе в горы -- чтобы там убить.

Сеченов выбежал из аудитории. Но, отбежав на десяток метров, он подумал, что этим еще более усугубил ситуацию. И то, что теперь происходит в аудитории (Гегечкори, этот безумный грузин, остался со студентами), -- могло стоить Сеченову места работы.

-- Может сразу пойти написать заявление об уходе? -- мелькнула мысль у Рудольфа Самуиловича.

Тем временем в оставленной им аудитории слышались взрывы смеха, аплодисменты, одобрительные возгласы.

Сеченов решительно -- намереваясь спасти ситуацию -- распахнул дверь класса.

Гегечкори (из одежды -- остались только шаровары и галстук) стоял на голове, забравшись на стол, и распевал какие-то четверостишия, в которых воспевал горные народы Кавказа, честь и доблесть охотников, каких-то баранов, которых ему приходилось пасти в горах и злобных шакалов -- которых он когда-то застрелил.

Уже не отдавая себе отчет, Сеченов схватил указку и что было сил ткнул Гегечкори в живот, а потом -- размахнувшись -- опустил ее на спину согнувшегося от боли грузина.

-- Вон, вон отсюда, мерзавец, шака-а-а-ал.... -- не сдерживая себя, кричал Сеченов.

Несколько студентов предложили свои услуги вышвырнуть этого абрека; Сеченов, задыхаясь от злобы, махал руками и головой, указывая то на Гегечкори, то на дверь, и явно одобряя план студентов.

Но неожиданно Гегечкори -- подпрыгнув -- зацепился рукой за карниз. И в тот самый момент, когда студенты весело прыгали перед отмахивавшимся от них и все еще висевшим Гегечкори, пытаясь бросать в него, -- кто скомканные бумажки (с удовольствием вырываемые из тетрадей), кто уже ринулся к шкафу (намереваясь, вероятно, использовать в качестве метательных снарядов учебники), вошел проректор по учебной части, явно привлеченный шумом в аудитории.

...Сеченова уволили.

Причем, думается мне, это собирались сделать уже давно. Да искали удобного случая, который и подвернулся.

Глава 23

Профессор Мелихан потирал в предвкушении руки.

Еще никогда у него так не получалось.

Следовало, правда, еще раз проверить полученные выводы, но, по крайней мере, сегодня -- делать ему этого не хотелось. Слишком удачно все складывалось, чтобы разрушить все одним нелепым подозрением, появившимся на фоне усталости.

А когда Мелихан уставал -- он себе не доверял.

-- Разрешите, профессор? -- в чуть приоткрывшуюся дверь заглянула Роза -- ассистентка.

Мелихан вопросительно посмотрел на нее.

-- Тут прислали отчет с конференции в Риме, -- девушка нерешительно остановилась, уже, было, войдя, и теперь ожидала реакции профессора. -- Документы я просмотрела, -- продолжила она, видя, что профессор ее слушает. -- И кое-какие сведения выписала специально для вас.

Мелихан молча уставился в протянутый листок.

Цифры говорили сами за себя. Они подтверждали выводы Мелихана. Точнее, подтверждали то, что никто из выступавших на конференции в Риме -- так и не приблизился к тому, чего достиг он, профессор Афанасий Израилевич Мелихан.

-- Спасибо, Роза, -- как можно мягче (получилось -- сухо и скованно) сказал Мелихан. -- На сегодня можешь быть свободной. Завтра жду тебя как всегда.

Девушка, поблагодарив Мелихана, исчезла.

-- Ну, вот теперь можно и отдохнуть, -- подумал Касьянов и, закрывшись в кабинете на ключ, только сейчас смог сбросить маску "профессора Мелихана".

Ассистентка Роза -- была тоже подставной. Племянницей одной его знакомой, с которой они, в общем-то, и придумали часть хитроумного плана. Остальную часть -- домысливал уже сам Мелихан, ну, то есть, Касьянов.

Суть плана состояла в следующем.

Необходимо было любыми путями проникнуть в Научно-Исследовательский Институт (лучше на кафедру близкую к математике или информатике). Желательно даже -- устроиться на работу официально. А потом...

Что должно быть потом -- Касьянов держал в секрете. Даже от себя (верно, толком не решив конечную цель "предприятия"). Но действовал он умело и решительно. Попал на прием к директору. И -- убедил его, что он должен выделить лабораторию под проект.

Что, может быть, могло показаться удивительным -- как минимум показаться удивительным -- так это то, что уже почти сразу после ухода профессора Мелихана из кабинета -- директор института забыл суть проекта. Но при этом, он почему-то искренне был уверен в том, -- что этот проект -- необходим. И даже, может быть, он чуть ли не единственно значимое направление их института.

А потому в течении нескольких минут директор оповестил всех нужных сотрудников о необходимости оказания любой помощи профессору Мелихану.

И еще.

Директор института, в свои сорок пять, успел застать советские времена. Поэтому Касьянов рассчитал все верно, воздействуя на нужную ему архетипическую составляющую бессознательного директора НИИ.

И он попал в цель. Потому что директору НИИ -- через время отчего-то стало казаться (да он был даже убежден!), что в работе профессора Мелихана заинтересованы (и курируют его) на самом верху. Причем, несмотря на то, что напрямую Касьянов об этом не говорил, -- он каким-то образом сумел внушить подобную мысль Мельникову (директору института). А уже сам Мельников, на следующий день созвав внеочередное заседание научного совета, -- начал откровенно рекламировать профессора Мелихана. Причем, если у кого и могли возникнуть какие сомнения, то, по крайней мере, все поняли, что Мельников -- заинтересован в профессоре Мелихане. А потому -- и нет смысла лезть за какими-то уточняющими деталями. Тем более -- у каждого была своя работа.

Глава 24

Какая-то необъяснимая тревога стала посещать меня.

Казалось это странным и потому, что еще много лет назад -- я рассмеялась бы в лицо тому, кто напророчил бы мне нечто подобное.

А вот теперь -- я вынуждена даже не противоборствовать такому положению дел, а -- смириться.

Насколько я была способна на это? Наверное, ни насколько. Потому что, несмотря на то, что я уже почти каждый день испытывала состояние беспокойства, -- я все равно не смирилась. Боясь -- признать его; и словно догадываясь, что стоит мне только пойти на поводу, -- как тотчас же начнутся те необратимые последствия, которые я, например, могла наблюдать у своих знакомых: Гершензона, Бурляева, Сеченова...

Даже вполне может быть (такое подозрение у меня тоже присутствовало), что на самом-то деле -- и тревоги никакой не было. А была лишь какая-то странная и непонятная подражаемость своим невротичным знакомым, которые -- словно - заразили меня.

Предположение на грани абсурда. Но на самом деле -- такое вполне могло и быть. Но вот только есть одно но: нечто подобное вполне могло случиться -- с индивидами с неустойчивой психикой. С людьми внушаемыми, к которым я себя никогда не относил.

А потому я решила просто постараться не замечать нечто подобное, рассудив, что в этом случае может это состояние и отступить.

...Не отступило.

Оно никуда не отступило.

А даже наоборот -- усилилось, начав внушать моему сознанию -- мысль: о безысходности.

Смирении.

Но я сдаваться не собиралась.

Как вариант (почему бы не попробовать?) -- я решила встретиться с кем-то из своих безумных знакомых, чтобы постараться прочувствовать, что происходит с ними.

Найти варианты схожей симптоматики.

И уже далее -- расспросить: как они реагируют (находят ли выход) в случае, если эта чертова тревожность все больше начинает заявлять о себе?

Остановилась я на Гершензоне. Не знаю почему, но он мне казался наиболее подвержен состоянию, от которого я хотела избавиться. И моя задача была -- разговорить Викария Германовича.

А там уж, подумала я, сориентируюсь по ходу...

Но на удивление, Гершензон со мной встречаться наотрез отказался. И сколько бы я не пыталась уговорить его -- он оставался непреклонен.

Тогда я предложила встретиться ему на нейтральной территории (отчего-то полагая, что он боится моего прихода к нему, или его -- ко мне), постаравшись убедительно доказать обоюдную пользу от встречи.

И мне вроде бы удалось.

Но перед самым моим выходом из дома Гершензон прислал sms на мой мобильный телефон, сказав, что не придет.

-- Ну и черт с тобой, -- махнула я рукой и только пожалела, что потратила время на уговоры.

Я, видимо, в течении последующего получаса еще не могла определиться, кого выбрать следующего, как раздался звонок на мой мобильный, и я услышала голос Касьянова.

Петр предлагал приехать к нему на работу (он назвал адрес) и выслушать "очень интересное предложение" от него.

Ехать мне не хотелось.

Но любопытство все же пересилило. И после недолгих поисков я оказалась перед каким-то заведением, на входе в которое прочитала, что это НИИ.

Толком не припоминая, чтобы Касьянов что-то упоминал о НИИ в тот свой приезд, я, секунду помедлив, все же решила зайти и все выяснить до конца.

На что я могла рассчитывать?

И что, собственно, ожидала увидеть?

.....

Странности начались, стоило мне зайти вовнутрь.

Охранник, которому я назвала причину своего прихода, собрался бросить свой пост, решив меня проводить (чтобы я не заблудилась) прямо до лаборатории профессора Мелихана.

-- Но мне совсем не нужен профессор Мелихан, -- пыталась протестовать я.

И тогда охранник пояснил, что профессор Мелихан -- близкий друг господина Касьянова. И убедительно просил -- как только Вы придете -- тотчас же сопроводить к нему.

Немой вопрос застыл на моем лице.

-- А вот и профессор Мелихан, -- обрадовался охранник, завидев подходящего Касьянова.

.....

-- ...Как ты поняла, история вырисовывается забавная, -- подытожил свой рассказ Касьянов, когда мы оказались в его лаборатории, и он решил сразу -- не теряя времени -- пояснить мне суть своего предложения.

-- Ну, а насколько я могу быть тебе полезной?! -- засомневалась я. -- У меня ведь нет ни знаний, ни твоего опыта.

-- У тебя есть твоя внешность, -- ответил Касьянов. -- Мне нужна именно та властность, которая прочитывается на твоём лице, -- улыбнулся он.

-- А я думала красота, -- чуть было обиженно протянула я.

-- Твоя красота специфична. На любителя, -- отрезал Касьянов. -- Но в том то и дело, что именно такой тип женщины как ты -- мне и нужен.

.....

-- Сколько лет ты провела в Братиславе? -- спросил Касьянов спустя время.

Я ответила.

-- Каких ты знаешь там ученых?

Я, подумав немного, тоже ответила.

-- Впрочем, это уже неважно, -- сказал Касьянов. -- Даже если ты ошибешься -- никто из них не станет тебя ловить или уличать в чем-либо. Я уже здесь достаточно поработал.

-- Насколько все-таки я справлюсь? -- в который уж раз засомневалась я.

-- В чем справишься-то? -- недоуменно посмотрел на меня Касьянов.

На его лице проступило недовольство.

Но мне оно почему-то показалось наигранным.

-- Твоя задача -- всего неделю поприсутствовать здесь вместе со мной, -- разъяснил мне Касьянов, не сводя с меня глаз и удерживая мое внимание. -- Как только получим деньги -- тотчас же уедем вдвоем.

-- Так-то уж сразу? -- переспросила я, но, видимо, уже по моей игривости в голосе Касьянов понял, что я согласна.

Глава 25

Окружающие предметы словно поменяли привычную форму.

-- А может они такие и были? -- засомневался Гершензон.

Правда, меняли предметы и место в пространстве.

И даже, иной раз, начинали наслаиваться друг на друга. Что было -- и вовсе странно. Ведь такого, как будто, быть не должно?

Гершензон оказался в какой-то иной, чем прежде, реальности.

Причем, если разобраться, -- она и не была такой уж пугающей. Просто она была другая.

Но именно в этой новой реальности Гершензон боялся сделать неосторожный шаг. Легко можно было упасть. Или врезаться во что-то.

В фасад здания, например.

Или -- в землю.

Пугающее ощущение ирреальности происходящего, впрочем, уже вскоре исчезло.

Викарий Германович стал привыкать жить именно с этим ощущением окружающего мира. Который, впрочем, как-то странно его окружал. И ему приходилось словно пробираться сквозь дикорастущий кустарник.

Он не мог передвигаться по большим площадям. Со стороны казалось, что человек словно прилипает к предметам: зданиям, деревьям, машинам, людям... От него шарахались, кто-то с недоумением, а кто-то и с проклятием в его адрес...

Ничего этого Гершензон не слышал. А может быть, ему просто стало все равно. И уже ничего -- как раньше -- не могло его поколебать или вывести из себя.

Хотя раньше -- он мало когда "выходил из себя". Все больше замыкался в себе.

А теперь он еще и плакал.

Но это было редко. Хотя состояние, когда он готов был разрыдаться, -- присутствовало почти постоянно.

И совсем не было возможности -- противостоять этому.

Чувства, которые Гершензон выражал раньше, оценивая реальность, -- теперь просто исчезли.

Да и Гершензону было совсем не до этого.

Ему было совсем не до чего.

Он сошел с ума...

Глава 26

Уже как неделю Бурляев чувствовал какой-то внутренний подъем.

С чем он был связан?

Были ли на самом деле предпосылки его?

Николай Андреевич не знал.

А может быть -- он боялся просто смотреть так далеко.

Тем более, что он слишком хорошо помнил, что пришлось испытать еще недавно.

Но теперь Бурляев решил начать новую жизнь.

Определенный рубеж был пройден. Необходимо было скорректировать новые цели. (Уже не задумываясь: удалось ли реализовать старые мысли?) Все в Бурляеве смотрело в будущее.

Хотя... Если остановиться, трезво оглянуться назад, и хоть искоса -- вперед, -- ничего, вроде бы, и не предвещало, что ему необходимо было изменяться. Да и была ли в этом действительно необходимость?

Что говорить?.. Иногда и такие мысли приходили в голову Бурляева.

Можно даже утверждать (ну, если никого не обманывать), что чаще всего -- Бурляеву как раз такие мысли и приходили.

Внутренняя цензура его была настолько сильна, что Николай Андреевич почти всегда жил в конфликте с собой. Что-то в нем все время протестовало против уж слишком жестких выдвигаемых требований.

Он, вроде бы, и хотел подчиниться, и даже знал, -- что в итоге все равно придется подчиниться, -- но находились какие-то силы, базирующиеся где-то в потайных уголках души, которые всячески склоняли его к борьбе.

Борьбе, по сути, с самим собой.

Но уже как бы то ни было -- Бурляев вынужден был начинать эту борьбу. Борьбу, начинавшуюся с протеста. Причем, конечно же, совсем не важны были -- ни суть протеста, ни даже перспектива какой-то конечной цели. Это было неважно.

Важно и необходимо -- было показать возможность своего противостояния. Сопротивления. И уже, может быть, как

раз это сопротивление и было тем фактором, который и сдерживал какой-либо прогресс Бурляева, и вообще -- мешал в осуществлении второстепенных задач, которые -- тоже были важны и необходимы.

И если честно признаться (что Бурляев не позволял делать даже себе, хотя иногда на него что-то накатывало, -- и он уже готов был рассказывать о специфике своего характера чуть ли не первому встречному), Бурляеву делать ничего не хотелось. Ни работать, ни с кем-то общаться, ни делать еще какие-либо действия -- кроме как -- находиться дома. В квартире. Одному.

И, как мы заметили, Бурляев в этом не видел чего-то такого уж плохого, списывая все -- и успокаивая себя этим -- на специфику характера.

Но так же, почти такой же правдой было и то, что Бурляев стремился все время держать себя в руках. Большой частью, -- искусственно подстегивая себя, -- не расслабляться.

Именно таким образом у него получалось не расслабляться и в то время, когда сам организм вместе с его "командным центром" -- психикой -- поднимали бунт, выражавшийся в виде ипохондрии, одним из проявлений которой были головные боли, а то и что-то похуже.

Но, головные боли Бурляев научился списывать "на погоду" (мол, перемена климата -- отсюда: давление, а значит -- и головная боль). Причем иногда настолько себя убеждал в этом, что готов был и сам поверить в то, что голова у него болела от чего угодно, но только не оттого, что, вероятно, и было на самом деле причиной: головной боли как некой психосоматической причины, являющейся следствием внутреннего протеста

организма выполнять какую-то работу; подстраиваться под какие-либо условия.

Страдал от этого Бурляев иной раз невероятным образом.

И иногда психика побеждала в этом противостоянии; и тогда Бурляев замыкался в себе; никуда не выходил; и мучился самыми настоящими страхами да кошмарами.

И уже неизвестно было -- что лучше. Терпеть -- страдая -- и дальше. Или принимать любые условия, чтобы только ослабить боль; унять внутренние противоречия; успокоить нервы.

Нервы успокоить было невозможно. И тогда Бурляев -- с полным осознанием этого факта и с каким-то мазохистским трепетом -- старался сделать себе еще хуже. Загнать себя в такие рамки, из которых будет уже не выбраться. По крайней мере, выбраться будет не так-то просто.

И только когда такое случалось -- Бурляев по настоящему прекращал любые (оборонительные) действия. Отдавая себя -- на откуп бессознательного. И -- не сопротивляясь, все принимал -- как должное.

Откуда в нем была такая христианская жертвенность?

И даже если учесть, что Бурляев в Бога не верил, -- вероятно, то ли в роду его кто-то был уж слишком верующим, то ли читал он усердно когда-то Библию, -- но уже как бы то ни было -- филогенетически или архетипически -- но подобная вера

присутствовала в его бессознательном. А раз вера -- то и жертвенность. Стремление положить себя -- на алтарь. И -- страдать!

Глава 27

Совсем иной ситуация представлялась Гершензону.

Вероятно, сезонное обострение его заболевания психики давало о себе знать, и Гершензон в отблесках возвращавшегося к нему сознания вдруг понял, что, собственно, все, что происходило с ним сейчас -- в какой-то мере было и раньше.

Лет в двадцать, например.

Просто тогда, -- впервые столкнувшись с хаосом в собственных мыслях, -- он совсем не мог предположить, что это -- в последующем -- даст какие-то растянувшиеся во времени последствия.

И если рассудить, еще лет в восемнадцать (более-менее осознанный возраст, куда он мог вернуться) приходилось ощущать в себе это проклятое беспокойство; когда совсем невозможно было усидеть на месте. И необходимо было куда-то бежать; причем -- часто -- без какой-либо конкретной цели.

И без явного желания действительно с кем-то общаться.

Или...вернее, общаться-то хотелось, но вдруг резко изменился круг такого общения.

Выросший в профессорской семье, Викарий Германович вдруг почувствовал, что он сейчас наиболее понимает только простых людей.

Его постоянным местом времяпрепровождения стали пивнушки.

Сейчас этого уже почти нет. Раньше же пиво в магазинах было не всегда. Ну, или было, -- но питье такого плана -- это уже иная культура. Гершензона же привлекала именно покупка пива баллонами, банками. Лучше трехлитровыми.

Взяв с собой пару банок, Гершензон шел "на пивнушку".

Покупая пиво, -- с легкостью находил кого-то, желающего присоединиться. А может -- и не одного ("на пивнушке" всегда есть ряд подобных желающих; без денег, но с огромным желанием поддержать вас; они будут всячески восторгаться вами; им можно рассказывать любые истории -- и они будут всему верить. Ну или делать вид -- что верят).

И вот что поистине было удивительно: Викарий Германович (а тогда ему было лет 17-18; хотя начал практиковать он такую форму общения именно "на пивнушках" лет с 16-ти, выглядев намного старше, он с легкостью прибавлял себе несколько лет) находил в распитии пива на улице (обычно и места расположения всегда были живописные -- поздней весной и летом -- у воды, среди зазеленевших деревьев; в другое время года -- пил Гершензон дома и один) такое удовлетворение, что каждый день его невозможно было удержать, и он вновь и вновь оказывался в месте, которое ему вдруг стало таким близким.

Вероятно там -- как раз и снималась та внутренняя тревожность, которая уже тогда присутствовала у Гершензона.

Он как бы отыгрывал в новых, придумываемых им образах, -- свои страхи, присутствующие в обычной жизни. Ведь, по сути, обычная жизнь Гершензона представлялась ему слишком

искусственной; необходимость все время сдерживать себя и контролировать, -- вероятно, стала вызывать в его душе какой-то протест. А тут -- "играть" уже не надо было. Не надо подстраиваться под собеседника. Никто никого не знает. Если большинство из постоянных посетителей и встречается -- то только "на пивнушке". Своеобразный "клуб по интересам"; иначе в советское время собраться определенным людям было сложно. Поэтому почти всему, если не будет вас слишком заносить, о чем вы будете говорить -- поверят.

И Гершензону действительно тогда было наиболее хорошо.

Он вроде как сразу же оказался среди близких друзей. Все его понимали. И -- главное: к нему относились как к взрослому. Как к равному.

А это было, признаться, намного важнее в то время для юноши, который так стремился повзрослеть.

Гершензон вспоминал об этом, и ему становилось легче.

Психика как будто на миг вернулась в нормальное состояние.

Беспокойства, страхи и тревожности -- отступили.

Захотелось жить.

Хотя, по сути, что это была за жизнь?.. Это была та иллюзорная жизнь, к которой Викарий Германович все время и стремился.

Но он ни за что бы и не хотел другой! Ему нужен был именно этот придуманный мир.

И пусть, когда сознание начинало уж слишком протестовать, -- ему приходилось, --и возвращаться из этого мира. И даже -- критиковать его.

Это было не главное. Да и -- случалось редко.

Достаточно редко, чтобы задумываться о том, что следует что-то менять.

Тем более -- что менять ничего было и не нужно. Ведь даже такое видение жизни -- это тоже реальность. Реальность абсурда. Абсурда, в котором Гершензон жил. Абсурда, который он ни за что и не хотел считать таковым. Хотя бы потому -- что этот самый абсурд -- был таковым лишь в понимании остальных. Да и то не всех.

Гершензон же находил в нем (и -- именно в нем) необъяснимое удовлетворение. Это было то, к чему он стремился. То, чего он желал. То, ради чего, быть может, собственно, -- он и жил.

И отними кто у него этот праздник души, -- неизвестно какой бы сложилась его жизнь.

Но, наверняка, уже не такой. Потому что и сейчас ему иной раз недостаёт именно ощущения ирреальности происходящего. А потому сознание его вынужденно, чтобы продолжать жить, пропускать сквозь себя атаки бессознательного. В чем-то подыгрывать им. И зачастую только таким образом -- Викарий Германович Гершензон вообще может выжить.

А что до того, что кто-то считает его ненормальным?! Так ненормальность эта -- весьма относительна. Смотря от чего следует отталкиваться...

И ведь вполне может быть, те, кто думают нечто подобное о Гершензоне -- как раз ошибаются. И для него эта его ненормальность -- способность вообще выжить.

А иначе -- резанул бы по венам. Или повесился...

Глава 28

Семен Леонидович Серегин вдруг неожиданно понял, что ему не хватает в жизни любви.

Любовь -- это была самая болезненная тема. К женщинам Семен Леонидович относился с подозрением. Им он просто не верил. Не верил их лживой сущности. Не верил различным обещаниям, которые они ему могли дать. Он их -- уже слишком "чувствовал". Чувствовал их обман.

И уже потому -- при разговоре с какой-либо женщиной -- он тотчас же начинал выискивать в ней подтверждение своим предположениям.

Заметим сразу, что только два типа женщин он уважал. Точнее -- уважал-то один тип, но -- достаточно лояльно относился к другому.

Под первую категорию попадали умные женщины. К ним Серегин питал невообразимую страсть. В общении с ними он испытывал такой внутренний подъем, что был убежден: такие женщины намного лучше большинства мужчин. И с ними ему было настолько приятно, что в большинстве случаев он находил других женщин или дурами, или некими лживыми созданиями, которые только и делают, что пользуются природной

сексуальностью и красотой, а то и -- распространёнными стереотипами о женской слабости.

Ко второму типу женщин, которые нравились Серегину, - относились женщины, во внешности которых таилась какая-то "загадка". Причем, зачастую, сама женщина не обязательно должна быть красивой. Совсем даже нет.

В ней, по мнению Серегина, должна быть какая-то "изюминка". Шарм. Особенность. Как раз та особенность, ради которой Серегин был готов на многое. Если не на все.

И ему приходилось себя сдерживать.

И еще. С каждым прожитым годом Серегин стал все больше находить женщин с этой самой "изюминкой".

И уже начал он подозревать, что просто научился вычленять в женщине ее составляющие, отыскивая именно понравившуюся в ней особенность. Но и здесь же можно заметить, что далеко не у каждой были эти самые особенности. Или же они были таковые, -- что не нравились Серегину.

Был еще и третий тип женщин. Женщин, которых Серегин безошибочно находил и использовал исключительно для сексуального удовлетворения. Причем, вполне при этом допуская, что он им, может быть, нужен даже больше, чем они -- ему.

Это были женщины с изначальной исключительной ориентацией на мазохистское подчинение. На зависимость. На унижение. Униженность, проецируемую и на самого Серегина, который предстал с такими женщинами в образе садиста-извращенца, потому что форма сексуальных отношений, которую

практиковал Серегин с женщинами подобного типа, -- была продиктована исключительно вседозволенностью.

Причем, Серегин почти безошибочно угадывал именно таковых женщин. В них как бы сразу читалось желание не только отдаться, но и вытворять с ними все, что вздумается мужчине.

И они словно изначально были готовы (и согласны; конечно же, -- согласны!) позволять с собою делать все, что угодно!

Именно в этом типе женщин Серегин находил успокоение своим изможденным нервам. С ними -- снимал он свою тревожность, которая тоже, признаемся, присутствовала у него. Именно с ними -- Серегин мог быть самим собой.

Правда, точно так же он был самим собой и с первым, обозначенным нами, типом -- с женщинами-интеллектуалками.

И со вторым типом. Женщинами -- "загадками".

Отличие, может быть, было лишь в том, что с первыми двумя подобные отношения распространялись почти исключительно на сферу -- духовную. Правда, иногда Серегин испытывал необъяснимое удовольствие, когда подчинял своей воле таких женщин и в постели. Но такое случалось не часто. Потому что в постели -- почти тот час же слетал с женщин их шарм. Их недоступность. И может быть, потому с какой-то жестокостью -- он трахал их. Причем, зачастую, использовал такой способ, когда женщина -- в его представлении -- была максимально унижена им.

Серегин словно чувствовал, что или такие отношения для подобных женщин большей частью наигранны, или -- что, может

быть, намного хуже -- те качества, какими он наделял таких женщин ранее, -- пропадали куда-то. А после этого -- с ними становилось неинтересно.

Серегин попросту начинал избегать их.

Тогда как с женщинами третьего типа... С этими проблядушками мазохистской направленности Серегин чувствовал себя по-настоящему полноценно и уверенно.

Такие женщины были естественны. И уж если отдавались Серегину, то при этом не только тоже испытывали наслаждение, но и наслаждение невероятно сильное; и может быть, даже наслаждение намного более сильное, нежели то, что испытывал Серегин.

Хотя и у самого Серегина в этом случае наблюдалось единство духа и плоти. Да и к тому же, с такими женщинами он редко когда испытывал даже два "финала". Получая конечную фазу удовольствия -- три, четыре, иногда и пять, а то и шесть раз. И это несмотря на то, что было ему уже -- тридцать пять. Тут же, верно заметим, что когда Серегину было восемнадцать, за одну условную ночь он мог испытать оргазм до 10 -- 11 раз. И уже, наверное, его рекорд -- 18 раз за четыре часа. Мог и больше, да устала партнерша, которая участвовала в этом "марафоне" уже вторую неделю, и всегда у Серегина получалось не меньше семи, восьми раз!..

Часть 3

Глава 1

Насколько я могла быть уверена, что все, о чем мне рассказывал Калитин -- было правдой?

А рассказывал он -- невероятные вещи.

Например, о том, что все мы (ты и твоя компания, -- как он выразился) находились под наблюдением спецслужб. Что Гершензон -- сумасшедший, а выпустили его из дурдома только потому, что проводят над ним эксперимент адаптации в социальной среде. Бурляев -- как преподаватель истории -- ноль, и якобы на лекциях -- он больше говорит о музыке, а студенты не протестуют -- потому что, он всем ставит зачеты и экзамены автоматически. Сеченов -- потенциальный пациент психосексологической клиники и то, что он туда еще не попал -- вопрос случая. Гегечкори (оказывается, он знал и о нем; хотя я об этом таинственном грузинском охотнике узнала, только когда Бурляев вскользь упомянул о нем -- уже потом мне Сеченов все в подробностях рассказал, а я не поверила) -- остался в Москве. Ищет заказчика, и очень хочет стать киллером. В чем я, признаться, сомневалась. Сомневалась прежде всего в том, что об этом знает Калитин, но не знают соответствующие органы. А если они знают -- то почему никак не реагируют? Ловят "на живца"?!; как оказалось, Калитин знал даже и о неудавшейся афере Касьянова (уже на следующий день, как я дала согласие Петру работать у него и пришла на работу, охранники меня не пустили,

сказав, что Касьяновым теперь занимается ФСБ, и даже грозили донести на меня. Но не донесли. И Петра я с тех пор не видела).

Информация, которой владел Сергей Сергеевич Калитин -- и удивляла, и пугала одновременно. Казалось, не было ничего, что бы он не знал. На все у него был подготовлен ответ. На все, как минимум, имелась своя точка зрения. И самое странное, -- как не пыталась, -- я не могла найти повода хоть как-то опровергнуть суждения Калитина.

Каким-то неподвластным мне образом -- он все время оказывался прав. А детали, на которые я его намеревалась поймать, -- удивительным образом подтверждались, стоило только Калитину о чем-либо рассказать больше, чем он намеревался сначала.

Но не могла я найти опровержений -- и все тут.

Но и смириться, как он советовал мне, тоже не хотелось.

-- Скажите, Сергей Сергеевич, а каким образом эта информация оказалась у Вас? Вы следите за нами? -- не удержавшись, спросила я.

-- Нет. За вами я не слежу. И мне ни вы, ни ваша компания не интересны, -- тяжело вздохнув, честно признался он.

-- Но это в какой-то мере моя работа.

-- Работа?! -- недоуменно переспросила я. -- Вы работаете в разведке?

-- Ну что-то типа этого, -- улыбнулся Калитин. -- Можно сказать: частная разведка.

-- Так у вас "заказ"? -- поразила я, но уже с другой стороны мой голос, видимо, выдал мое какое-то разочарование, и

Калитин поспешил меня успокоить тем, что все на самом деле серьезно.

-- А имеет какое-либо отношение ваш заказчик к... Венгеру? -- навскидку забросила я удочку. -- Или к его брату, Шмеерсону?

Калитин неожиданно смутился. Неужели я попала в цель?! Но ведь ни того, ни другого не было в живых. Значит... Значит, нами занимается кто-то из их родственников... Кто?.. У Венгерова никого нет, кто мог бы инсценировать подобное (про дядю в Канаде я никогда не верила). Значит, остается или вдова, или кто-то из близких родственников Шмеерсона. Ну, или, -- такой вариант тоже имел право на существование, -- какой-нибудь сотрудник (ведь через кого-то Шмеерсон тогда добыл информацию?) решил таким образом "заработать".

Негодяи!.. Вероятно, Калитин прочел на моем лице отчаяние или испуг (по-моему, должно быть негодование), потому он, подумав немного, назвал имя заказчика. Причем, как узнала я позже, заказчик разрешил ему.

Заказчиком оказался... Венгеров. Владимир Сергеевич Венгеров, собственной, как говорится, персоной.

Оказалось, что после той автокатастрофы он не погиб, -- то была клиническая смерть.

А потом Венгеров уехал в Германию (действительно, -- подумала я, -- похорон-то не было. Сказали, что тело увезли в Германию, якобы решив похоронить вместе с братом). Почти год лечился. А потом еще год -- зализывал раны.

Теперь же -- намеревается отомстить. В чем мне откровенно признался Калитин.

Я изучающее посмотрела на круглое, выбритое и бесцветное лицо Калитина. С такими же невыразительными глазками. И общим ощущением какой-то размытости. Действительно ли он говорил правду? Чтобы у меня рассеялись сомнения, Калитин показал диск, на котором якобы был Венгеров.

Это был документальный фильм, записанный с какого-то немецкого телеканала. Почти весь получасовой фильм был о научной деятельности профессора энтомолога -- Венгерова Владимира Сергеевича, который возглавлял соответствующую кафедру в Гамбургском университете.

Вряд ли это был однофамилец. Фамилия, и имя, и отчество -- совпадали. Внешность -- невероятно схожа. Область применения знаний -- тоже.

Совпадал (вернее, свидетельствовал о том, что Венгеров был жив) и год записи. Фильм был снят всего несколько месяцев назад, тогда как мнимая смерть Венгерова состоялась уже почти три года назад.

-- Это он, -- обреченно протянула я.

-- Ну, что же вы расстраиваетесь? -- ехидно улыбнулся Калитин. -- Радоваться нужно.

-- И что вы намереваетесь делать? -- чуть сдавленным (как же трудно было держать себя в руках) голосом спросила я.

-- Да ничего, -- искренне признался, пожав плечами, Калитин. -- Пока меня только попросили сообщить вам.

-- И собрать информацию?! -- посмотрела я в глаза Калитину. Но тотчас же отвела взгляд. Выражение глаз у Калитина было как у покойника. Неживое какое-то, словно он заглядывает в душу, а смотрит куда-то -- сквозь вас. -- Зачем Вы

собираете информацию? -- каким-то уж слишком обыденным голосом произнесла я.

-- Ну, матушка... -- протянул Калитин.

-- Поняла, поняла, -- быстро закивала я головой.

На том мы и расстались. Калитин -- довольный, что сумел произвести на меня впечатление (его толстенькая фигурка среднего росточка с обесцвеченными глазками приснилась мне в ту же ночь). А я... я всерьез задумалась, что судьба -- верно -- решила вновь испытать меня на прочность. И как раз сейчас, к сожалению, я была не готова к этому.

Глава 2

Гершензон все больше обращал внимание на изменение своих интересов -- в связи с девиациями психики.

Например, изменились приоритеты в просмотрах кинофильмов.

Теперь он смотрел исключительно жесткие триллеры, причем необходимо, чтобы, во-первых, была обязательно драма; а во-вторых, чтобы его психика испытывала мощнейшее воздействие на себя.

Этакий моральный мазохизм.

Но Викарий Германович уже не мог иначе. Ему были необходимы некие внешние раздражители, проецируемые и бьющие именно на те участки психики, которые были наиболее ранимы.

Главным образом, у Гершензона пользовалось успехом какое-либо провоцирование чувства вины; необходимо было выбрать фильм таким образом -- чтобы возросла тревожность, беспокойство, может быть, -- какие-либо фобийные зависимости.

Тогда достигался поистине -- результат.

Так же у Викария Германовича пользовались успехом фильмы, которые могли погрузить его в состояние транса и хотя бы легкого гипноза. Например, он очень любил фильмы, где явно вычерчена -- абсурдность ситуации. Причем настолько, чтобы в этом абсурде можно было находиться на всем протяжении киносеанса, и, -- сопереживать вместе с героем.

Зная свою впечатлительность, Гершензон охотно отдавался подобным композиционным иллюминациям. Его зачастую неизмеримо захватывало чувство сопереживания героям. И очень часто -- Викарий Германович плакал. А потому он всегда смотрел фильмы в одиночестве и в тишине. Ничто не должно было отвлекать его от вхождения в образ героя и может быть как-то -- повлиять на развитие сюжета.

Если фильм, по его мнению, был действительно гениален, Викарию Германовичу удавалось изменять композиционно-сюжетную линию, словно подсознательно вторгаясь в сценарий; и уже действительно ему казалось, что именно от него зависит та или иная сцена; зависит общий рисунок фильма; зависит... Он сам попадал в зависимость и был безмерно счастлив от этого.

Порой, правда, ему за это приходилось серьезно расплачиваться. Значительным ухудшением своего состояния.

Иной раз Викария Германовича колотило судорожной дрожью; его сознание -- то расширялось, то почти совсем исчезало. Он не мог справиться с возраставшим беспокойством.

И уже в ответ на это вынужден был компульсивно отыгрывать внутреннюю тревогу выполнением -- постоянным выполнением по несколько раз в день -- ставших обязательными -- ритуалов.

Например, прежде чем выйти из дома (сам выход тоже, заметим, являлся проблемой), Гершензон должен был пересчитать чертовы спичечные коробки, которые он запасал на случай каких-то стихийных бедствий. И так как этих самых коробков было более полусотни -- задача представлялась весьма ответственной. Ну про (порой до двух десятков раз; с возвращением с полпути) проверки: выключен ли свет, газ, вода, уют, закрыта ли дверь -- уже и говорить не приходилось. Сначала по несколько раз приходилось обходить квартиру (причем все время присутствовало ощущение, что он "что-то забыл"). Потом подолгу смотреть в зеркало. Причем, чем больше он смотрел, тем больше ему виделось изображение вместо себя какого-то другого человека.

Стоило Гершензону выйти из дома -- как почему-то необходимо было сосчитать машины, проезжавшие мимо по близлежащей трассе. Причем, Викарий Германович действительно успокаивался, когда в течение четверти часа -- проезжали именно

шесть автомобилей марки "джип". И пятнадцать -- "Жигулей" девятой модели. Желательно, чтобы цифры не менялись.

Если они все-таки изменялись -- это был своего рода знак, который наверняка предвещал появление каких-то критических ситуаций.

То есть, по мнению Гершензона, это было своего рода предупреждением ему. И Гершензон стал вести, по крайней мере, в своей памяти, что-то вроде статистики, по которой выходило, что если машин определенной марки получалось больше, то в ближайшее время должна будет случиться какая-то беда, или как минимум -- неприятность.

Если же автомобилей оказывалось меньше -- "беда" случится все равно. Но время наступления ее -- могло быть сдвинуто на какое-то время.

И чтобы узнать на какое -- требовались другие расчеты.

Например, сосчитать число пролетавших птиц.

А если серьезно, то в случае, если за ближайшие десять минут по тротуару (вдоль той самой трассы) проходили четыре старушки (и обязательно, чтобы из одежды у них что-то было белого цвета), то наступление "беды" должно было произойти не раньше чем через неделю. И целую неделю Гершензон мог быть спокоен.

Вернее, мог бы, если бы -- не начинал считать машины на следующий день.

А так как Викарий Германович не вел никаких записей (опасаясь, что кто-то разгадает его секрет предсказания несчастий), то он иногда серьезно запутывался в своих расчетах. И тогда несколько дней он вообще не выходил из дома,

пересчитывая по нескольку раз -- вилки и ложки (каждую вилку необходимо было умножить на четыре -- по числу "зубьев", а ложку -- возвести в квадрат), или те же самые спичечные коробки. Причем, теперь задача усложнялась тем, что обязательно нужно было считать количество спичек в каждой коробке, а если и это удавалось -- следовало было обратить внимание на посетителей, проходящих по лестнице (лифт в его доме был сломан, что только усложняло задачу), определив -- их число. И -- по возможности -- пол. (Пол угадывался по голосу или по шагам; причем Гершензону всегда казалось, что жильцы намеренно изменяют голос или шаги -- а потому им были разработаны погрешности, позволяющие не сбиться с подсчетов и вывести более-менее верный результат).

Тяжелая жизнь была у Викария Германовича Гершензона. Но другой у него не было.

Глава 3

Гегечкори решил так просто это не оставлять.

В течение долгого времени у него была переписка с Сеченовым. Все в его селе -- знали, что едет он в Москву; да еще и выступать на конференции (дабы поднять свою значимость -- пришлось наплести и это). И вот теперь такое разочарование...

Разочарование еще больше усиливалось тем, что Гегечкори понял, что Сеченов (тот Сеченов, фотографию которого он даже повесил в своем доме; причем, почему-то рядом с рогами застреленного им оленя и шкурой медведя) оказался хоть и Сеченовым, да не тем.

И перед ним предстал лже-Сеченов, который к тому же выгнал его взащей и унизил перед какими-то сопляками-студентами.

И Гегечкори решил отомстить.

Но сначала нужно было заработать денег. Поэтому, сняв (на почти все деньги, что оставались у него) временное жилье -- нашел старушку на Ленинградском вокзале -- Гегечкори пустился на поиск заказчиков.

Можно было, -- по мнению Гегечкори, -- и деньги заработать, и потренироваться. Все-таки стоит признаться, Сеченова в свое время он здорово возвеличил и промаха быть не должно.

-- Но где же искать заказчиков? -- подумал Гегечкори. И решил, что нужно спросить у таксистов. Еще с советских времен у них можно было достать всё что угодно, -- знал Гегечкори, который тогда работал чем-то вроде помощника экспедитора, объезжая заводы и выбивая то запчасти, то удобрения, то наоборот, договариваясь о сбыте. Ну, или что еще вернее -- Гегечкори сопровождал человека, который обо всем и договаривался; а Гегечкори должен был следить, чтобы тот доехал "без приключений" и возвратился обратно.

Однако таксисты его смутили. Кто-то даже хотел дать ему в морду, и Гегечкори вынужден был ретироваться, обещая при случае пристрелить и их.

...

Затем Гегечкори случайно набрел на казино.

-- Вот где настоящая мафия, -- подумал он.

Но в казино его не пустили.

Список будущих жертв пополнился и охранниками казино.

Гегечкори был охотник. И память, натренированная поиском следов в лесу, у него была превосходная. Уже к вечеру уставший и голодный Гегечкори неожиданно увидел группу парней, которые своим видом явно выделялись на фоне среднестатистического телосложения и стрижек населения.

-- Бандиты, -- подумал Гегечкори, и сердце у него радостно запрыгало. Однако, когда он подходил к ним -- то был спокоен. Спокоен настолько, что парни, когда он, обратившись к ним, сухо спросил "хозяина", поначалу стали оглядываться в поисках своего "шефа", пока не опомнились и не посоветовали Гегечкори убираться.

-- Вы меня не поняли, -- не уходил Гегечкори. -- Мне нужен ваш хозяин. У меня к нему дело.

Старший из парней, скептически оглядев Гегечкори, велел своим уже было принявшимся гоготать парням, -- обыскать "грузина".

Гегечкори послушно дал себя подвергнуть экзекуции. Ради задуманного плана можно было стерпеть и не это.

-- Какое у тебя дело? -- спросил старший.

-- Ищу заказ, -- честно признался Гегечкори.

Повисшую было паузу нарушил сам хозяин, который, вероятно, заинтересованный появлением рядом с его парнями пытавшегося что-то им доказать грузина (с третьего этажа жесты

видны особенно хорошо), позвонил на мобильник старшему и, узнав о том, чего хочет грузин -- приказал привести его.

Глава 4

У Сеченова как бы остановилось время. То, к чему он раньше стремился -- разом потеряло свою значимость, и по сути он подозревал, что совсем и не важно было все это. То есть, -- занимался он совсем не тем делом, которое было действительно его. А значит -- следовало искать новые точки приложения энергии.

Но вот только в чем следовало самовыражаться?

Ответа на этот вопрос Рудольф Самуилович пока не знал. Догадывался только, что это что-то должно быть действительно новым. А еще, -- он также знал, -- что на ошибку у него теперь права нет.

-- Хорошо было бы, конечно, с кем-то посоветоваться, -- подумал Сеченов, и перебирая в памяти немногочисленных знакомых, остановился на Ольге Маер. Правда, считал он ее стервой. Но, может быть, именно это и повлияло на его выбор. Потому что -- именно совет такой женщины (да еще, как знал Сеченов, не очень-то жалующей его) должен был оказаться именно тем, который и способен разрешить наметившиеся противоречия. И прежде всего потому, что ему Ольга не будет лгать, и недолюбливая его, -- скажет именно ту правду, в которой именно сейчас он и нуждается.

Ему стоило больших трудов добиться встречи с Ольгой Зиновьевной. А когда наконец-то они встретились -- она откровенно высказала ему все накопившееся. И порядком смутилась, узнав, что Сеченов как раз пришел к ней за советом по поводу того, как ему жить дальше.

-- Я тебе не гуру и не психолог, -- бросила Ольга. Но ей не удалось скрыть, что она польщена вниманием Сеченова. А потому, словно уже замаливая вину, предложила навскидку несколько вариантов, которые -- по ее мнению -- способны были помочь Рудольфу Самуиловичу.

-- Прежде всего, тебе совсем не нужно переживать, что ты такой урод, -- со свойственной ей прямотой убежденно ответила она. -- Во-вторых, зачем все время заикливаться на работе, -- с вызовом посмотрела Ольга в лицо смутившегося и уже давно уничтоженного ее словами Сеченова. -- Неужели трудно уяснить себе, что ты -- больной человек и тебе просто нужно какое-то время побыть среди своих!

-- Ты хочешь определить меня в дурдом? -- догадался Сеченов.

-- Ну да. В частный. В тюрьму для психов тебя необходимо посадить, урод, -- почти сорвалась на крик Ольга. -- Живешь как откровенный придурак и все мечтаешь о хорошей жизни.

.....

-- ...Ты что же, -- Ольга заинтересованно посмотрела на совсем уже растерявшегося Сеченова, -- действительно считаешь, что достоин лучшей жизни?

-- Считаю, -- признался Сеченов.

-- Ну тогда давай сделаем так, -- приняв самое что ни на есть благожелательное расположение, по-деловому предложила Ольга. -- У меня есть знакомый психотерапевт. Он понаблюдает тебя. И я думаю, поможет. Сделает из тебя человека.

-- Он врач?! -- осторожно спросил Сеченов, но уже и без того (независимо от ответа Ольги) было ясно, что Сеченов согласен.

-- Врач. Доктор наук. Психиатр, -- ответила Ольга. -- Теперь занимается исключительно психотерапией.

Сеченов кивнул головой и готов был расплакаться.

Он даже попытался поцеловать Ольге руку, но она -- смутившись от подобного проявления чувств -- погладила по голове склонившегося у ее ног Сеченова, как можно мягче уверив его, что теперь у него все будет хорошо.

Глава 5

"Милая Оленька. Совсем не ведаю, что со мной происходит. Да я, верно, и до сих пор выгляжу в Ваших глазах откровенным неудачником и идиотом. Но Вы даже не знаете, как я Вас люблю.

Поймите, не каждая женщина достойна такого признания. А вспоминая Ваш образ, я даже начинаю сомневаться в своем письме. Достоин ли я писать Вам?

Достоин. Поверьте, Оленька, я действительно, пусть это только и моя самонадеянность, уверен, что достоин Ваших чувств.

Достоин, хотя бы того, чтобы признаться Вам в любви.

А Вы можете быть верны себе, и просто отшвырнуть от себя это письмо. Но это не мое последнее письмо Вам. Я буду писать вновь и вновь, а Вы уже -- вольны распоряжаться этими письмами -- как Вам будет угодно. Можете их выбрасывать. Можете читать, не принимая написанное близко к сердцу. Можете даже написать что-то в ответ.

Любому Вашему ответу я буду рад.

Но я нисколько не хочу вынуждать Вас что-то делать. Пусть даже это и мучительно больно для меня, но я даже позволю себе (по крайней мере -- пока) не называть себя. Мне так будет спокойнее.

Скажу лишь, что Вы меня знаете. Но мы встречались столь редко, что это совсем даже нельзя назвать встречами, тем более между нами всегда были другие люди. Что, быть может, мешало мне подойти к Вам раньше.

Компанию, в которой встречались мы, я пока по известным причинам упоминать не буду. Иначе Вам не составит большого труда догадаться об авторе письма к Вам. А я почему-то пока хочу остаться для Вас некой тайной. Пока мне не удастся себя убедить, что я действительно смогу надеяться на какие-то Ваши ответные чувства.

Оленька... Вы извините, но я даже взял на себя смелость назвать Вас так, хотя если Вы и вспомнили бы меня, то вспомнили бы и то, что я называл Вас при наших нечастых встречах исключительно по имени-отчеству.

Ну, да Бог с этим. Тем более, что мне не хочется, чтобы Вы меня узнали.

Можете списывать это хотя бы на мою неуверенность. Тем более, что это действительно так. Хотя, если Вы бы меня вспомнили, то ни за что не узнали бы во властном и жестком человеке (вероятно именно такое впечатление я иногда произвожу), -- робкого, скованного и стеснительного человека, которым я предстаю сейчас с этих страниц, но так выходит еще и оттого, что мне с Вами не нужно примерять на себя никакой образ. И я могу позволить себе быть естественным.

Спасибо, Оленька, что позволили мне выговориться. Мне стало намного легче оттого, что я смог себя заставить написать Вам.

Кланяюсь Вам, оставаясь пока незнакомцем.

Д.К. Август, 2004 г."

Вероятно я еще находилась в неких сомнениях по поводу того -- не розыгрыш ли это каких-то моих знакомых, как на следующий день получила еще одно письмо.

"Д. К." -- как подписался незнакомец (хотя у меня были сомнения по поводу истинности указанных инициалов) сообщал, что он совсем забыл указать адрес для ответа.

Внизу аккуратно был написан номер почтового отделения и номер абонентского ящика.

Также Д. К., словно догадываясь о моих сомнениях, упомянул, что он -- "настоящий". И почти никого из "знакомых" он не знает. И уж точно -- ни с кем не общается. Но это нисколько не опровергало моих сомнений по поводу личности отправителя.

Впрочем, и гадать, -- кем является этот незнакомец, -- тоже было не дело. Так можно было лишь ввергнуть себя в еще большие сомнения. И тем самым -- загнать в угол уже себя. А этого мне не хотелось.

-- Следовало ли мне написать ответное письмо? -- одно время я еще думала над этим, пока уже не начала ругать себя за подобное малодушие.

Да и что бы я написала?

И я, конечно же, сделала то, что показалось мне наиболее оправданным: продолжать заниматься своими делами. То есть, продолжать жить -- как жила; а если и обращать внимание на письма, то действительно задумываться только тогда, когда отправитель как-то сам проявится; и я узнаю -- кто он.

А пока... Пока -- просто жить...

Глава 6

Серегин познакомился с Ольгой.

Произошло это достаточно обыденно и просто. Когда Ольга проходила мимо одной из лавочек скверика, срезая дорогу, она часто проходила именно по этому скверу, к ней обратился представительный мужчина (Семен Леонидович всегда так выглядел) и заинтриговал Ольгу информацией, которая якобы у него имелась.

-- Какого рода информация? -- серьезно посмотрела на него Ольга (ей почему-то показалось, что сейчас что-то узнает об авторе писем; а потом вспомнила, что и Венгеров вполне мог приступить к активным действиям).

-- Простите меня, -- немного смутился Серегин. -- Мне почему-то очень захотелось Вам помочь. И если Вам необходима какая-либо информация... -- Серегин вытащил из кармана визитку: "Серегин Семен Леонидович. Руководитель информационно-аналитического агентства и консалтинговой компании "Спектр", протянул ее Ольге, тотчас же опустившей глаза в текст.

Ее лицо немного разгладилось.

-- Вы мне понравились, -- честно признался Серегин. -- И мне очень хотелось бы Вам чем-то помочь.

-- Ну, мне как будто... -- произнесла, раздумывая, Ольга...

-- Давайте выпьем кофе? -- предложил Серегин. -- Ну, или коктейль, сок, что Вы пьете по утрам, и немного поговорим. Десять минут не нарушат Ваш график? Потом мой шофер довезет Вас, куда пожелаете.

-- Хорошо, -- согласилась Ольга. Трудно было что-то возразить, когда предлагают помощь. И хоть раньше бы Ольга Маер послала бы таких помощников, сейчас ей стал чем-то интересен этот парень. Мужчина. Сколько же ему лет?

-- Мне тридцать семь, -- обернувшись к ней с переднего сидения, пока они ехали в машине, сказал Серегин.

-- Вы угадываете мысли? -- фыркнув, поинтересовалась Ольга.

-- Да нет, что Вы, -- запротестовал Серегин. -- Просто решил, что Вы сейчас думаете обо мне, и решил Вам помочь с информацией.

-- Вы, как я поняла, не всем так помогаете, -- уточнила Ольга.

-- Не всем, конечно, -- согласился, улыбнувшись, Серегин. -- Желающим. Или тем, -- посмотрел он на Ольгу, предугадывая ее следующий вопрос, -- кто нас может и не попросить о помощи. Но кому, может быть, она необходима.

-- К тому же, что такое информация? -- принялся он развивать тему дальше, видя, что девушка заинтересованно его слушает. -- Иной раз информация может нанести и вред. А кого-то, наоборот, спасти. Мы больше специализируемся на помощи.

-- А с чего Вы решили, что мне нужна ваша помощь? -- несколько недовольно спросила Ольга.

-- У такой гордой и независимой девушки, как вы -- обязательно должны быть отвергнутые женихи. Или скажем, недовольные бывшие любовники. А может быть, -- те и другие, -- открыто посмотрел на Ольгу Серегин. -- Причем, что, быть может, самое опасное, -позволил себе улыбнуться он, -- как реальные подобные лица, так и большей частью -- вымышленные. Которым вы, как будто, повода и не давали, но они посчитали вас чем-то обязанной им.

До самого кафе, оказавшегося небольшим ресторанчиком, Ольга больше ни о чем не спрашивала. А потом -- немного оттаяв от бокала шампанского -- в нескольких словах рассказала Серегину все о своей жизни. Ну или -- почти все. За последнее время, по крайней мере.

Серегин слушал, не перебивая, и лишь, вероятно, только что-то отмечая про себя.

Когда она закончила, он тотчас же задал несколько уточняющих вопросов, и девушка, чувствуя, что мужчина, сидящий перед ней, действительно не только все понял, но еще и невероятно чувствует ее душевное состояние, откровенно ответила и на эти вопросы.

Ей, быть может, впервые за многие годы стало хорошо. Она почувствовала, что ее проблемы уже как будто и не только ее. Да и наверное, уже даже и не кажутся -- проблемами.

По крайней мере, их не находит таковыми Семен Леонидович, а ему она почему-то верила.

-- Я вам помогу, -- уверенно произнес Серегин (вот что ей в нем понравилось, -- подумала Ольга, --его уверенность, которой заражались и те, кто находился рядом). -- Что Вы хотите, что бы я выяснил сначала: автора письма или серьезность намерений вашего воскресшего Венгерова? Хотя, если дадите мне какое-то время -- я выясню и то, и другое.

-- А что я должна взамен? -- на миг к Ольге вернулась реальность. -- Но, встретившись взглядом с Серегиним, она опустила глаза, словно признавая ошибочность своего вопроса, и испытывая смущение от него.

-- Вы мне понравились, -- повторил Серегин слова, которые сказал ей в начале их встречи. -- Поэтому считайте, что общаясь с Вами -- я уже получаю то, чего мне не доставало.

Ольга кивнула головой, решив про себя, что если потребуется переспать с ним -- она сделает это. И не один раз, -- добавила она в своих мыслях.

Глава 7

Бурляев стал подозревать, что, собственно, из того ада, в который он погружал себя -- так просто ему и не выбраться.

Но и причин для беспокойства, как будто бы серьезных, не было. Вернее, не было чего-то "нового", о чем бы Бурляев не знал и не искал спасения. Николаю Андреевичу стало казаться, что если он будет меньше ругать себя -- то станет ему легче. Спокойнее, по крайней мере. А потому нужно было, как минимум, отбросить с десятков серьезных поводов для беспокойства. Изменить свою жизнь. Заняться чем-то новым. Убежать от рутины. И...

Николай Андреевич выругался.

Эти чертовы сериалы по телевизору ему надоели. Он выключил телевизор. Потом подумав, потянулся и выдернул шнур из розетки. И, -- подумав еще, -- поднял телевизор, и (посмотрев предварительно вниз) выбросил его из окна. Третий этаж. Лететь не долго. Но и остатков не соберешь. А значит, не будет соблазна спуститься и попытаться "склеить" детали.

Но телевизор был только частью проблем.

Малой частью.

Бурляев оделся, и через четверть часа такси остановилось перед институтом.

...Николай Андреевич посмотрел на часы, что-то прикинул, но боковым зрением он уже заметил спускавшегося со ступенек зав.кафедрой, бывшего его начальника, который -- как знал Бурляев -- особенно настаивал на его увольнении.

-- Роман Яковлевич! -- окликнул его Бурляев.

Мужчина замер на месте, всматриваясь в темноту. Вероятно, он что-то не слишком хорошее прочитал во взгляде Бурляева, потому как повернулся и поспешил скрыться в институте.

Бурляев выругался.

-- Сорвалось, -- с сожалением подумал он.

Тут же в голове Бурляева мелькнуло "продолжение плана".

Поймав такси, он оказался на другом конце города.

Сверив по записной книжке адрес проректора (который тоже горячо настаивал на увольнении Бурляева), Николай Андреевич осторожно надавил на дверной звонок. Потом повторил.

Дверь открыл сам проректор. У него так и не успели от удивления выпучиться его и без того всегда удивленные глаза, как Бурляев коротко ударил его в нос. А потом -- оттянув правую руку для следующего удара -- ещё что было сил -- куда-то в область головы. И судя по тому, что в кулак впилось что-то острое, Бурляев понял, что попал в зубы.

Закрыв за падающим проректором дверь, Бурляев достал носовой платок, обмотал им кулак и сунул его в карман.

-- Хорошо было бы обмыть кровь, -- промелькнуло у него в голове.

Но уже был поздний вечер. И Бурляев, опасаясь попасться на глаза соседям, поспешил вниз.

Следующий адрес был заместителя декана -- Паньшиной. На удивление оказалось, что Элеонора Аркадиевна живет, чуть ли не в соседнем дворе. Это решило исход дела.

-- Мне нужна Элеонора Аркадиевна, -- вежливо обратился Бурляев к открывшей дверь молодой девушке, наверное, дочери.

-- Тетя (значит -- племянница) скоро будет, -- проворковала девушка. -- Если хотите -- можете ее подождать.

Бурляев было задумался, но девушка уже распахнула дверь, приглашая его проходить.

Он прошел.

-- Вы работаете с тетей? -- спросила Ольга (тоже "Ольга"), -- почему-то отметил Бурляев).

-- Да-да, работаю, -- кивнул Николай Андреевич.

Заметив смущение мужчины и списав это на свою красоту (хотя из "красоты" у нее была только грудь, выпиравшая из футболки), девушка оставила его одного, пройдя в свою комнату.

Бурляеву вдруг стало неловко. Возбуждение своим недавним поступком прошло. Теперь к горлу подкатывала какая-то горечь и тревога.

-- Я пойду, -- произнес Бурляев, когда девушка, спустя несколько минут заглянула в гостиную, где в кресле разместился Николай Андреевич.

-- Но тетя действительно скоро придет, -- стала убеждать гостя девушка.

Бурляев все же настоял на своем.

Когда она уже собиралась открыть входную дверь, желая выпустить странного посетителя, Бурляев подумал, что у нее красивая фигура. И он с удовольствием бы...

От таких мыслей ему стало стыдно. Выскочив из квартиры, Николай Андреевич стал сбегать по лестнице вниз.

При выходе из парадной -- он столкнулся с Паньшиной.

Та его не узнала. И Бурляев уже, чуть ли не поблагодарив ее об этом, выбежал на улицу.

Через час он был дома.

Закрывшись на все замки, Николай Андреевич набрал телефонный номер Сеченова.

Ему надо было кому-то излить душу. Первым на ум почему-то пришел Рудольф Самуилович.

Но тот не отвечал. Бурляев набрал еще раз. Потом еще и еще.

Телефон Сеченова молчал.

-- Подонок! -- выругался Бурляев.

Он набрал номер Ольги.

Ее тоже не было дома.

Отчего-то Бурляев подумал, что Ольга, наверное, сейчас с Сеченовым. И они занимаются любовью, а потому и не снимают трубку.

Уже в следующую секунду кляня себя за подобные мысли, Бурляев набрал номер Гершензона.

Но Викарий Германович, как оказалось, находился сейчас в каком-то своем измерении. А потому Бурляев бросил трубку, успев обозвать Гершензона сволочью.

Больше звонить никому не хотелось.

Но теперь кто-то позвонил ему.

-- Да? -- осторожно произнес в трубку Бурляев, пытаясь определить звонившего.

-- Моя фамилия Калитин, -- представились на том конце провода. -- Я доверенное лицо одного известного вам человека (была названа фамилия проректора, которого избил Бурляев несколько часов назад). -- В ваших интересах -- чтобы ваш поступок не получил огласку. Иначе -- суд; и -- путь вашего знакомого Гершензона, -- кратко обрисовал перспективу Калитин. -- Я сейчас к вам зайду, и мы попытаемся найти выход из сложившейся ситуации, -- сказал он и повесил трубку.

Через минуту в дверь Бурляева позвонили.

Глава 8

Игорь Сергеевич Венгеров действительно выжил. И эта катастрофа (подстроенная -- как он считал) и главное, -- возможная смерть (а он как никогда ощутил присутствие ее) изменили его. Не намного, правда. Но если раньше, в анализе окружающего мира он еще и оставлял какой-то процент (словно списывая его) на долю лояльности, понимая других людей (с учетом, так сказать, их врожденных особенностей), то теперь это делать ему не хотелось. Он не мог... Да, скорее даже, он не мог уже позволить себе того снисхождения, с которым общался с другими людьми. Теперь это выглядело бы, по меньшей мере, глупостью. "Зачем давать другим фору, -- думал Венгеров, -- когда эти самые другие тебя чуть не убили?!".

Но оказалось, где-то недалеко базировались и первые сложности такого отношения.

Венгеров решил отомстить. И стоило ему только начать анализировать: кому выгодна его смерть, -- почти сразу же он нашел достаточное количество людей, кому это было действительно выгодно.

И даже отбросив большинство из них (подспудно коря себя в излишней мнительности), у Венгерова все равно остался список из семи фамилий. Причем, если в этом списке были люди, которые, как был уверен Венгеров, могли бы объединиться в исполнении своего желания -- то их Венгеров и объединял, считая за одного человека. Таким образом, если пересчитать, то с учетом фамилий, которые оказались как бы "в скобках" -- список разом увеличивался в несколько раз.

Первым в списке был Говоров. Это был бывший директор сталелитейного завода, у которого Венгеров (путем шантажа) отобрал контрольный пакет акций, а потом выгодно продал.

Вообще-то, бизнесом Венгеров заниматься не хотел. Да никогда и не планировал. Но очень уж ему понравился план его двоюродного брата Шмеерсона, который, собственно, и находил "нужных" людей, и информация, главным образом, была его, да и вообще, пожалуй, чуть ли не все.

Венгерову нужен был помощник. К тому же он был его брат. Имел представительную внешность, и вдвоем, в этом плане, они могли образовать неплохой тандем. Да и к тому же, Венгеров имел гражданство России. А Шмеерсон -- только Германии, что ведение дел на постсоветском пространстве могло затруднить.

Второй из списка -- Сафар Бакатов. Предприниматель из Ташкента. Его удалось кинуть на несколько десятков фур с фруктами, которые "ошибочно" приходили на другой адрес, чем у заказчика, который и должен был их оплачивать по реализации. Кстати план Шмеерсона был таков, чтобы попутно и подставить официального заказчика фруктов. Но теперь подставить якобы от Сафара Бакатова.

Поэтому этот человек шел в списке желающих его смерти -- третьим, хотя Венгеров еще подумывал: не объединить ли его с Бакатовым? Но посчитал, что они после подставы, проделанной им -- друг друга возненавидели, хотя и поняли потом, что никто из них не виноват.

В представленном списке совсем не было значительных имен. Тех, кто и хотел, может быть, смерти

Венгерова -- но никогда бы на нее не решился; или, например, не располагал средствами нанять исполнителей.

...Седьмым шел Бурляев. Но, несмотря на такой вот порядковый номер, Венгеров почему-то был уверен, что именно он и заказал его.

Правда, зная непрактичность Бурляева, Игорь Сергеевич было засомневался. Но ведь вместе с Бурляевым была и эта стерва, Ольга Маер, и именно она -- знал Венгеров -- способна организовать не одно покушение.

Венгеров на секунду задумался.

-- А не гонит ли он коней?

-- Может, авария произошла случайно?

-- Нет-нет, -- тотчас же замотал головой Игорь Сергеевич, отмахиваясь от случайных мыслей.

Да и он действительно не верил ни в какую случайность.

И еще. Участвуя в реализации плана своего брата, Венгеров подсознательно ожидал прокола. Слишком гладко все получалось.

И вероятно то, что никаких проколов не было (Шмеерсон действительно все гениально разработал), -- вынуждало Венгерова еще больше ожидать их. Быть может, именно это и было причиной, из-за которой Игорь Сергеевич просто не мыслил, что его возможная смерть -- могла быть случайной.

К тому же его брат застрелился на самом деле. Не выдержали нервы. Хотя это еще и требовало своего разбирательства, -- считал Венгеров, сомневаясь, что у его брата могли быть слабые нервы.

Правда, о том, чтобы "заняться" Бурляевым, говорило еще и желание Венгерова подчинить себе этого человека. А заодно -- и Ольгу, и Гершензона. В этом, собственно, ему и помешала та автокатастрофа, почти на два года вынося этим отщепенцам отсрочку.

Но теперь Венгеров решил закончить начатое, а потому и послал своего помощника (Калитина) -- в Россию.

.....

Калитин Сергей Сергеевич был бывший сотрудник КГБ СССР. В чине, по-моему, капитана. Или майора.

Был уволен из органов за излишнее рвение, как тот шутил; на самом деле, -- Калитину всюду стали мерещиться враги и прихвостни империалистических разведок (что не помешало ему, впрочем, эмигрировать в Германию, якобы как "жертва советского режима"). Было это перед самым распадом Союза, и вероятно, кто-то действительно считал, что Калитин обладает "секретами"; о которых сможет рассказать западу.

В стране в то время начался бардак. И бывшему офицеру КГБ удалось покинуть страну. Да еще и получить гражданство западной Германии (остановился он в городе Бонне).

Германские спецслужбы, вероятно обрадовавшись поначалу "ценному кадру", вскоре настолько в нем разочаровались, что хотели выслать обратно. Но Россия (ставшая правопреемницей СССР) ответила, что Калитин ей не нужен.

Что еще больше принизило "стратегическое значение" Калитина, и его вовсе оставили в покое.

Работу Калитин нашел у ныне покойного Шмеерсона. Сергей Сергеевич разбирался в людях. И Калитина он стал использовать в той области, в которой он считал, что тот будет максимально полезен. И, в принципе, не прогадал.

Даже легкое "сумасшествие" (как посмеивался, бывало, довольный Шмеерсон) Калитина оказалось кстати. "Лишний раз не будет прокола", -- удовлетворенно потирал руки Шмеерсон. И действительно -- Калитин, считая, что он "находится под колпаком" разведок нескольких стран (кроме России и Германии были еще спецслужбы Израиля, США, и почему-то -- Японии), вел себя предельно осторожно.

Сил и нервов это забирало много. Но -- проколов действительно не было. Притом, что никакие разведки им, конечно же, не интересовались. И максимум, чего ему следовало опасаться -- "внимания" каких-либо внутренних служб. Налоговой, там, или криминальной полиции. Но это для Калитина были не соперники.

Венгеров решил начать с Бурляева. Калитин выехал в Россию с "полномочиями" действовать так, чтобы еще больше загнать всю троицу (Бурляева, Гершензона и Ольгу) в ловушку. А потом -- если последует приказ -- уничтожить. Физически. Но пока следовало -- морально.

Глава 9

Обнинский Казимир Вольтерьянович не любил свое имя. Ни имя, ни отчество. Даже фамилия с ударением на первом слоге - его смущала.

Но разве он мог что-то поделать, если его так называли?

Да и по сути, это недовольство могло быть совсем незначительным в сравнении с той игрой воображения Казимира Вольтерьяновича, которая приносила ему поистине одни несчастья.

С самой юности (детство вообще было сущим адом) Казимир Вольтерьянович страдал от комплекса неполноценности.

Внешность (выглядел он как придурок) еще полбеды. Но и внутренне Казимир Вольтерьянович был скован, застенчив, труслив; может быть, потому -- общаться ни с кем не любил. Книг не читал (подсознательно сравнивая себя с героями -- он еще больше чувствовал свою ничтожность). И все свободное время предавался мечтаниям.

Вернее, -- так говорили родители (в свои двадцать семь он жил с ними; и знал, что будет также жить -- и через десять, двадцать, тридцать лет...). Сам же Казимир считал, что он не мечтает. Он -- живет. Но если он туда возвращается каждый раз, стоит ему закрыть глаза, то почему этот мир не существует? Он есть. Хотя бы -- в его воображении. Причем, видения Казимира -- или Казика, как его называли близкие -- были настолько очерчены, что он находился в непоколебимой уверенности -- что этот мир существует. Просто он, Казик, не знает его географического положения.

...Мир Казика был миром кошмаров. И, пожалуй, самым мучительным для Казика было то, что эти кошмары все последние годы носили исключительно сексуальную подоплеку.

Причем, просто об "удовлетворении желания" (пусть и физическая составляющая вмешивалась, помогая снять напряжение) речь не шла. И даже извращений каких-то вроде бы не было. Его партнершами (в сновидении; пока это не выходило из рамок сновидения, при том что Казик и не мог быть уверен, что такие же видения его не начнут посещать в период относительного бодрствования; хотя границы между сном и явью постепенно стирались) были женщины. Исключительно: от тридцати до сорока пяти... Хотя утверждать, что какой-то из них было именно тридцать, а не, скажем, двадцать пять, или -- пятьдесят -- Казик бы не решился).

Секс с женщинами тоже происходил без каких-либо дополнительных "приспособлений". Причем, часто, женщин было две; а иногда -- с Казиком был еще какой-нибудь мужчина, который, большей частью, и трахал эту женщину; а Казик уже включался позже.

Сновидения Казимира повторялись с периодичностью раз в несколько дней.

И эти несколько дней он отходил и жил в предвкушении новых...

Женщины Казику снились не совсем обычные. У них на лице не должно быть никакой строгости или властности. Они

должны были всецело принадлежать Казику. Выполнять любое его желание. И при этом обязательно Казик должен был видеть, что эти женщины тоже получают удовольствие. Причем, несравненно большее, чем сам Казик. Но как будто, удивлены этим. Стараются скрыть, принизить эффект от умелых действий Казика. Но у них не получается. И потому оргазм, который испытывают они -- столь выражен, что Казик тоже не в силах сдерживаться.

Интересно, что собственно до поллюций у него никогда не доходило. Обычно он уже проделывал нехитрые манипуляции, удовлетворяя свое желание по несколько раз в день самостоятельно. Но даже если и таких случаев бывало три, четыре, пять -- в течение дня -- это еще совсем не означало, что сновидений не будет ночью.

Может быть, и наоборот, -- его воображение в течение дня настолько воспаляло мозг -- что тот просто не мог реагировать иначе, -- чем бурными сценами во сне. Где Казик принимал самое активное участие. Удовлетворяя женщин во все места; чаще всего -- нетрадиционные; в которые, заметим, как считал Казик, -- им нравилось несравненно больше, чем в распространенных "миссионерских позициях".

Трудно было сказать, -- то ли женщины Казику большей частью попадались излишне раскрепощенные, то ли они не могли устоять перед Казимиром, но у него совсем ничего не получилось, когда одна из его "ночных спутниц" стала настаивать только на

позе, при которой бы она была внизу, на спине, разведя ноги, -- а Казик сверху.

После этого Казимир даже заболел. Да и проснулся тотчас же. А потом несколько дней не мог заснуть. Боялся, что ему вновь приснится "пуританка".

К счастью для Казика, этого не произошло. И стоило ему только погрузиться в сон, как тотчас же показалась женщина и двое мужчин, которым она отдавалась с такой страстью и в таких позициях -- от которых у Казика тотчас же "прошла болезнь".

В ту ночь он несколько раз кончал, но желание не утихало. К утру, когда цифра оргазмов Казимира стала приближаться ко второму десятку, он наконец-то смог проснуться. Но ещё долго лежал, закрыв глаза, в тщетном стремлении вернуться в свой сон.

И вновь и вновь качалась кровать под Казимиром, желающим успеть испытать последнее удовольствие.

Кто-то может сказать, что Казимир "больной".

Он и правда был больным. У него даже группа инвалидности была. Первая.

И именно заболевание психики позволило ему не работать.

Да он, впрочем, и не стремился.

Родители (а Казимир был поздним ребенком, -- его отцу, когда он родился, было сорок семь, маме -- сорок) не догадывались о пристрастиях своего сына. Финансово они не

нуждались (папа Казимира -- директор банка, мама -- замдиректора транснациональной корпорации). Да еще и не считали, что их сын так уж болен.

А потому Казик был предоставлен сам себе. А в качестве "сиделки" с ним находился бывший врач одной из клиник, который, узнав, какую сумму ему предлагают "за уход" -- без раздумий оставил психиатрический стационар, где он работал и переехал жить в загородный дом родителей Казимира Вольтерьяновича. И если уж говорить на чистоту, -- у доктора у самого были серьезные сексуальные проблемы. И тех нескольких резиновых женщин, которых он приобрел в местном секс-шопе, ему явно не хватало. К тому же ему был выделен флигель с отдельным входом и ключами; и если бы кто-нибудь заглянул к нему, то обнаружил бы несколько сотен дисков порно-эротики; а его самый современный компьютер -- необходимый ему якобы для работы -- был закачен исключительно фотографиями с порнографических сайтов. Притом что смотреть фотографии времени у доктора особо-то никогда и не было. Ему вполне хватало и собственных фантазий.

Если бы знал о таком "богатстве" в квартире доктора Казимир?!

Но ему, впрочем, было и не до этого. Потому что его больное воображение работало бесперебойно. Лучше любого компьютера. И "своими" женщинами -- лицо каждой из которых, кстати, он безошибочно бы узнал -- он был более чем доволен.

Глава 10

По сути -- Гершензон и не страдал так уж сильно. Просто он убедил себя, что заболевание его психики -- перешло на новый виток. А что могло быть в этом такого уж страшного?..

Фактически обычное течение болезни...

Впрочем, называть свое нынешнее состояние психики каким-либо психическим заболеванием Гершензон бы не решился. И не потому, что он придерживался на сей счёт весьма поверхностных взглядов. Когда-то Гершензон закончил филфак МГУ, отделение романо-германских языков. И заметим, достаточно сносно говорил на немецком и итальянском, хотя, насколько он помнил их сейчас -- вопрос. Нет. Дело было в другом. Просто Гершензон, зная свою восприимчивость к любой информации, искренне (и наверное, оправданно) опасался признать в себе факт наличия какого-либо отклонения, но и уверить себя, что с ним "все в порядке", -- как честный человек, -- он не мог.

И потому Викарий Германович выбрал (на его взгляд) единственно верный путь. Он знал, что с его психикой происходит какая-то "трагедия". Но предпочитал об этом с собой не разговаривать.

Трудно было представить, на что он при этом надеялся? Но то, что это, в какой-то мере, ему помогало -- было тоже фактом. И вероятно, одним из основных, участвующих в принятии подобного решения.

Но почти таким же фактом было и то, что Гершензон страдал. Причем, чтобы там ни говорили, он серьезно переживал, что вынужден теперь тратить неимоверно больше усилий на обычную жизнь. Да и кроме того Гершензон был достаточно серьезен, чтобы обращать внимание на какие-то "мелочи", вроде -- все более развивающейся в нем боязни людского общества, и вообще, наверное, открытых пространств.

К этому Викарий Германович привык.

Намного больше хлопот приносила ему тревожность, которая отзывалась целым рядом соматических причин; в некоторых из них он стеснялся признаться.

Ну и кроме того эти чудовищные галлюцинации...

А с недавних пор характер заболевания как будто и сместил свои зловещие аккорды, переключив внимание Викария Германовича и вовсе -- черт знает на что.

Например, ему вдруг стало казаться, что в нем живут два человека. Причем, у каждого из них был свой -- внутренний мир. Свой характер. Свой привычки.

Ситуация поначалу показалась Гершензону настолько парадоксальной, что он все чаще впадал в шизофренический ступор (когда замирал неожиданно; порой независимо от того, чем только что занимался). И пожалуй, самое неприятное было то, что характер и привычки этих двух субъектов внутри него настолько противоречили истинному характеру Викария Германовича, что Гершензон даже растерялся.

Да и что он мог противопоставить такому?

Один из этих "субъектов" был настроен агрессивно. Даже резко агрессивно. Ему ничего не нравилось. Все вызывало, по меньшей мере, недовольство. Другой, с одной стороны, казался нейтральным. Но нейтральность эта, как оказалось, была тоже обманчива. На самом деле он -- во всем и во всех -- видел врагов. Или -- происки врагов. И как раз в этом, надо сказать, весьма "подыгрывал" тому, первому. Правда, на этом -- какое-либо сходство между ними заканчивалось. А Гершензону... Гершензону оставалось бороться сразу с двумя. Притом, что сам характер борьбы со стороны казался весьма странным. Ведь, чтобы угодить кому-то одному -- следовало идти наперекор другому. А если каким-то образом удавалось найти компромисс с ними двумя -- это еще совсем не значило, что не вставало альтер-эго самого Гершензона. Которое порой реагировало такими странностями поведения (поведения самого Гершензона, иной раз совершенно путающегося в ситуации и бросавшего все на откуп "бессознательного"), что впору было повесить камень на шею и броситься в воду. О чем, признаться, в такие минуты Гершензон и помышлял.

И казалось, не было спасения! Гершензон остался один на один со своими "внутренними врагами". И ничто не говорило за то, что он сможет когда-нибудь с ними справиться.

-- Будь проклята эта жизнь! -- восклицал тогда Викарий Германович. -- А особо критично настроенный субъект внутри него -- корил, выказывая недовольство, а то и откровенно обзывая его неудачником.

Викарий Германович начинал с ним спорить.

Но в спор часто включался другой "субъект".

И тогда Гершензону приходилось противостоять сразу обоим. "Негодьям", как он их называл почти дружески. Потому что он готов был с ними подружиться. Если бы они того захотели. Но они не хотели. А Гершензон совсем скоро уже и сам забыл об этом. И уже кроме ненависти к тем, кто таким нахальным образом скрывался внутри него -- у Гершензона и не было. Хотя и ненависть, в его случае, была конечно же невероятно ему нужной. Необходимой. Потому что на самом деле какая бы то ни было, настоящая ненависть редко когда возникала в душе Гершензона. Ибо большей частью там жила забитость. И с этим Гершензону необходимо было, как минимум считаться.

.....

Как-то Гершензон задумал убить хотя бы одного из тех, кто скрывался, -- именно скрывался, -- как считал Гершензон, внутри него. А если повезет, -- расправиться сразу и с двумя.

План Викарий Германович набросал схематично; и наполнил его столькими несуществующими деталями, что если "эти двое" и задумали бы получить "секретное донесение" из сознания или из подсознания (Гершензон и сам запутался, где он хранил его. Тем более, планов было два. Один настоящий; другой -- ложный. Неправильный. Направленный на отвлечение внимания. Причем именно второй "план" -- для конспирации, был разработан более детально. Тогда как другой -- схематично и набросками), то уже вряд ли у них что-то бы получилось.

.....

Реализацию плана Гершензон наметил на один из дней (который тоже держал в секрете. Повторяя в памяти -- для той же самой конспирации -- все семь дней в неделе. Почти подряд. Или в разброд. Чтобы, конечно же, запутать "врагов").

Но вышло так, что он чуть ли не запутался сам.

Но потом все же вспомнил нужный день.

И успокоился.

.....

Когда подошел срок, Гершензон старался казаться особенно спокойным. И этим, вероятно, "насторожил" сразу двух "субъектов", как оказалось, давно следивших за Гершензоном и ожидавших от него каких-то подобных действий.

Но отступить было уже поздно.

В час "икс" Гершензон неожиданно выбросился из окна.

-- Эти два гада даже не успеют испугаться, -- радостно подумал Викарий Германович, падая с девятого этажа (он поднимался по ступенькам двенадцатиэтажного дома, и бросился в то окно, которое было открыто; причем, неожиданно для себя).

Смерть наступила мгновенно.

...Точнее, -- наступила бы -- если бы Викарий

Германович не ошибся со счетом.

Потому что упал он вместо девятого лишь со второго этажа и сломал себе руку, ногу и несколько ребер. А еще --

ударился головой. Причем, настолько сильно, что действительно, чуть не умер.

Но -- не умер. А, провалявшись полтора месяца в больнице -- оказался переправлен оттуда -- в психиатрическую клинику. Где врачам -- психиатрам -- и удалось на время "убить" тех двоих "субъектов" внутри него.

А может они погибли при падении... Но в любом случае, Гершензон будто бы и выиграл.

Если бы... если бы эти "гады" не вернулись. Через полгода. Да еще и "с подкреплением" (в виде нескольких "помощников"). И если бы они теперь все вместе не начали мстить.

.....

В один из таких "сеансов мщения" Гершензону пришлось особенно тяжело. И он вновь попал в психиатрическую больницу. Где пролежал почти год. И совсем не хотел возвращаться обратно.

Но врачи как будто действительно поставили его на ноги.

-- Мы убили всех твоих "обидчиков", -- шепнул Викарию Германовичу один из санитаров, когда пропускал осторожно переступающего порог психиатрической клиники Гершензона, выпуская его на свободу. -- Если еще раз придешь к нам -- мы спустим на тебя всех "придурков", -- пообещал санитар, который отчего-то невзлюбил Гершензона. Быть может за то, что тот излишне требовал соблюдения "Женевской конвенции военнопленных", к которым, оказываясь в заведениях подобного рода -- причислял себя

Глава 11

Насколько мог Казик сопоставить тот мир, в котором он находился иногда (пока только "иногда", -- как случайно услышал он разговор доктора -- с родителями) с тем миром, который и являл собой, собственно, реальность?

Казик почти не задумывался над такими глобальными вопросами.

Да и, в общем-то, могло ли это изменить его отношение к жизни? Ведь если быть откровенным (а Казик иной раз любил пооткровенничать, большей частью выдавая эту откровенность за тотчас придуманный спонтанный бред, -- отмечая при этом, как округляются глаза невольного слушателя), -- Казик и не стремился "вернуться в реальность". Да и он -- по сути -- никуда и не уходил от нее. Просто, когда-то, будучи подростком, ему невероятно понравилась забота, -- которой его окружили, стоило ему пошутить по поводу своих каких-то странных видений наяву, а доктору -- поверить в этот бред.

Какой-либо экспертизы не проводилось. Отец Казика тотчас же настоял, чтобы сын воспитывался дома.

С тех пор он стал жить как наследный принц. Любое его требование (в умеренных пределах, конечно, но Казик чего-то нереального и не просил) тут же выполнялось.

Приглашенные на дачу врачи-психиатры (которых отец Казика потчевал отменными винами и яствами) убежденно закивали головами, соглашаясь с мамашей Казика, которая, по

всей видимости, и сама была сумасшедшей. Правда, болезнь ее была не особо опасна для нее самой, а муж был только счастлив, что жена его хочет всегда и везде, совсем не обращая внимания на то, что она "догоняется" еще и на стороне.

После наблюдений врачей -- Казик у выписали 1-ю группу инвалидности. (В стационаре ему лежать не пришлось. Зачем лежать среди психов, -- подумал отец и заплатил столько, сколько потребовалось, чтобы доктора поставили свои подписи под нужным документом)

Если возникал вопрос -- зачем это нужно отцу Казика? -- так у него просто не было ни времени, ни желания вникать в суть проблем сына. А если сын говорит какие-то странности -- значит, он болен. А если болен -- то пусть на это будет соответствующий документ, свидетельствующий о соответствующей группе инвалидности. Заодно, мол, и с армией вопросы отпадут.

Казика такая ситуация устраивала вполне. У него словно снялись запреты на выражение собственных мыслей. (В крайнем случае спишут на болезнь, -- подумал он). И в его болезни наступило действительно счастливое время. Зачем было лгать, обманывать, изворачиваться? Казик словно получил индульгенцию на любую "ошибку".

.....

В свои двадцать семь Казик еще ни разу не был с женщиной.

Но считать так -- могли только люди грубые и невежественные. На самом деле у Казика были тысячи женщин. И

воображение его работало настолько, что окажись он в компании (людей, впрочем, Казик избегал; и в компаниях -- никогда не был) -- Казик бы не задумываясь, поддержал бы разговор о женщинах; с видом знатока рассказывая "такие подробности", от которых у большинства захватило бы дыхание (и наверняка бы встал член).

Даже малую толику того, что Казик проделывал со своими женщинами -- никто бы не посмел себе позволить. И уже совсем не имело значения, что женщины были виртуальными. Какая разница, если физиологический результат -- один и тот же. А эмоционально -- Казик заводился намного сильнее, чем кто-либо мог и в реальности.

И уже потому -- Казимир нисколько даже не стремился познакомиться с девушкой или женщиной. Он избегал их. (Обслуживающий персонал загородного коттеджа был подобран таким образом, что на работу принимались только женщины-лесбиянки или стопроцентные мужики. И теми, и другими, впрочем, охотно "пользовалась" супруга Вольтера Ибрагимовича, Софья Аркадиевна).

И даже если бы представилась такая возможность (у самого Вольтера Ибрагимовича не раз мелькала мысль заказать сыну проститутку), -- Казимир бы отказался. Он берег свой внутренний мир. И берег -- обитателей его.

.....

Иная ситуация была с врачом. Сорокалетний Михаил Викторович Кадастров (кстати -- кандидат медицинских наук)

нисколько не отказывался совмещать виртуальное наслаждение -- с реальным.

Каким-то образом ему удавалось договориться с женщинами из obsługi (которые почему-то считались, по заверениям директора кадрового агентства -- поставлявшего их на работу Обнинскому -- лесбиянками). Все пятеро ("повариха", "посудомойка", "ключница", "озеленительница" и "уборщица" -- зарплата у каждой -- от тысячи долларов) -- с каким-то маниакальным желанием отдавались "доктору". Совсем, вроде бы как, забыв про свое лесбиянство.

Однако, стоило одному из охранников (всего охранников -- полтора десятка) намекнуть о каких-то чувствах "озеленительнице" -- как тотчас же был отвергнут с таким пренебрежением, что парень чуть ли не стал импотентом. Вероятно, и стал бы, если бы на следующий день не оказался выгнан с работы. Доктор умел позаботиться о соответствующем имидже своих потенциальных конкурентов.

И все же, доктору Кадастрову больше нравился виртуальный секс. Эта была своего рода зависимость. С наличием которой, он, впрочем, ни за что бы не согласился. Считая свое увлечение вполне обычным делом. Быть может и непонятным большинству. Кадастров даже написал целую книгу про виртуальную любовь. Издав ее под псевдонимом и на деньги Обнинского.

Любопытно было еще и то, что, несмотря на появлявшееся иной раз желание -- Кадастров не вступал ни в

какие отношения, кроме деловых и официальных, с супругой Вольтера Ибрагимовича.

Непредсказуемость столь взбалмошной особы как Софья Аркадиевна -- Кадастрову была известна. А то, что в один из дней такая связь станет известна мужу (вероятней всего -- от самой же Софьи Аркадиевны, то ли в минуты сексуальных откровений, то ли гнева -- выпалившей мужу все, что она думает об докторе-извращенце), -- Кадастров не сомневался. И еще четче обозначил позиции в отношении супруги своего шефа, с легкостью вторгаясь в ее подсознание и переключая сексуальное желание женщины -- на другой сексуальный объект. Чаще всего на самого Вольтера Ибрагимовича, который ему за это, по сути, должен был бы еще и приплачивать.

Но Кадастрову вполне хватало и тех семи тысяч долларов, которые каждый месяц ему платили. Поэтому Михаил Викторович был достаточно осторожен, не прося -- лишнего.

Глава 12

Серегин начал действовать. Первым делом он установил автора писем к Ольге. Им оказался бывший сотрудник Касьянова (в бытность того, неким Мелиханом Афанасием Израилевичем; как оказалось, тогда, помимо секретарши Розы и самой Ольги -- был еще некто Берегов, о роли которого, впрочем, Ольга мало что знала).

Убедить Берегова в ошибочности его "выбора" -- Серегину не составляло труда. Да и -- как оказалось -- Берегов и

сам всерьез ни на что не рассчитывал, действуя, как говорится, на авось.

Но именно от случайно проговорившегося Берегова (который явно был напуган приходом "мужа" Ольги, да еще с двумя телохранителями), Серегин узнал достаточно любопытные подробности про Касьянова. Оказалось, -- Касьянов знал Венгерова. И именно по настоянию Венгерова -- решил задействовать в операции Ольгу. Так что оттого, что их план с НИИ сорвался -- Ольга, по мнению Серегина (который, не скупясь на краски -- обрисовал ей возможную перспективу такого сотрудничества) осталась только в выигрыше.

Серегину стоило труда отыскать Касьянова. Точнее -- он уже почти напал на его след. Но Касьянов, словно предчувствуя, куда-то исчез. Зато Серегин нашел Калитина. А уже через него -- вышел на Венгерова. Ему для этого даже пришлось специально летать в Бонн.

Но разговором с Венгеровым Серегин остался недоволен.

С одной стороны, Игорь Сергеевич как будто и выслушал предостережение Серегина, который, осознав какой перед ним "зверь" -- не скупился на запугивания того. И даже (именно так показалось Серегину поначалу) пошел на попятную.

Но их разговор неожиданно прервался взрывом в соседнем здании (разборка местных гангстеров, -- отмахнулся Венгеров перед тем, как исчезнуть куда-то). В итоге -- разговор оказался перенесен на неизвестный срок. И сколько Серегин после того не искал Венгерова -- найти не мог. Вернувшись в Россию с

двоjakим чувством: то ли Венгеров одумался и решил вообще больше не показываться на глаза, то ли -- затаился на время. Собственно, и гадать-то было опасно в том плане, что времени не было. Если Венгеров начнет действовать (а у него, как понимал Серегин, было два варианта: или действовать, или -- затаиться), -- то под удар вполне может попасть и сам Серегин. Чего ему -- не хотелось. (Одно дело -- оказывать помощь симпатичной женщине, которая будет чувствовать себя обязанной, а Серегин любил состояние, когда кто-то находился в зависимости по отношению к нему; и совсем другое -- оказаться под колпаком самому).

Кто знает, чего тут было больше? Действительно ли у него сдали нервы? Или это общий итог накапливающейся усталости -- только Семен Леонидович вдруг решил, что у него времени уже не осталось. И дал команду -- ликвидировать Венгерова.

На удивление, у Венгерова тоже были нервы, которые, вероятно здорово пошатнулись за последнее время. Поэтому он начал действовать тоже. Причем, в отношении Серегина не придумал ничего, как тоже его ликвидировать. И киллеры, получив заказ, -- уже начали действовать.

Гадать, почему остались жить и Венгеров, и Серегин -- неблагоприятная задача. Особенно, когда вмешиваются какие-то третьи силы.

Грузовик, который должен был случайно протаранить автомобиль Серегина -- врезался совсем в другую машину.

Самолет (небольшой личный самолет) Венгерова -- взорвался еще на старте. Точнее -- за четверть часа до того, когда в него должен был сесть Венгеров.

И в первом, и во втором случае, -- и заказчики, и заказываемые -- находились неподалеку. А потому безошибочно истолковали случайно минувшую их трагедию -- как повод к заключению перемирия.

Что и было сделано. Правда, новые друзья еще не успели расстаться, как оказались буквально пронизаны автоматными очередями каких-то убийц. Каких? Никто из них уже не узнает. Но вот только в момент смерти -- и у Серегина, и у Венгерова -- оказались схожими мысли. Каждый считал, что попал под огонь конкурентов другого. То есть, выходило, пострадали случайно, просто оказавшись рядом.

Но такое предположение никто не захотел подтверждать. Полиция, начав, было, расследование (убийство произошло на территории одного из прибалтийских государств), вскоре закрыло его за недостаточностью улик. Родственникам только разрешили забрать тела. И оказалось -- что ни у того, ни у другого -- родственников не было. Все более-менее "близкие" погибли в разные годы. И что удивило следователей, -- почти никто своей смертью. Правда, я знала, что у Венгерова есть родственники за границей. Но почему-то решила промолчать.

Однако, смерти Венгерова и Серегина -- заставили действовать Калитина.

Сергей Сергеевич, вдруг успокоившись (испугавшись угроз Серегина, -- в его глазах Калитин прочитал решимость действовать, в случае если его требования не выполнятся), --

теперь понял, что руки ему развязаны. А значит (и в память о бывшем работодателе, и в отместку покойному Серегину), он должен реализовать план, который был задуман им лично. Правда, Венгеров настаивал на своем плане. Но так как теперь Игоря Сергеевича нет -- то Калитин волен поступать так, как считает нужным.

Реализация плана включала задействование Бурляева. С ним уже была проведена предварительная беседа. Николай Андреевич был поставлен перед фактом (сотрудник Калитина следил за Бурляевым, записывая все его "подвиги"), и должен был выбирать: или против него заводят уголовное дело (заявления избитого им проректора, двух потенциальных потерпевших, свидетельские показания племянницы зам.декана Панышиной), или... его восстанавливают на работе, правда, в другом вузе. А разгоравшийся скандал Калитин обещал замять.

И Бурляеву, вроде как, не оставили шанса.

Правда, -- в ответ -- он должен был предать недавних знакомых. Но во-первых, ни дружбы, ни желания общаться между ними давно уже не было. А во-вторых, сам характер предполагаемых действий Бурляева только с одной стороны подходил под понятие предательства. С другой стороны, это можно считать своего рода мстью. Мстью отвергнувшей его любовнице. Мстью бывшего друга, который вспомнил что кто-то когда-то пытался его убить. И наконец, то, что должен был (по мнению Калитина) совершить Бурляев -- должно было помочь ему восстановить свой прежний характер жизни. Ведь с недавних пор

ему нравилось именно преподавать. И другого пути он для себя не мыслил.

А потому, дождавшись пока Калитин позвонит на следующий день -- Николай Андреевич дал свое согласие. (Было и еще два момента, о которых не подозревал Бурляев. По плану Калитина Бурляев должен был убить Венгерова. Правда, убийство должно было выглядеть как несчастный случай).

Но уже Калитин постарался, чтобы следователи были убеждены, что это предумышленное убийство. А значит, -- таким вот образом, -- Калитин избавлялся и от Бурляева, и от Венгерова, общение с которым, в последнее время, Калитин рассматривал как неприятную обязанность.

.....

С момента встречи с Калитиным прошло много времени, и Бурляев стал подозревать, что планы у его "заказчика" изменились. Это внесло дополнительную тревожность в его и без того измученные нервы. Бурляев неожиданно осознал, что, вписываясь в компанию против Ольги и Гершензона, он тем самым -- спасает себя; в ином случае, у него были все основания полагать, что третьим в "списке врагов" Венгерова -- мог быть и он.

У Николая Андреевича совсем не возникало и мысли о каком-либо покое. Приходилось трезво смотреть на жизнь. И он каждый день ждал звонка Калитина.

Состояние, в котором находился Бурляев -- здорово его вымотало. Никакие другие мысли, как о том, что наступил срок отдачи долгов -- в его голову не приходили.

Но, насколько он мог действительно помочь Калитину? (Узнав о смерти Венгерова, Бурляев понял, что если он раньше и мог надеяться на то, что ему удастся в последний момент договориться с Венгеровым -- теперь эта надежда отпадала). Николай Андреевич оказался один на один поставлен перед фактом присутствия "договора", инсценированного Калитиным (Сергей Сергеевич даже обязал Бурляева поставить подпись под наспех сколоченным "документом").

И без того Бурляеву было плохо. Теперь же, его состояние настолько ухудшилось, что он дергался от любого шороха, вскрикивал от хлопанья дверей, подъезжавших машин, затаив дыхание, вслушивался, на каком этаже остановился лифт.

В один из дней, Бурляев не выдержал -- и отрезал телефонный провод. Но тут же у него возникла мысль, что он своими же руками лишил себя надежды на отдаление наступления того, чего он сейчас боялся. И теперь -- не дозвонившись к нему -- Калитин нагрянет сам. А то и вместе со своими охранниками. И неизвестно еще, как он захочет выразить свой протест по поводу такого необдуманного (как теперь понял Бурляев) шага Николая Андреевича?

В ту же секунду -- телефон был восстановлен.

Теперь оставалось ждать.

Но как раз это -- и было самым мучительным.

.....

...Бурляев нервно ходил из угла в угол. Квартира, куда он перебрался на "временное пользование" -- пустовала. Бурляев находился в своей квартире, которую он уже, было, сдал, -- да вовремя одумался: в виду предстоящей встречи -- Калитин знал только этот его адрес. (У Николая Андреевича даже не было желания скрыться. Ему казалось, что это только ухудшит его положение). А потому с каким-то мазохистским трепетом -- Бурляев ждал прихода Калитина. Прихода, который (на миг подумал Бурляев) мог и не состояться. Ведь откуда было известно, что, скажем, Калитин не погиб вместе с Венгеровым. Или -- самостоятельно. Будучи убит, например, людьми заказавшими Венгерова.

Однако, пора уже было и начать предпринимать какие-то действия. Сидеть просто так, ожидая своей смерти...

-- Почему смерти? -- озарило Бурляева. -- С чего он вдруг решил, что все должно закончиться именно так?

Николаю Андреевичу стало стыдно. Он давно уже подозревал, что его мысли играют с ним в какую-то свою игру, все время намереваясь превратить его -- в раба эмоций.

А на самом деле -- Николай Андреевич был вовсе не такой. Иной раз (когда нормальное состояние соседствовало с полубезумным) Николай Андреевич действительно мог отдавать себе самый строгий отчет. И тогда -- почти ничего, кроме обвинений в свой адрес -- с его стороны не было. Но все отличие этих обвинений от других, от тех, которыми изводил себя Бурляев большее время суток -- состояло в том, что обвинения в свой адрес, выдвигаемые в минуты озарений (ведь не всегда ему быть

безумным) носили, если можно так сказать, конструктивный характер. То есть, если они начинались -- то неизменно заканчивались нахождением обоснований того, почему он так поступил; или же -- вообще: включали в себя исключительно положительные обстоятельства (которые с какой-то заправской легкостью отыскивались Бурляевым). А отсюда вполне можно заключить, что Бурляев и сам иной раз провоцировал какие-то отдельные моменты собственных размышлений. Подсознательно желая нащупать -- момент истины.

И это ему иной раз удавалось.

Внезапно Бурляев ощутил, что кроме него в квартире находится еще кто-то.

Секунду-другую он вслушивался в тишину (уже совсем и не казавшуюся таковой), потом начал обследовать места предполагаемого нахождения грабителя (ну, или кто там это еще был).

Бурляев остановился перед шкафом.

У Николая Андреевича сперло дыхание от осознания, что забравшийся к нему в квартиру враг -- именно здесь.

-- Как же его ликвидировать? -- пронеслось в голове Бурляева.

Времени совсем не было. В любой момент тот, кто забрался к нему -- мог начать действовать.

Николай Андреевич осторожно зашел сбоку и, уперевшись руками в шкаф и ногами в стену -- и теперь опираясь спиной в шкаф -- "выжал вес".

Шкаф с грохотом упал.

И как рассчитал Бурляев -- дверцами вниз.

Теперь грабитель оказался заперт. Николай Андреевич устало сел на поверженный шкаф -- и закурил.

Сделав несколько затяжек, Бурляев спохватился. Необходимо было уничтожить противника. Именно сейчас, используя беспомощное положение того.

Николай Андреевич достал из холодильника несколько бутылок водки -- и сдобрил их содержимым шкаф.

Еще была где-то краска?..

Краска тоже пошла в дело.

Николай Андреевич достал спички, зажег и бросил в жидкость, уже начавшую пропитывать шкаф.

Тот вспыхнул.

Когда принялись гореть занавески находящегося поблизости окна -- Бурляев понял, что он делает что-то не то. Он побежал в ванную комнату, включил воду на все обороты, закрыл сливное отверстие ванны (чтобы заполнить ее и черпать воду -- уже оттуда) и, схватив лейку (когда-то Бурляев поливал ею комнатные цветы) -- стал носить воду в комнату, обливая всю разгоревшийся шкаф.

От давления стали лопаться стекла.

Бурляев, схватив самое необходимое ("самым необходимым" оказалась пачка сигарет) -- выбежал из квартиры, не забыв, впрочем, запереть ее на ключ.

Не решившись бежать вниз (из опасения быть кем-нибудь увиденным), Бурляев перемахнул несколько пролетов и оказался на крыше.

Дверь на чердак была не заперта.

Внизу уже начали собираться люди, наблюдавшие, как пламя отблескивает в оконных проемах.

Николай Андреевич решил перебраться по крыше и спуститься в следующем подъезде.

Но оказалось, -- другие чердачные двери -- закрыты.

Находясь еще на волне возбуждения -- Бурляев решил спуститься по пожарной лестнице с боковой стороны дома. Через несколько метров (преодоленных, заметим, с величайшим трудом -- руки и ноги отказывали и не слушались), Бурляев услышал истошный крик, возвещавший, что поджигатель обнаружен и спасается бегством, спускаясь по пожарной лестнице.

Лезть вниз Бурляеву расхотелось.

Но и наверх он уже не мог. Силы покинули его.

Поколебавшись минуту, Бурляев откинулся назад, разжав руки.

-- Вот и все, -- почти успел подумать он, прежде чем его тело, набрав значительное ускорение -- врезалось в асфальт.

Все действительно закончилось. Николай Андреевич Бурляев умер еще в воздухе.

Глава 13

Психотерапевт, с которым познакомила Сеченова -- Ольга, оказался высоким, грузным мужчиной с копной седых волос, белыми хлопьями, обрамлявшими его голову и плечи. И по своему виду -- Аристарх Аркадиевич Амфоров -- больше походил на уставшего от жизни барина. Он и Сеченова встретил таким взглядом, как встречают надоедливых мух.

Точнее, так показалось Сеченову. И, -- как узнал он вскоре (после общения с Амфоровым), -- вполне мог и ошибаться. А мешать ему "увидеть реальность" -- мог как раз тот душевный разлад, -- который Аристарх Аркадиевич опытным взглядом тотчас же обнаружил в Сеченове.

Уже после двух сеансов -- общение с психотерапевтом Амфоровым стало тяготить Сеченова. К концу второй недели -- он все больше и больше стал ощущать свою внутреннюю ничтожность.

Сеченову сразу хотелось признаться Амфорову во всех смертных грехах. И должно быть -- даже к удивлению Аристарха Аркадиевича -- у Сеченова их оказалось столько, сколько поистине и не бывает.

Но фантазия Сеченова вдруг начала удивительным образом проявлять себя. И по пути к психотерапевту -- Сеченов с легкостью придумал несколько сюжетов следствий своих страстей, в которых при первом приходе к Амфорову он и поспешил сознаться.

Альянса не получилось. Раскусив ложную придурковатость Сеченова -- Амфоров поспешил от него

отказаться, сплавив своему коллеге. Тем более, у Амфорова сейчас было настроение, совсем не располагавшее к какой-либо помощи другим. У него обнаружили рак. И ему следовало теперь строить жизнь -- в соответствии с новым симптомом. А после того, как у Амфорова через неделю после предыдущего диагноза обнаружили еще и СПИД, он не стал мучить ни себя, ни других -- и застрелился.

Однако, у другого психотерапевта Сеченов лечиться отказался. Он вдруг понял, что никто не сможет помочь ему. А полагаться на себя -- так это тоже по сути не слишком надежно. Притом, что Сеченов узнал, -- что случилось с Амфоровым. И это только еще больше погрузило его в депрессию. Выход из которой он уже и не искал, смирившись с тем, что происходило с ним.

Через какое-то время Сеченова уже видели в рядах одной из сект.

Став сектантом -- он вроде бы нашел себя.

По крайней мере, если бы кто мог тогда пообщаться с Рудольфом Самуиловичем -- заметил бы улучшение состояние его.

Но это оказалось ненадолго. Впрочем, вскоре -- даже если бы кто из прежних знакомых и решил бы пообщаться с Сеченовым -- это бы оказалось невозможным. Сеченов просто пропал. И искать его -- никто не пытался.

Ходили слухи, что он был в числе прочих сектантов, подвергшихся начавшимся гонениям против них -- секта, к которой принадлежал Сеченов, попала в поле зрения милиции -- и они все покончили жизнь самоубийством. Сожгли себя.

Но это были только слухи, которые ни подтвердить, ни опровергнуть -- никому оказалось не под силу.

Часть 4

Глава 1

Мне стало казаться, что мир вокруг все больше и больше срывался со своих цепей. И не спросив никого -- он устремлялся в какой-то невысказанный круговорот; так, что у тех, кто остался, -- совсем нет ни сил, ни возможности угнаться за ним. И они обречены на смерть. Или бессмертие. Скорее даже на бессмертие. Потому что в этом потоке ирреальности происходящего, за каким бы то ни было абстрактным желанием удержаться, спастись (наверняка -- спастись), я начинаю догадываться о бессмысленности своих действий.

Удивительно, как же раньше я не понимала, что должна что-то начать предпринимать совсем другое; изменить себя... И как-то удивительно и загадочно -- люди, которые еще вчера были рядом -- теперь не вернутся никогда.

.....

Смерть, цепочки недавних смертей, -- потрясли меня. Я каким-то образом проецировала вину за происходящее на себя. И уже, по крайней мере, в одном случае (с Сеченовым) я действительно была виновата.

.....

После последних событий прошло почти десять лет. Срок достаточно приличный и вполне достаточный для возможностей появления надежд на какие-то изменения.

И эти самые изменения -- действительно произошли.

Прежде всего, мы переехали в Петербург. Переехали, словно в последней надежде избежать рока, который незримо кружил над нами, рождая все новые и новые несчастья. А мы как бы убегали от него. Мы -- это я и Гершензон, за которого я все-таки вышла замуж. Вернее -- планировала. Когда-нибудь. А пока -- мы просто решили жить вместе, сняв небольшую квартирку на Моховой.

Никакого единодушия между нами не было. А то и наоборот -- совместная жизнь выявила настоящие противоречия, причину которых, конечно же, следовало искать в каждом из нас. Но что-то невидимое тянуло нас друг к другу. И даже, несмотря на все больше проявляющуюся непохожесть -- у каждого, по всей видимости, была своя причина, по которой он хотел, чтобы другой был рядом.

Отъезд наш был столь скоротечен, что, должно быть, скорее походил на бегство. А быть может, именно так это и было.

Каких бы то ни было отношений с теми, кто остался в Москве -- мы по негласному обоюдному согласию -- решили не поддерживать.

Да и по сути никто из московских приятелей и не проявил особого рвения. И верно, уже через время -- о нас никто и не вспоминал.

Если у кого действительно зародилась мысль, что мы с Гершензоном просто сбежали -- то это в какой-то мере и правда. Только сбежали мы, большей частью, от себя. Тогда как никакой реальной угрозы ни мне, ни Викарию -- не было. Еще перед самым отъездом в Питер в московских теленовостях передали о бандитской разборке. Среди убитых -- оказались Калитин и Гегечкори (плюс -- еще с десятка неизвестных нам людей). А через несколько лет нашей жизни в Санкт-Петербурге я натолкнулась на рекламу на местном канале. Рекламировалась новая клиника, где всем желающим предлагалось пройти курс реабилитации после психических травматических последствий по уникальной методике. Автор методики -- профессор Касьянов. Сомнений, что это был Петр -- у меня не было.

А в один из дней -- он позвонил сам, предлагая встретиться.

Я отказалась. В прошлое мне возвращаться не хотелось.

Вообще, удивительное дело. Я всегда как будто старалась удержать свое прошлое подле себя. Не отдаляться от него. А с недавних пор -- поняла, что мне оно, в общем-то, и ни к чему.

Ни к чему... Это было так странно, что я, помню, даже начала переживать от этого. В сознании как-то не укладывалось что то, за что еще недавно я судорожно цеплялась -- теперь сама же и отвергаю. Но мне просто необходимо было изменить себя. И

иного выхода, как попытаться просто абстрагироваться от всего, что меня окружало раньше -- я не видела.

Глава 2

Викарий Германович работал редактором в отделе художественной литературы одного издательства. Не сказать, что работа нравилась ему. Но и говорить обратное, значит лишить Викария Германовича того единственного мостика, который связывал его с литературой.

Сам он уже не писал. После нескольких провальных изданий собственных произведений (когда даже благотворившие к нему издатели непонимающе качали головами) способности творить у Гершензона исчезли. Он попросту стал бояться что-либо писать. Все оказывалось переписыванием (в той или иной доле композиционных отличий) собственных произведений. Этаким плагиатом на самого себя. Поэтому хотя бы временно (он тешил себя, -- что временно) Викарий Германович писать перестал.

Правда, в нем неожиданно проснулся талант редактора. Несколько вроде бы и провальных романов, присланных в редакцию -- Гершензон настолько грамотно литературно обработал -- что один из них даже номинировался на российский "Буккер". А другой -- вошел в финал премии им. Андрея Белого. Что, как минимум, обеспечило Гершензону продление контракта на несколько лет вперед. Да и уходить он, в принципе, не собирался.

Был и еще один плюс от подобной деятельности. Гершензон со временем все же начал писать и сам. И, словно опасаясь, -- стал издавать книги под псевдонимом.

И так оказалось, что одну из его книг, вышедших в парижском издательстве -- номинировали на Гонкуровскую премию. А то, что премия в итоге досталась другому -- Гершензон не переживал. Он вообще переехал в Париж. И большую часть своих сочинений -- теперь писал на французском. (Для меня, признаться, было тайной, что Гершензон знал иностранный язык. Хотя, быть может, когда-то Гершензон мне и говорил о том. Да просто я забыла).

.....

В отличие от Ольги -- Гершензон хотел вернуться в прошлое.

Он жил им. И это, может быть, было единственное, что у него осталось. Что помогало выжить сейчас. И все свои, вроде как, нынешние удачи да достижения -- Гершензон в какой-то необъяснимой уверенности соотносил только с тем, что было раньше. Что осталось в его памяти. И что извлекал он из этой памяти; порой с маниакальным рвением погружаясь в собственные воспоминания.

Период, который вызывал в Гершензоне целый каскад эмоций (главным образом положительных, хотя случались и сумбурные; но их Викарий Германович тотчас же отбрасывал) относился где-то к юношескому и, большей частью, старшему

юношескому возрасту. Где-то к годам -- от тринадцати-четырнадцати до восемнадцати. Это был первый период. Второй -- датировался годами где-то между двадцатью и вплоть до двадцати шести. Ну, быть может, на год-два раньше.

Именно в те времена, по мнению Гершензона, -- он еще мог что-то изменить настолько, что вся его сегодняшняя жизнь пошла бы в совсем ином ключе.

Наверное, всю жизнь Викарий Германович мучился оттого, что не смог раньше исправить возникающие ошибки. Гершензон задавался вопросом -- почему он должен был совершить их? Он с удивлением находил, что с каждым разом, чем больше он размышлял об этом, тем больше убеждался, что одной большой ошибкой была почти вся его юность.

Почему-то именно так выходило... Причем, подтверждений подобному -- Гершензон действительно отыскивал немало. И погружаясь в самоанализ, он только вначале, быть может, тешил себя надеждой, что ищет какую-то ошибку и только для того, чтобы в последующем не совершать подобной. На самом деле это оказалось лишь еще одной мечтой Викария Германовича. А ошибки (находящиеся в какой-то мере сродни -- симбиотической связи с обязательными негативными последствиями от них) совершались вновь и вновь.

-- Правда... -- Гершензон задумался. -- На самом ли деле и раньше (во временной момент совершения ошибок) он считал, что какое-либо его действие -- ошибочно?

Викарий Германович внезапно поймал себя на противоречии. Ведь признайся он в этом -- и получится, что он совершал поступки, заранее будучи уверенным, что они

неправильны. Но, в другом случае, если действия, которые он совершал, все равно оказывались ошибками, то получалось, он сознательно погружается в пропасть, рождая последующие в будущем -- недоразумения, размолвки, борьбу и противоречия. С самим собой. И в итоге оказывалось, что виноват во всем он сам.

...Гершензон в который уж раз задумался... В принципе, волей-неволей, но он должен был погружать себя в эти воспоминания. Как бы мучительно от них не сотрясалось все внутри него. Ведь подспудно Викарий Германович догадывался, что именно от того, как быстро ему удастся вскрыть причину начала зарождения собственных ошибок -- изменится его будущее.

Поэтому он вновь и вновь погружался в свои воспоминания.

Среди отдельных моментов детства (которые достаточно ярко высвечивались из прошлого) выделялись ситуации его отношений с близкими. По большому счету, это было именно то, от чего Викарий Германович испытывал постоянное присутствие патологического чувства вины. Ему казалось (и кто бы решился его в этом переубедить?!), что чуть ли не все его отношения с родителями -- непременно были свидетельствами его негативного поведения.

Ну тут уж ничего, как говорится, не попишешь. У меня, например, были все основания полагать, что виной подобного отношения -- был, своего рода, моральный садомазохизм Гершензона. Ничего он не способен сделать как бы просто так, по доброте душевной. (Не мог сделать добрый поступок, я имею в

виду). Сначала (и почти ведь обязательно!) Гершензон делал этому человеку зло. Всячески демонстрировал, например, пренебрежение к нему, неуважение, показывал свой гнев, ярость, - в особые моменты -- мог оскорбить, унижить, ударить... А потом с чистой совестью -- отдавался этому человеку в порыве нежности, доброты, самопожертвования. (Причем, сексуальный аспект мы сейчас не берем; хотя у меня были все основания подозревать, что он вел себя так же и в постели). У Гершензона -- в таких случаях -- словно открывались шлюзы. Он уже не ограничивал и не сдерживал себя в проявлении искренних чувств к такому человеку. Словно бы и с недавним унижением -- он получал право на совершение добрых дел. А по сути добрым Гершензон был всегда. В душе. Но вот только его доброта, словно все время находилась под замком, спутанная толстыми нитями раздражительности, зла, отрицания (всего, о чем говорилось ему).

Вообще отрицание и негативизм -- были первой реакцией отношения Гершензона к какому-то предмету. И потому те, кто хорошо знали его -- не обращали внимания на первую реакцию. Справедливо полагая, что это напускное. А вот истинное -- будет после.

.....

Больше всего, конечно, Гершензон переживал, вспоминая свое отношение к матери.

Я не знала эту женщину. Но я хорошо помнила рассказы Викария. Он говорил, что в его представлении, мать была слабой и забитой женщиной. Полностью подчиняясь воле отца. (Влияние

отца Викария Германовича вообще -- чувствовалось -- незримо присутствовало во всех его воспоминаниях).

Отца он больше боялся, чем уважал. По отношению к отцу -- у Викария все время было какое-то необъяснимое соперничество. Он противопоставлял себя -- его мнению. Если отец что-либо считал так -- Викарий обязательно (подсознательно) считал иначе.

Мать же, со слов Викария -- потакала отцу. И может потому -- в его душе рождался какой-то протест и по отношению к ней.

Как-то я случайно наткнулась на письма этой женщины к сыну. И, признаюсь, только по ним -- я прониклась такой любовной нежностью к этой женщине, что, поистине, стала испытывать даже какую-то неприязнь к Викарию.

Я уже знала, что он (в своей оценке матери, и у меня теперь были все основания полагать -- и отца) ошибается. Сильно ошибается. Причем, все же и винить его в том было нельзя. Настоящей виной -- было то душевное состояние Викария Германовича, которое искажало его представление и о родителях, и, вообще, о жизни.

Так выходило, что окружающую жизнь Викарий видел с какими-то постоянными помехами. И уже оттого -- полагать, что это была настоящая жизнь (то есть оценка событийных моментов его жизни была именно таковой) -- я не могла. Это уж слишком бы противоречило правде.

И по сути я уже не сомневалась, что Гершензон находился в плену выдуманных образов (бессознательно подменяя

ими настоящих людей). В его мнении о других -- с самого начала присутствовала ошибка. И против этого -- ничего нельзя было поделать. Потому как с возрастом, -- состояние Викария Германовича только ухудшалось.

Было ли мне тяжело с ним? Да, пожалуй, и нет. Я как-то легко научилась подстраиваться под его настроение (стараясь находить в эти моменты -- какие-то срочные дела). К тому же я действительно полагала, что любое мнение о чем-либо (или -- о ком-либо) Гершензона -- большей частью напускное. И было бы глупо реагировать на слова, являющиеся следствием выражения эмоций человека, который, к тому же, совсем не считал так, как говорил.

.....

Думая о своих отношениях с Гершензоном, я понимала, что цементирует эти самые отношения -- моя жалость к нему. Я заранее снисходительно относилась к его поступкам. (Слова -- как уже упоминала -- я вообще не воспринимала всерьез). Мне почему-то действительно было жаль этого чудака.

Ну и кроме того, я вполне отдавала себе отчет в том, что общаясь с Викарием, -- я каким-то образом удовлетворяю свои притязания на власть. (Уж себе-то я могла в этом признаться!).

Теща, должно быть, свое самолюбие постоянным находением и исправлением ошибок у Гершензона.

И этим действительно существенно поднимая свою самооценку.

К тому же в Гершензоне я в какой-то мере видела
вверенного мне судьбой ребенка.

Ребенка, который мне заменял своего; того, которого я
родить все не решалась (от кого?). А ведь мне было уже тридцать
семь... И я отдавала себе полный отчет, что если не рожу в
ближайшее время -- навсегда останусь...

...Я не могла об этом думать... Это все время оказывалось
болезненной темой для меня...

Глава 3

Неустойчивые эмоциональные состояния, характерные
для психики Гершензона, словно в соответствии со своим
названием -- то уходили почти совсем, то поднимали его уровень
психической активности -- до невероятных размеров.

С этим ничего нельзя было поделать. С этим нужно было
только смириться.

Но Викарий Германович Гершензон являл собой
достаточно страшный пример человека, который вроде бы и
убедившись за долгие годы существования у него болезни в
бесперспективности попыток противостоять ей, -- в иные разы
сопротивлялся.

Вернее, что-то в нем восставало как бы против его воли.
И тогда он, с горящими выпученными глазами, стремившимися
поймать какой-нибудь предмет в фокус своего взгляда -- являл

пример настоящего безумца. При этом, должно быть, понимая это и сам.

Когда его состояние уже слишком прогрессировало, конечно, противопоставлять что-либо ему -- было поистине глупостью. В таких его состояниях (длившиеся, иной раз, до полумесяца, месяца, нескольких месяцев), я по возможности избегала какого-либо контакта с ним. И поначалу очень расстраивалась от того. Но потом смирилась. И стала просто определять Гершензона в стационар. Где был соответствующий (его состоянию) уход и наблюдение. А еще курс химиотерапии, после которой случались чудеса. И Гершензон -- пусть на время -- возвращался к обычной жизни.

Чуть дальше у нас даже наметились какие-то сроки "лечения". Дважды в год -- по месяцу -- Гершензон лежал в клинике для душевнобольных. После чего оставшиеся полгода я за него могла быть спокойна. Ну, относительно спокойна.

Несмотря на то, что Гершензону действительно после больницы становилось лучше, я испытывала какое-то беспокойство от ощущения предательства со своей стороны. Мне почему-то казалось, что я не слишком честно поступаю по отношению к нему.

Но вот как я должна была поступить иначе -- я не знала. Ведь и прекратить страдания Гершензона я не могла.

Да у меня самой тот способ, которым пользуются психиатры -- вызывает тревогу. Я все время (встречая Викария после больницы) с каким-то даже страхом всматриваюсь в его

глаза, вслушиваюсь в каждое произносимое слово, отмечая про себя какие-то его жесты, позы, телодвижения -- словно ожидая, что вводимые ему в клинике лекарства -- оказали какой-то побочный эффект. И к существующим у Викария странностям -- прибавились новые.

Пока этого не происходило. Да, быть может, мне и не стоило так-то уж переживать. Но уж слишком ощутимая была разница между Гершензоном -- с которым я когда-то только познакомилась, -- и Гершензоном -- которого я наблюдала сейчас.

Казалось, эта самая химиотерапия лишила Викария какой-то индивидуальности. У него, конечно же, уже не было проявления того, что называлось обсессивно-компульсивным неврозом; как будто бы и не было признаков шизофрении. И вполне можно было констатировать, что медикам удалось заглушить и его проявления безумств (которые, бывало, раньше на него находили), и вообще -- Викарий Германович вновь стал тем забитым существом, которым он по сути и был. В нем заглушили все, что только было возможно. Любое проявление чувств. И теперь какое-либо выражение эмоции зависело исключительно от того, какие Гершензон принял таблетки. Причем, в какой-то мере я могла сама варьировать это. Фенозепам и производные, например, -- успокаивали его. Циклодол, наоборот, -- делал веселым и активным. Если дозу превысить -- то можно было вызвать большую радость или, наоборот, сон (и то, как рассказывал наутро Викарий, сон -- с галлюцинациями наяву, или особо живописными видениями -- во сне).

Впрочем, я старалась не злоупотреблять лекарствами. Но и другие способы лечения -- отвергала. Словно опасаясь -- что им не удастся справиться с тем, с чем уже давно справлялась психиатрия.

Глава 4

Касьянов вновь заявил о себе.

Каким-то образом узнав, что я нахожусь в Питере (может быть, еще не зная, что я переехала туда, ведь в тот его первый звонок, помнится, я что-то наговорила про то, что в Питере чуть ли не проездом), Петр Карлович навестил меня в квартире, которую я снимала (каким образом он узнал адрес -- для меня загадка до сих пор).

Но еще большее удивление вызвало предложение Касьянова. Мне вспомнилась реклама. Там действительно все оказалось верно. Касьянов был доктор медицинских наук, профессор. И на самом деле разработал какую-то психотерапевтическую методику. Теперь он фигурировал исключительно под своим именем-фамилией. И казалось, действительно занимался своим любимым делом.

-- Ты действительно способен ему помочь? -- с надеждой всматривалась я в лицо Пети Касьянова.

-- Помогу, -- еще больше обеспокоило меня признание бывшего одноклассника. -- Ты в чем-то сомневаешься?.. -- внимательно посмотрел на меня Касьянов, и я ошутила

разливающиеся по телу успокоение и какое-то усиливающееся доверие к этому человеку.

-- Да нет... нет, -- смутилась я.

Но Касьянов видимо еще читал какое-то сомнение на моем лице. А потому он начал говорить...

...Петр Карлович говорил много и выразительно; делал театральные паузы в словах и настолько оживлял свою речь мимикой и жестами, что, казалось, каждое его слово -- находило отклик в моей душе.

Прошло всего несколько минут (впечатление -- что не меньше часа), и во мне уже ничего не осталось кроме стыда -- за недавнее сомнение свое. Я верила каждому слову Касьянова. Я готова была выполнить его любое желание. Чтобы только заслужить уважение этого человека.

.....

-- Это авантюрист большой пробы, -- остудил меня Гершензон, когда я поведала ему о разговоре с Петром Карловичем. Для меня, признаться, было удивлением, -- что Викарий был настроен резко отрицательно против Касьянова. А ведь они даже не были знакомы?

Я понимала, что есть серьезный повод задуматься мне. Получалось, что -- в своей оценке Касьянова, я находилась в плену каких-то иллюзий. Или он действительно был настолько гениален,

что любая критика его -- происходила скорее от непонимания?..
Да еще, быть может, от боязни...

Реакция Гершензона меня и смутила, и испугала. И я поняла, что заставить его пройти курс у Касьянова -- будет невозможно.

Но и другого выхода у меня как будто бы не было. Все эти странности Викария Германовича мне настолько надоели, что я стремилась ухватиться и за соломинку, если бы знала, что она -- вытянет меня.

Ну, или -- его... Конечно же, его... Я уже совсем забыла то время, когда Гершензон мог внятно реагировать на какие-то мои слова. В нем жил какой-то необъяснимый протест ко всему, о чем я ему говорила. Конечно же, Викарий изменился. Как будто все самое тайное и скрытное, что на протяжении жизни он в себе заглушал, теперь стало выползать на поверхность. И уже создавалось впечатление, что перед вами ядовитый и злобный зверь, который не трогает вас только по какому-то недоразумению; и я постоянно находилась в напряжении, ожидая срывов этого чудовища. Причем, и врачи уже не помогали. Точнее, они, быть может, и рады бы были помочь. Но с недавних пор стало требоваться согласие и пациента. А Гершензон, каким-то чудом узнав про это -- совсем расхотел лечиться. И о каком-либо курсе химиотерапии -- теперь глупо было мечтать.

Викарий Германович вдруг объявил себя здоровым.

И о том, чтобы поместить его в психиатрическую клинику -- теперь не могло быть и речи.

.....

-- ...Поддон, -- бросила я в лицо скабрено ухмыляющемуся Гершензону, с трудом высвободившись от его разомлевшего (после оргазма) тела. Я ощущала в себе ядовитую жидкость. Она жгла меня, не давала сделать каких-либо движений; и, пересилив себя (хотелось повеситься или выброситься из окна), я, зажав приподнятый снизу халат и опасаясь, как бы он не испачкался выливавшейся из меня спермой этого придурка, -- поспешила в душ.

Когда я уже выходила из душа, Гершензон потребовал сделать ему минет.

-- Ну и сука же ты, -- не выдержала я. -- Ты же только что кончил.

-- Соси, -- грубо захохотал Гершензон, и схватив меня за волосы -- прижал к своему набравшему эрекцию члену.

Мне пришлось выполнить требование Викария...

-- ...Что ты делаешь? -- удивился Гершензон, включив ночник, и испуганным взглядом уставившись в меня.

-- Я... я..., -- силилась что-то произнести я, и -- не находила ответа.

Мельком бросив взгляд на часы (висевшие над кроватью Викария -- спали мы порознь, и в разных комнатах), я своим заспанными глазами не видела стрелок.

Гершензон не только проснулся (час... два... три ночи?..), но и стоял рядом с кроватью. Со своей кроватью, на которой почему-то оказалась я.

Викарий Германович смотрел на меня и совсем не мог ничего понять. Хотя я уже поняла -- что именно это он и пытался сейчас делать. Думать. Но как было объяснить мне самой, что я не только пришла в комнату спящего Викария и забралась в его постель, но и хотела сделать ему...

Меня чуть не стошнило.

-- Ольга? -- полуиспугано -- полувопросительно Гершензон смотрел на меня, желая видимо найти хоть какой-то ответ.

...Почему я тогда не ушла? Какая-то гордость или желание оправдаться, -- вынудили меня остаться.

А ведь я оправдываться совсем и не собиралась.

Что я могла сказать?

Что мне приснился страшный сон, и я лишь подчинялась желаниям мужчины в этом сне?

И что этим мужчиной был Викарий?

Но таким, какого я никогда в жизни не видела?..

Действительно в жизни...

А может, и я схожу с ума?..

А у Викария действительно, как он утверждает, и нет тех проблем с психикой, о которых я все время говорю ему?..

Глава 5

Несмотря на мои заверения, -- Гершензон решил заняться моим "лечением". Для меня поначалу это показалось весьма... странным, что ли?.. Но потом я как бы и смирилась. Мой сон, признаться, здорово меня напугал. Зная, что во сне реализуются бессознательные фантазии -- я решила встретиться с Касьяновым и обо всем ему рассказать.

По крайней мере, если у меня что-то и было, -- то наверняка это только начиналось. И еще вполне возможно предупредить (начавшееся течение болезни?), -- дабы не начались те необратимые последствия, которые уже сгубили немало людей. (В том числе и Гершензона, -- как бы он меня не стремился убедить в обратном).

Однако, что-то меня удерживало сразу пойти к Касьянову. Этот человек внушал мне какой-то... не ужас, и не страх... а скорее, -- приобщение к какому-то... величию... Но быть может и вправду боялась его... Не знаю. Что-то мне говорило, что я, по сути, совсем не знаю Петра Карловича. А то что -- как я полагала (и, видимо, не без оснований) -- он ко мне прекрасно относился? Так мало ли кто ко мне так не относился?! Другой вопрос был -- как я относилась к ним!?

.....

-- ...Ну, что ты на это скажешь? -- мне потребовалось некоторое усилие воли -- чтобы посмотреть на Касьянова (я все же решилась обратиться к нему) и -- выдержать его взгляд.

-- Многого могу сказать, -- многозначительно посмотрел он на меня. И в последующие полчаса у нас состоялся самый откровенный разговор. Я впервые ощутила чувство, которое, должно быть, испытывали на исповедях у святых отцов в католической церкви. Когда можно было говорить, что хочешь, и тебя выслушают. И вместе с избавлением, которое несет в себе подобная исповедь -- я еще могла услышать и совет -- как мне жить дальше.

А мне этот совет теперь был очень нужен.

...И уже удивительное дело. В конце нашей беседы -- мне не хотелось расставаться с Касьяновым. Я словно другими глазами смотрела на недавнего одноклассника. И мне очень хотелось -- остаться с ним. У меня как будто разом все сошлось в моем внутреннем мире.

Я разом избавилась от каких-то назревавших собственных противоречий. И совсем прошел страх.

Я словно получила некую верительную грамоту, по которой могла быть сама собой. Совсем не нужно было больше притворяться. Я могла не бояться собственных мыслей. Говорить, действительно говорить то, что думаю. А совсем не то -- что должна. И знала, -- что никто не станет смеяться надо мной.

В свои тридцать семь -- я внезапно ощутила себя маленькой девочкой. И я могла быть -- сама собой. Та стена, которую я все эти годы воздвигала между своим внутренним

миром и внешним, -- обрушилась. И вместе с разом исчезнувшими обломками -- исчезло и все то, что я, как оказалось, все эти годы воздвигала.

Я была сама собой. И я была счастлива.

А еще мне хотелось, -- как-то невероятно сильно захотелось -- остаться с этим человеком. Человеком, о котором я совсем ничего не знала и о котором я знала -- все.

И ведь не было в том никакого обмана. Я, быть может, впервые почувствовала невероятное единение со своим альтер-эго. О каких-то точках раздора уже никто и не подозревал. Их попросту не было. Была одна я. И мое "Я" тоже было одно. Мне было хорошо. Очень хорошо. И я решила сделать все, чтобы больше ничего не менялось.

Я влюбилась в Касьянова. И -- призналась ему в том.

А он... он лишь только по-отечески покачал, улыбаясь, головой. И я знала, что если нужно будет выждать какой-то срок -- я буду ждать. Я смогу ждать. Я любила... Я, наверное, в первый раз -- по-настоящему влюбилась.

И теперь было совсем даже не страшно.

Не страшно ждать.

Я знала -- что добьюсь своего...

Часть 5

Глава 1

Мужчина вошел в здание библиотеки Конгресса США. У него была последняя надежда отыскать информацию, которую он искал -- здесь. Его выпученные глаза и голый череп, наверное, внушали некое подозрение копам, но документы оказались в полном порядке. Совсем недавно "вид на жительство" сменился получением самого настоящего гражданства Соединенных Штатов Америки. Чему, признаться, мужчина был несказанно рад.

-- Простите, я хотел бы найти..., -- обратился мужчина на ломаном английском к немного (как показалось ему) скучающей библиотекарше (как, интересно, переводится "библиотекарша" на английский? -- подумал он).

Черная женщина средних лет на его удивление дала ему подробнейший отчет, где необходимо было искать запрашиваемую информацию. Тут же появившийся молодой черный парень должен был сопроводить мужчину к месту интересующей его информации.

...Уже месяц мужчина приходил в архив Конгресса США как на работу. Нужную информацию он нашел. Но его просиживание в читальном зале явно затягивалось, потому что необходимо было -- сначала перевести информацию с английского на русский, или -- с немецкого (который, заметим, он знал чуть

получше) на русский. Хотя мужчина уже и не был русским. Он был американцем.

Его жена -- миссис Джулия Смит, ждала его дома. Она была на девятом месяце беременности. И ее совсем нельзя было расстраивать. Хотя, признаться, мужчина и с ужасом представлял себе -- кто у них родится. И что если и ребенку передадутся все те склонности, от которых безуспешно пытался избавиться он? Тогда ведь получится уже совсем черт знает что...

Звали мужчину...

Впрочем, пусть пока он побудет инкогнито.

Тем более, что сам свое имя -- он бы ни за что раскрывать не захотел. Пусть даже и из самых добрых побуждений. К тому же, получив американское гражданство (и еще чуть раньше женившись), пришлось взять фамилию жены. И теперь он был Смит (а Смитов -- в Америке, -- как на его недавней родине Ивановых или Петровых). Он даже имя свое заметно сократил. И теперь звался на американский манер -- Рикки.

Что уж тут говорить, -- мужчина, сменивший имя-фамилию, был явно настроен и на смену собственных мыслей.

Да он уже и думал-то иначе, чем в России. У него даже стала изменяться (переконструироваться) психика. И теперь в прежнем человеке с весьма развитым параноидально-маниакально-депрессивным психозом -- совсем нельзя было найти даже минимум симптомов, попадающих под классификацию обозначенных нарушений здоровья.

Но это не значило, что мужчина стал здоров. Конечно же, нет. Просто каким-то образом у него произошла перенаправленность, смещение акцентов болезни.

И теперь, вместо ставшей уже, должно быть, для него "привычной" симптоматики -- стал развиваться целый ряд новых, совершенно незнакомых ему ранее симптомов. Которые все также -- вызывали в нем беспокойство.

Хотя это уже было и совсем иное беспокойство. Ведь раньше ему случалось переживать из-за каких-то (в его представлении) реально повисших над ним обязательств, которые, конечно же, в большинстве случаев -- таковыми и не являлись вовсе.

Теперь же, -- внимание сместилось на поиски какой-то гадости внутри себя.

И еще... Еще в Сеченове (а этим мужчиной был именно он) стали развиваться какие-то и вовсе уж странные наклонности. Правда, пока они, большей частью, отыгрывались на проститутках, которых Сеченов (Рикки Смит) снимал с поразительной настойчивостью внезапно возросшего либидо. И то, что он с ними вытворял -- иной раз пугало и его самого.

Но с собой он ничего не мог поделать.

И если пока еще никого не убил -- явно было только пока. (Хотя чего-то подобного Рикки -- Рудольф -- очень боялся).

.....

Пока ему действительно удавалось сдерживать свою излишне прорывавшуюся агрессию. Причем, чтобы не слишком мозолить глаза копам, контролирующим местных "путан", -- Сеченов (Смит) перебирался из района в район. Сосредоточив вскоре внимание исключительно на Гарлеме.

В этом районе Нью-Йорка -- ему казалось -- было наиболее спокойно. Даже полицейские здесь были черными. А черные с черными -- всегда (был уверен Рикки) сумеют договориться.

Тем более, что жена у Сеченова тоже была черная. А еще ему удалось невероятным образом сдружиться с ее братом -- Джоном, заправлявшим в одном из кварталов Гарлема.

Именно Джон (который сам был законченным негодяем) -- разрешил своему новоиспеченному родственнику реализовывать свои извращенные фантазии в квартале, контролируемом им. ("Только чтобы сестру не трогал", -- наказал Джон, сверкнув белозубой улыбкой, и показал глазами на шкаф, в одном из потайных створок которого -- знал Сеченов -- был запрятан пистолет Джона).

Сеченов все понял. И за это -- Джон сам поставлял Рикки проституток. Причем не только черных (как любил Сеченов), -- но и любых; изначально настроенных на садо-мазохистскую направленность.

.....

Проститутки были наркоманками. И трудно было сказать -- знал ли о том Сеченов?

Но их поразительная способность терпеть боль -- иной раз немного удивляла его. Правда, если и удивляла, то уже намного позже. Во время оргий, обезумевший от страсти Сеченов, совсем терял контроль над собой.

Но и тогда уже, -- именно общение с проститутками -- помогало Сеченову не только разгрузиться, но и -- хоть на время -- выплеснуть свою агрессию.

Которая, впрочем, с каждым днем в нем накапливалась все больше и больше.

С чем было это связано?.. Сеченов, конечно же, думал об этом. И как-то так выходило, что причину он большей частью находил именно в том состоянии (собственной психики), которое у него было всегда (то есть, разумеется, и раньше). Но при жизни в России -- ему это как-то удавалось в себе заглушать.

Перебравшись в Америку (что тому предшествовало, Сеченов обещал подробно рассказать), -- он словно в одночасье осознал, что вся его недавняя война с собственной психикой -- негативнейшим образом отзывалась в первую очередь на нем. И уже получалось, что в стремлении реализовать (в данной реальности) фантазии бессознательного -- Сеченов как раз и стремился избавиться от мучившей его симптоматики. Надеюсь, что если хотя бы часть из представлений, чуть ли не ежедневно разыгрывавшихся в его фантазиях да воображении, -- реализуется наяву, в действительности, -- то тогда, может быть, и спадет оставшаяся часть безумства, которому подвергалась его психика.

Кстати, общаясь с черными, Сеченов заметно улучшил свой американский язык. Это была поистине великолепная практика. И теперь Рикки Смит -- вполне свободно не только говорил на языке страны пребывания, -- но и понимал, что говорят ему.

Глава 2

В один из дней -- Сеченов встретил Гегечкори.

Роберт Гегечкори заметно преобразился с момента переезда из "Красной поляны" (Сочинский район, Краснодарский край) -- в Москву. Правда, большей частью это касалось внешности Роберта Георгиевича. Он стал походить на американского героя-любовника довоенных лет: черные ухоженные волосы, тонкие усики, двубортный костюм, галстук и - все понимающий взгляд. Тогда как в душе Гегечкори оставался все тем же горцем. И стоило хоть чему-то быть не по нему -- Гегечкори сразу же хватался за пистолет.

Был Гегечкори киллером. И приехал в Штаты -- выполнять заказ.

Встреча же его с Сеченовым произошла не только случайно, но и Гегечкори не узнал в смуглом американце своего недавнего врага. (Никаких других чувств, кроме ненависти, у Гегечкори к Сеченову не было. Тот его обманул. И Гегечкори -- если бы не узнал, что Сеченов где-то погиб -- обязательно убил бы

его. Он даже, помнится, долго носился с этой идеей пока случайно не забрел на кладбище, где и увидел могилу некоего Сеченова. Рудольфа Самуиловича. Полного тезки Сеченова. Если бы Гегечкори обратил внимание на "год рождения" -- то задумался бы о том, что его недавнему другу -- явно не хватало лет, этак, тридцать. Но, видимо, увиденная информация каким-то образом совпала с той, что так напрашивалась в воображение Гегечкори. И он даже купил цветы -- на могилу бывшего знакомого).

Если Гегечкори Сеченова не узнал, то Рудольф Самуилович его узнал сразу. А потому подчеркнуто разговаривал только на английском (кое-как переводимом включившимся в игру Джоном) и представился (несколько раз повторив) -- Рикки Смитом, американцем.

Но про то, что перед ним был американец -- Гегечкори понял и сам. Да он, в принципе, и не настроен был как-то определять национальность Смита. Он бы вообще с удовольствием пристрелил бы и его, и скалящегося рядом с ним негра.

Но это было совсем нельзя. Во-первых, -- другая страна. А во-вторых, -- он должен был выполнить заказ, а один из этих людей знал, где находится нужный ему "объект".

.....

Гегечкори ошибался. Ему нужно было найти в Гарлеме не Рикки Смита, а Роки Смита. И ему даже дали его фотографию. Но... зрительной памятью Гегечкори особо не отличался, хоть и

уверен был в обратном. И фотографию с собой брать не рискнул (опасаясь нью-йоркских полицейских, которые -- как ему сказали -- могут обыскать в аэропорту и из подозрительности -- выслать пассажира обратно).

Фамилию же Гегечкори выучил наизусть. Что до имени... В самолете им показывали фильм. Главный герой был Рикки. И... тот парень -- ковбой -- настолько понравился Гегечкори, что он бессознательно спутал Рокки -- с Рикки. А может и просто запутался в американских именах. Посчитав и Рикки, и Рокки -- за одно...

Сеченов же подумал, что Гегечкори приехал убивать именно его. И тянул время, обдумывая, как же ему обезопасить себя.

Наконец, он улучил момент и посоветовался с Джоном. Джон не раздумывая, согласился на план, предложенный Сеченовым. И уже вскоре -- заказанный парень (а им оказался один из недавних подручных нынешнего хозяина Гегечкори) ждал прибывшего из России киллера (по его душу), чтобы расправиться с ним.

Это в итоге и произошло. Правда, Джон подстраховался (зачем ненужное внимание копов к его району), сделав так, чтобы в перестрелке с Гегечкори -- погиб и тот парень.

Таким образом, полиция вполне могла закрыть дело, списав все на разборки русской мафии. И они, в принципе, были недалеко от истины.

Глава 3

Калитин понимал, что ситуация давно вышла из-под контроля. И теперь ничто не способно было вернуть хотя бы малую частичку прошлого. Того прошлого, в котором он когда-то чувствовал себя человеком.

...Кем он был сейчас?.. Так... Остатки былой власти (в России излучаемой власти от хозяина) все больше начинали покидать его. И совсем уже потерял Калитин путь, по которому прежде уверенно шел.

Выходило, что он должен был искать нового хозяина. Да ему и было как-то сподручнее -- работать на кого-то. На себя же -- Калитин не любил. Да и платить самому себе не очень хотелось. Да и нечем. Хозяин же мог с легкостью позаботиться и о себе, и о нем.

О Калитине, пожалуй, может сложиться не совсем верный портрет. Все время находиться в чьей-то зависимости он, конечно же, не мог. Не хотел. Да и внутренняя его сущность -- восстала бы. Все дело в том, что, помимо наличия над собой обязательного хозяина, -- почти точно также, Калитин должен был ощущать и свою собственную власть.

Которая распространялась, например, на подчиненных Сергея Сергеевича.

И уже на этих подчиненных -- Калитин отыгрывал все. И свою зависимость от начальства. И свою необходимость -- жить по правилам, устанавливаемым не им. Другими. А значит, Калитин и должен был постоянно подчиняться кому-то.

И вот ведь вопрос... Нельзя было так сказать, что как-то Калитин противился этому своему подчинению. В какой-то мере оно было ему даже необходимо.

Причем, как раз объяснялось все просто. С одной стороны (наличием над собой хозяина), -- он был обезопасен от страха остаться без денег. С другой (наличием подчиненных уже под ним), -- Калитин с легкостью не только компенсировал свою какую-нибудь зависимость; но и -- возвеличивался в своих глазах - наслаждаясь подчинением других.

Было и третье... Сергей Сергеевич Калитин, -- мог заниматься своей работой. Той, которую он любил. И от которой (и отставка из Комитета, и фактическое бегство из страны) его все время намеревались отлучить. Причем, иной раз казалось Калитину, -- что в том была заинтересована и сама судьба. Ведь и хозяева его -- каким-то образом гибли. А он... он все-таки был научен выживать. Был профессионалом (что, заметим, признавали все без исключения). А потому, даже если когда (случайно или намеренно) и появлялся в газете некролог, -- это был, конечно же, не он.

.....

Калитина отличала твердость характера и крепость психики. Она была такая же прочная, как и его мускулы, которые он качал ежедневно, давно превратившись -- со своим средним ростом -- в этакое подобие бычка.

Смотрел он всегда исподлобья. Стрижку носил короткую. Волосы были седые (но на фоне короткой стрижки

седина была не особо заметна). И казалось, совсем никто не догадывался, что Калитин давно уже сошел с ума.

То ли сумасшествие его было какое-то странное? То ли еще по какой причине, но это самое сумасшествие вроде как никто и не замечал. А может, и некому было просто... Родных и близких Калитин держал в страхе. Со знакомыми решал только деловые вопросы. Какие-либо откровения да разговоры по душам он попросту не любил. Считая их -- излишними.

Сергей Сергеевич был упрям. Отчаян. Храбр до какой-то жертвенности. И при этом -- он нисколько не хотел умирать. Не хотел -- и не собирался.

Сейчас перед Калитиным стояла задача найти себе нового хозяина. Но после смерти Венгерова -- вакансия явно грозила еще долго оставаться свободной.

Все дело в том, что после того, как Венгерова без каких-либо трудностей расстреляли в машине (где многие думали -- находился и Калитин) -- у потенциальных клиентов Сергея Сергеевича -- появилась неуверенность в том, что он как-то сможет помочь им при возникновении схожей ситуации. А раз так -- то зачем тогда Калитин был нужен!?

И кроме того, Калитин устраивался на работу не сам. Точнее, -- не только сам. Он приходил со своей командой.

А тратить почти четверть сотни тысяч долларов (по привычке все расчеты Калитин производил в долларах) каждый месяц на охрану -- явно мог позволить себе не каждый. Да еще догадываясь, что охрана его может и не спасти.

Поэтому Калитин принял решение перебраться из Германии -- в Штаты.

Америка, на его взгляд, как раз располагала к тому, чтобы потерялась (хоть часть; самая негативная) информация, которая была совсем нежелательна ему. А потому Сергей Сергеевич стал обдумывать варианты, по которым он мог бы без труда найти интересующую его работу -- в Нью-Йорке.

Хотя нет. Нью-Йорк, по его мнению, для выбранных им целей не подходил.

Намного желательнее было бы попасть куда-нибудь... в Калифорнию, скажем. А еще лучше -- в Пенсильванию. Или в Штат Мэриленд... Мэриленд... Как-то Калитин там был на соревнованиях (в молодости, когда входил в состав сборной страны по самбо). В Балтиморе (соревнования проходили там, в столице штата) Калитин стал чемпионом мира по самбо. А потому, какие-то добрые впечатления и о городе, и -- главным образом -- о том времени -- сделали за него выбор и на это раз.

Более того. Калитин нашел бывшего товарища по команде, который после долгих исканий -- как раз осел именно там.

А еще -- тот его товарищ -- работал телохранителем у одного местного бизнесмена (босс какой-нибудь мафии, -- подумал Калитин, узнав, что бизнесмен был черным. А богатые

черные, -- в представлении бывшего сотрудника советских спецслужб -- все были бандитами).

И уже так вышло (карта явно шла Калитину), что Сергей Сергеевич устроился не только в Балтиморе, но и -- к одному из друзей хозяина своего бывшего товарища по сборной. Который откомендовал приятеля с лучшей стороны (когда-то Калитин ему здорово помог, договорившись с другим своим товарищем, ветераном, который ушел "с ковра", освободив место тогда молодому Коробову, который, -- на удивление Калитина, -- помнил об этом до сих пор, а потому сделал все, чтобы его товарищ получил место). Уже здесь, наверное, можно заметить, что какого-то особого труда для него это не составило. А когда он намекнул, что Калитин -- бывший майор КГБ -- это тотчас решило все вопросы. К КГБ относились в США как к очень серьезной организации.

Глава 4

Бывало, я не смогла удержаться от рыданий...

Но что такое женский плач?.. Наверное, совсем не то, что думают об этом мужчины?..

Но что мне было до мужчин?.. Я чувствовала все большее недовольство жизнью... Я словно разом лишилась былых ориентиров...

И мне уже казалось, что все мои стремления разом потеряли свои -- и актуальность, и -- привлекательность.

А быть может, и должно было когда-нибудь произойти какое-то переосмысление жизненных позиций?.. По крайней мере, причину моей сегодняшней грусти я видела в этом.

И я уже как будто и не могла -- хоть как-то повлиять на ход событий... Да мне и вовсе как-то быстро опротивела любая перспектива, простиравшаяся передо мной.

.....

Затуманенными от непонимания глазами -- Ольга пыталась заглянуть в свое прошлое.

Мир вокруг -- никогда ей не казался -- ни относительным, ни -- безоблачным. Вся жизнь ее проходила в вечном стремлении доказать кому-то свою состоятельность. Сначала -- как ученицы в школе. Потом -- в институте, аспирантуре, на работе, в личной жизни...

Казалось, вся жизнь была продиктована единым стремлением самоутверждения.

А собственно, жизни-то -- она и не видела.

.....

Вот уже как год -- Ольга Аркадиевна Маер -- была без работы. Без официальной работы.

Она подрабатывала репетиторством (русский, литература, иностранный язык...).

Участвовала в каких-то социологических опросах (была инициатором нескольких из них; и заработала сумму, равную ее

полугодовому окладу в институте -- всего за неделю такой работы).

Но это все было не то...

Ольга чувствовала свою какую-то оторванность от социума...

Она была как будто вырвана из привычного ритма, в котором провела до того почти двадцать лет...

И конечно, это все больше возраставшее недовольство собой...

Все это действительно выматывало...

Но, пожалуй, самое удивительное -- что она совсем ничего не могла с этим поделать.

Как только она думала о какой-то регулярной работе -- тотчас же внутри нее что-то восставало, и привычный (в ее теперешнем понимании) ход вещей -- тотчас же сбивался и нарушал запланированный порядок...

В который уж раз Ольга искала, -- и не находила ответа.

Да и вряд ли что ее могло (в ее теперешнем состоянии) устроить... Ей казалось, что окружающий мир начинает жить какой-то своей жизнью, совсем не замечая -- существование ее.

А потому -- она должна решить: или ей смириться с происходящим? Или же -- начинать яростную борьбу?

Борьбу действительно самую яростную.

Борьбу, из которой она -- должна выйти только победителем.

В ином случае -- ее ожидало не только разочарование (степень которой угадывалась самая максимальная), но и -- признание собственного поражения. А это для нее, пожалуй, было самое страшное...

Но она ведь и не могла -- просто так смириться... Ей требовалась -- хотя бы показать, инсценировать видимость (хоть -- видимость) какой-то борьбы. И тогда наверняка наступит то улучшение состояния, которое ей, вероятно, будет сейчас как нельзя кстати...

Ольга вспомнила детство... Ее мать развелась с отцом, когда Ольге не было и трех лет. А когда исполнилось пять -- у Ольги появился отчим.

Любила ли она его?

Конечно же, нет. И по мере того, как выросла -- в ней, наоборот, все больше крепла уверенность -- найти своего настоящего отца. Она хотела жить только с ним. И была уверена -- что и он хочет того.

И она была права. Вот только... Ее мать, опасаясь, что бывший муж выкрадет ребенка -- добилась через суд (она работала в прокуратуре, инспектором по надзору за работой пеницитарных заведений), чтобы отцу Ольги -- запретили с ней встречаться. Чуть позже мать, -- как перед самой ее смертью выяснила Ольга, --

сфабриковала вместе с новым мужем -- прокурором одного из районов города, из которого уже позже Ольга перебралась в Москву, -- уголовное дело против ее отца. Тому дали 4,5 года. И он "при загадочных обстоятельствах" погиб в колонии.

К матери у Ольги и раньше-то не было добрых чувств. Теперь же она настолько возненавидела ее, что даже не приехала на похороны.

И сейчас, несмотря на то, что только после смерти матери уже прошло почти пятнадцать лет -- Ольга все так же продолжала ненавидеть ее. И с каждым прожитым годом -- ненависть не утихала.

Вероятно, это тоже была боль Ольги... И уже наверняка -- прошлое никак не располагало к какому-то нынешнему успокоению. А то и наоборот -- воспоминания порой еще только подливали масла в огонь.

И Ольга уже тихо ненавидела не только всех, -- но и себя.
И у нее были все основания -- делать подобное...

Глава 5

Викарий Германович -- тоже вспоминал свою молодость. Причем, акцент сейчас он делал на свои юношеские годы.

Ему, например, достаточно ясно представлялось, -- что в какой-то мере формирование в нем творческих способностей (и, главным образом, страсть к сочинительству) было, вероятно, не

только заложено в детстве (и только генетикой здесь не обошлось), но и -- если хотите -- являлось, главным образом, следствием общей ущербности Гершензона.

Длинный, худой, неказистый, с торчащими в разные стороны волосами, постоянно слезящимися глазами (зрение тогда уже начало падать), вечно какой-то дерганый и боязливый -- Гершензон, подростком, явно вызывал насмешки и желание надавать ему тумаков -- у дворовых ребят. И те вполне охотно били его, отнимая деньги и любимые Викарием предметы, которые находили в его выворачиваемых карманах. И не проходило дня -- чтобы маленький Викарий не подвергался унижениям.

И уже быть может потому -- подобной агрессивности он подсознательно ожидал и от взрослых.

И все это привело к тому, что он все больше отчуждался от окружающего мира. И тогда уже, он просто вынужден был начать придумывать какой-то свой мир.

Мир, где чувствовал бы себя -- полным властителем и в котором унижения -- просто не могли быть возможными. Потому что...

...Да потому, -- что это был его мир. Мир, в котором царствовал -- только он. И куда Викарий никого -- не допускал.

.....

По всей видимости, развитие каких-то творческих способностей Викария напрямую происходило из его необходимости подстраиваться под окружающий мир.

Он просто обязан был каждый раз что-то придумывать. Придумывать какой-то свой новый образ, поведение, якобы совершаемые поступки... Чтобы только не слишком выделяться среди окружающих.

И уже потому что пришлось ему жить подобным образом долгие годы -- можно было предположить, что какие-то (передававшиеся филогенетическим путем) ростки таланта -- попали в благодатную почву; сдобриваемую, к тому же, ежедневными унижениями Викария.

Он на самом деле -- с детства -- был вынужден юлить и изворачиваться.

Но при этом должен был делать это так, чтобы совсем невозможно было разглядеть в его действиях какой-то наигранности.

Все должно быть достаточно естественно.

Викарий Германович блестяще овладел этим искусством. И уже тогда, когда он начал писать (в молодости) -- он и не испытывал каких-либо трудностей в извлечении из своего подсознания -- фантазийных переживаний, скрывавшихся там.

И, вероятно, достаточно характерным был тот факт, что начал Викарий с пьес.

Завзятый театрал (в последние полтора-два десятилетия о нем иначе и не скажешь) -- юный Викарий именно в пьесах, в собственных пьесах, -- наиболее, как ему казалось, ярко выражал

всю ту симптоматику внутренних конфликтов, с которыми вынужден был жить.

Правда, вскоре Викарий стал замечать, что его пьесы больше стали походить на запись беседы пациента и врача-психиатра.

И как только он заметил это -- тотчас же отказался от подобной формы литературного творчества. Обратившись к тем же рассказам, эссе и -- давно задуманному -- роману.

Впрочем, Викарий написал уже несколько романов. Но ему казалось, что он не должен пока брать ответственность за столь масштабные полотна.

А потому и правил свой первый роман -- уже в тридцатый раз. Все равно находя в нем какие-то нечеткости да недоработки.

Правда, последние несколько лет Гершензон находился в своеобразном творческом кризисе, который, правда, разрешился. Но, как мы уже замечали, весьма своеобразным образом: Викарий Германович стал писать на французском языке. И -- под псевдонимом.

Но, видимо со временем, он и сам нашел некоторую странность в этом. А потому вернулся к родному языку. Причем в одночасье (и почти одним махом) наконец-то закончив свои романы (последняя правка, правда, затянулась почти на полугодие. Так что одночасье -- уж слишком обнадеживающее. Но романы были действительно закончены. И умиротворенный

Гершензон отнес их в издательство: то есть, показал своему
прямому начальнику -- начальнику отдела литредакции).

Романы были приняты. И у Гершензона, в принципе,
могла начаться другая жизнь.

Да и он как будто бы, -- желал наступления ее.

Глава 6

Казимир Вольтерьянович Обнинский -- надумал
жениться.

И это не так бы было смешно -- если бы было неправдой.

Но намечаемая женитьба Казика была самой, что ни на
есть, реальностью. Правда, что до него самого, то он словно еще и
не осознавал ответственности предпринимаемого им шага. Тем
более, что и решил -- не он. Это было желание отца. А что Вольтер
Ибрагимович задумал -- должно было осуществиться.

Невесту Казика Вольтер Ибрагимович нашел сам. Это
была одна из его бывших любовниц, с которой он реализовывал
свои самые смелые фантазии.

Девочке еще не было шестнадцати. И она неожиданно
забеременела от Вольтера Ибрагимовича. Что и решило ее судьбу.
Тем более, Вольтер Ибрагимович рассудил, что пусть лучше у его
сына родится здоровый ребенок. Чем -- если от самого Казика --
такой же полусумасшедший придурок, как и его сын.

Правда, какую-то сложность представляло -- уговорить девушку. Да и самого Казика. Но Рената -- "невеста" сына -- узнав о перспективах более чем обеспеченной жизни (в чем не поспешил ее убедить Вольтер Ибрагимович) с легкостью согласилась. А что до самого Казика, -- то он неожиданно согласился тоже. (Рената, как оказалось, была невероятно похожа на девушку, которая уже сновидение за сновидением делила ложе любви -- в снах... снах... с Казимиром).

.....

Свадьбу решили справлять тут же, на даче. Почти двадцать гектаров -- к этому как нельзя лучше располагали. Вольтер Ибрагимович вообще любил, чтобы всего было много.

Но неожиданно -- запротестовал доктор.

Какое-то время Вольтер Ибрагимович оберегал девушку от общения с ним, считая, что в таких вопросах они справятся и без психиатра.

Но Кадастров настоял на своем. По его словам, патологию лучше выявить на раннем этапе. Тогда не придется и Вольтеру Ибрагимовичу, и его сыну -- да и всем остальным (сощурившись, улыбнулся Кадастров -- мимо как раз проходила Софья Аркадиевна, мама Казика), -- раскаиваться в столь необдуманном шаге.

Вольтер Ибрагимович уже было согласился. Но в последние секунды мысль о том, что психиатр своим расспросами может все испортить -- изменили решение; и Вольтер

Ибрагимович строго-настрого наказал Кадастрову -- заниматься своим делом. И разговаривать только с Казиком.

Несколько удрученный Михаил Викторович отошел в сторону. Ему уже, признаться, надоело своеволие -- уж слишком властного -- Вольтера Ибрагимовича. И он, Михаил Викторович Кадастров, кандидат медицинских наук, вынужден терпеть эти выходки.

Но тотчас же Кадастрову стало еще горше оттого, что он знал: те деньги и тот объем работы, который он выполнял здесь -- он больше нигде не найдет.

А значит -- он просто обязан был терпеть. В целях, хотя бы выживания...

Глава 7

Зачем Вольтер Ибрагимович связался с чеченскими боевиками -- для Кадастрова было неразрешимой загадкой. В деньгах, -- как знал Кадастров, в том числе и от других источников, -- Обнинский недостатка не знал. Уже не один миллион долларов был переведен в зарубежные банки. Да и бизнес как вроде бы, был стабильный. Банк, хозяином которого был Вольтер Ибрагимович -- входил в двадчатку лучших в России. И потому эти периодические приезды горцев -- явно не укладывались в образ добропорядочного бизнесмена.

Но, -- с другой стороны, -- в те месяцы, когда у них гостили горцы, Вольтер Ибрагимович начислял в качестве премии

несколько тысяч долларов ("за молчание", -- считал Кадастров). И, по всей видимости, не только одному ему.

А потому -- и стремления потерять такого щедрого работодателя ни у кого не было. И все молчали, -- так же, как и он. (За время работы у Обнинского весь обслуживающий персонал смог приобрести новенькие автомобили и побывать в разных странах). Денег Обнинский действительно не жалел.

Кадастров всерьез подумывал о докторской... Точнее, -- ему очень хотелось стать доктором наук. Но вот с этой работой?..

С недавних пор Михаил Викторович стал испытывать какое-то... неудобство... И какую-то... тревожность (которая, вероятно, была следствием этого неудобства).

Правда, ему пока удавалось заглушать в себе ее признаки... Переориентируя, быть может, это на что-то другое (точнее, -- искусственно создавая что-то "другое", чтобы уже в нем отыгрывалась симптоматика легкой -- пока легкой -- тревожности и беспокойства).

Но как долго ему удастся протянуть?..

Признаться, то состояние, которое стало все решительнее заявлять о себе -- не было таким уж новым или внезапным. С чем-то подобным Кадастров жил всегда.

Но тогда как раньше, он всегда был на полшага впереди (начинавшейся болезни), -- то теперь -- шансы почти сравнялись.

Но так не хотелось сдаваться!?

Михаил Викторович придумал себе новую работу. Он решил оказывать психотерапевтическую помощь чеченским боевикам. И улучив момент -- обратился с подобным предложением к Вольтеру Ибрагимовичу.

Тот, казалось, загорелся идеей. Сказал, что сам думал об этом да не знал, с чего начать.

Кадастров вызвался все сделать сам. И передал Вольтеру Ибрагимовичу план действий.

Тот остался доволен.

Кадастрову вдвое увеличили зарплату (с премиальными сумма ежемесячного платежа уже зашкаливала за десять тысяч евро). И он стал работать.

И уже только тут понял, что подписал себе смертный приговор.

Горцы действительно оказались боевиками. Но только никакими не чеченскими. А местными -- московскими -- бандитами. Которые входили в бригаду некоего Урлаха, занимавшегося ликвидацией неугодных заказчикам сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и судов... Причем, банда уже существовала пятый год (у Обнинского Кадастров работал почти столько же). И судя по всему -- дела у них шли хорошо.

Но самое страшное (что открылось после того, как Кадастров смог преодолеть первую зажатость интервьюированных боевиков) было то, что бандой руководил родной брат Вольтера Ибрагимовича -- Руслан.

Руслана Кадастров никогда не видел. Тот жил за границей. И руководил всеми действиями -- отсюда.

И на удивление, -- почему-то это обстоятельство необычайно обрадовало Кадастрова. Хотя он начал подозревать, что попросту сходит с ума.

И радуется уже не тому. И занимается...

-- Зачем же я ввязался в это дело? -- думал Кадастров. Он понимал, что теперь действительно ему нет пути назад. Да и эти ублюдки (почти у каждого были, как обнаружил Кадастров, серьезные расстройства психики) почувствовав, что доктор действительно им сможет помочь -- исповедовались с каким-то маниакально-параноидальным желанием действительно исцелиться. Хоть как-то избавиться от тех кошмаров страшный тайн, -- которые хранил каждый из них в себе. И можно было отметить заслугу Кадастрова -- он сумел многим из них помочь.

Нет, конечно же, не сделаться добрее. (Да это было бы и невозможно). Но, бандиты значительно облегчали свою душу -- выплескивая из своего бессознательного то, что, быть может, в иных случаях -- зовется совестью. И им на самом деле становилось легче.

Становилось легче им -- но никак не Кадастрову. После каждого из таких "приемов" -- он становился обладателем бесценной (для правоохранительных органов) информации. И боялся -- не то что говорить кому, но и даже думать об этом. Так же как и знал, что теперь его никогда не уволят. И если он станет совсем не нужен -- просто убьют. (Как выбрасывают старую

губку, впитавшую в себя столько грязи, что уже оказалась неугодной). И таким же неугодным -- может оказаться сам Кадастров. А потому, теперь каждый день Михаил Викторович думал одну единственную думу. (Да еще нельзя было допустить, -- чтобы о его "раздумьях" узнали бандиты. А с момента первых откровений -- Кадастрову было запрещено покидать территорию дачи. И если когда он и делал это -- то знал, что за ним следят. И при первом подозрении -- о чем, впрочем, его как-то и предупредил один из ближайших помощников Руслана -- Агарза -- с ним расправятся).

.....

Но Кадастров совсем и не стремился куда-то уезжать с дачи. Ему теперь выделили отдельный двухэтажный домик, стоявший к тому же несколько в отдалении от основных -- главных -- построек.

В этом домике Михаил Викторович принимал бандитов. Причем ему удалось установить четкое "время приема". И определенные дни. А также оговорить время, -- когда он может быть предоставлен только себе.

Вольтер Ибрагимович пошел на уступки. И Кадастрову хоть немного -- но стало легче.

И вероятно, свалившиеся на него новые обязанности как-то совсем незаметно отдалили желание Кадастрова разбираться еще и в невесте Казика. Чему, признаться, был доволен Вольтер

Ибрагимович. Тем более, что срок свадьбы с каждым днем приближался.

Однако, внезапно возникла еще одна проблема. Казик ни за что не соглашался встречаться с невестой до свадьбы. И это было бы еще вполне поправимо, если бы у той неожиданно не стал расти живот.

И тут уже поистине надо было бить тревогу. Обман мог раскрыться. (Тотчас же Агарза предложил убить девушку. Но это можно было сделать, если бы о ней не знали как о невесте Казика. Теперь уже поздно).

Вольтер Ибрагимович вызвал к себе Кадастров и велел ему использовать любые свои методики, но -- чтобы Казимир переспал с Ренатой. Тем более, что сама Рената -- оказалась более чем заинтересована в том же самом. (В случае свадьбы с его сыном Вольтер Ибрагимович обещал купить ее родителям домик в Дагомьсе. Да еще обеспечить ежемесячную прибавку к пенсии. Так что девушка могла быть уверена, что сможет воплотить мечту отца и матери -- жить на берегу Черного моря -- и быть хотя бы относительно независимыми...).

Кадастров постарался заверить Вольтера Ибрагимовича, что справится. И уже в ту же ночь Казик действительно пошел к Ренате (которая жила в том флигеле, который раньше занимал Кадастров). И почти до утра не смолкали крики и стоны (мужские, женские, и еще черт знает чьи...). И даже Вольтер Ибрагимович изумился потенции своего сына (которого, признаться, считал полуимпотентом). А -- Софья Аркадиевна, мама, подивилась, что ее будущая невестка -- такая чувственная.

Утром молодые не вышли. И только вечером изможденный Казик с трудом вывалился из чуть приоткрывшейся двери на ступеньки. И сидел там несколько часов, не отвечая ни на какие вопросы и не пуская никого к невесте. А потом зашел к ней в домик снова. Точнее, лишь только закрыл он за собой дверь -- как тотчас же упал, засыпая....

На следующий день, когда Вольтер Ибрагимович велел Кадастрову (взяв с собой на всякий случай медсестру и горничную) войти в свое бывшее жилище -- тот обнаружил девушку мертвой. Ее обнаженное тело было помещено на импровизированные качели. Ноги широко разведены в стороны и зафиксированы веревками. Руки оказались заведены назад и пристегнуты наручниками. Грудь, бедра, живот, ягодицы -- оказались настолько искусанными, что еще немного -- и можно было бы задуматься, -- не вмешались ли тут вампиры.

И еще. Как понял Кадастров -- девушка все это время оказалась жестоко насилуемой всевозможными предметами, которые в хаотичном порядке были разбросаны вокруг. Причем, фантазия "убийцы -- насильника" (Кадастров боялся предположить, что это был его пациент -- Казимир) была избирательно-изошренной.

Потому что -- на удивление -- к лицу убитой девушки, казалось, никто и не прикасался. На голову вообще была надета наволочка. В то время как тело -- все было истерзано.

Кадастров замер на месте. Сын Вольтера Ибрагимовича спал тут же, у входа. Медсестра хотела, было, разбудить его -- но Михаил Викторович покачал головой.

Необходимо было четко продумать последовательность действий.

Если допустить, что отец Казика узнает, что натворил его сын -- удар придется в первую очередь на него, доктора. Именно он последним разговаривал с Казимиром. И именно после того разговора -- Казик дал согласие переспать с невестой. А что он ему говорил?.. Так это можно (при случае) повернуть и против доктора. Якобы, например, он, Кадастров Михаил Викторович -- запрограммировал инвалида первой группы и душевнобольного Казимира Вольтерьяновича Обнинского -- на изнасилование и убийство. А девушка (Кадастров взглянул в лицо убитой), по всей видимости, была еще и несовершеннолетняя.

Вопрос?.. -- задумался Кадастров.

Однако, какого-то времени на раздумья не было. Медсестра и горничная переглядывались, явно задаваясь вопросом -- почему медлит Кадастров?

Впрочем, посмотрев на них, Кадастров понял причину их беспокойства. Девушки, так же как и он, переживали за свое будущее. И они хорошо знали, что за такое -- их вполне могли выгнать с работы. Мол, недоглядели. А то и просто, чтобы избавиться от свидетелей, убить.

И как только они подумали об этом -- тотчас же им стало страшно.

Они, конечно же, видели всех этих людей в бронезилетах, которые постоянно присутствовали на даче. Замечали, что одни периодически уезжают, другие приезжают. Медсестра, та вообще, знала и о ранениях, которые в мирной жизни -- могли быть получены только в каких-то бандитских разборках. А верить в то, что все эти люди -- представители спецслужб?.. Это оставьте для других... Тех же самых спецслужб, например...

-- Закройте поплотнее дверь, -- распорядился Кадастров, -
- который уже принял решение.

Правда, само решение?..

Но тут уж он решил полностью положиться на свой опыт и знания. Да и над девушками придется усилить контроль. Кадастров с удовлетворением подумал, что те сексуальные оргии, которые он когда-то учинял с обслугой дачи -- медсестра и горничная тоже входили в число их участниц -- теперь оказались весьма кстати. За время "общения" -- в том числе и психотерапевтического -- он как никто другой знал внутренний мир каждой из них. А потому был уверен -- девушки не способны на самоуправство.

Суть предложенного Кадастровым вкратце была такова. Они создают иллюзию, что невеста -- умерла в постели. Причина -
- слишком бурные занятия сексом во время беременности (о беременности ему признался Вольтер Ибрагимович. А от кого --

Кадастров догадался уже сам). Тем более, стоны слышали все. И болезнь Казимира -- была как нельзя кстати. (Тем более, Кадастров, если потребуется -- обоснует для Вольтера Ибрагимовича специфику сексуальной жизни его сына, до двадцати семи лет остававшегося девственником и решившим в одночасье претворить с невестой все свои накопившиеся фантазии).

Так же Кадастров убедит Вольтера Ибрагимовича -- тайно вывести и захоронить труп (а еще лучше -- вывести, сжечь, и для надежности -- зацементировать прах где-нибудь под строительством какой-нибудь из многоэтажек). Родители же девушки -- пусть остаются в неведении. (Кадастров знал, что Рената им ничего не говорила о будущей свадьбе, богатом женихе и, -- тем более, -- о своей беременности). А еще лучше -- устроить родителям Ренаты "несчастный случай". Чтоб никогда и не возникало желания -- искать дочь. (Но об этом Кадастров -- внимательно слушавшим его девушкам не сказал. Он в этом убедит Вольтера Ибрагимовича).

Михаил Викторович Кадастров был уверен, что Вольтер Ибрагимович не заинтересован поднимать панику. Всем остальным (кто видел Ренату на даче) скажут, что свадьба не состоится, девушка уехала домой (для этого Кадастров даже придумал найти похожую девушку, тайно привезти ее на дачу и сделать так -- чтобы ее увидели все).

.....

В последующие несколько дней -- Вольтер Ибрагимович (который за время обработки Кадастровым -- впал почти в полное -- бессознательное -- подчинение к нему) сделал все так, как рассчитал Михаил Викторович Кадастров. (Правда, с родителями Ренаты он поступил по-своему, послав одного из своих помощников, который привез родителям документы на домик в Дагомысе, заверив тех, что их дочь вышла замуж за иранского шейха и уехала на Родину мужа. Любовь, мол, и все такое. А возраст, по которому в той стране можно вступать в брак -- с тринадцати и до семнадцати. После чего невесты считаются старыми).

И еще. Каждый месяц Вольтер Ибрагимович стал посылать родителям Ренаты по пятьсот долларов.

...А еще через полгода -- те погибли при загадочных обстоятельствах -- сгорев в собственном доме. Следствие удовлетворилось заключением экспертов -- пожар произошел вследствие неисправности проводки.

Глава 8

Борис Андреевич Вешнецов, раздумывая, остановился перед дверью в одном многоквартирном доме. Бумажку с адресом он все еще держал в руке (уже в десятый раз сверяя номер, указанный там -- с номером на двери). Все сходилось. И дом, он знал, был тот. И подъезд, и этаж -- выбраны верно. Но что-то мешало ему надавить красную выпуклость звонка.

-- А ведь может быть так, что звонок не работает, -- подумал Вешнецов, и рука его бессознательно потянулась к звонку. Но он возвратил руку назад.

-- Я все-таки ошибся, -- в который раз уверял себя Вешнецов. Более того, видеть человека (а это была дама), которая должна была ему открыть дверь -- он не хотел. Быть может, боялся? Или он боялся того, что вместо нее сможет открыть кто-то другой. И тогда ему придется объяснять, зачем ему нужна Ольга Аркадиевна Маер.

-- Но нужна ли она мне? -- подумал Вешнецов, и в следующие несколько секунд все было покончено. Ему удалось убедить себя -- что Ольга ему не нужна. А раз так... Раз так -- то, что он здесь, собственно говоря, делает?

Вешнецов резко повернулся, собираясь спуститься с лестницы (на лифтах он ездить опасался), как услышал вопрос, -- тот же самый вопрос, который только что задавал себе.

-- Что вы здесь делаете? -- строго произнес мужчина лет пятидесяти, который недоуменно и, как показалось Вешнецову, несколько испуганно смотрел на него.

Гершензон, -- а тем мужчиной был именно он, -- впервые за несколько месяцев решил выйти на улицу (с издательством и остальным миром он сотрудничал исключительно через Интернет). И пробыл-то там не больше часа. Но это словно вселило в него какую-то уверенность. На место которой, впрочем, вскоре все равно пришел страх. И вот теперь он уже четверть часа стоял на лестничной площадке этажом ниже (пользоваться лифтом Гершензон тоже боялся) и ждал, пока кто-то, кто стоял на его лестничной клетке -- уйдет. (Ну, в смысле, зайдет в какую-нибудь

квартиру). За время ожидания у Гершензона последовательно сменились: тревога -- беспокойство -- уверенность -- снова тревога, беспокойство, -- и снова уверенность в себе, и снова -- переполнение счастьем, -- от ожидания рождающегося в его мыслях проекта. Который следовало срочно зафиксировать на бумаге. А этот тип -- мешал.

И когда Гершензону стало невмоготу -- он решился (как-нибудь бочком) протиснуться мимо незнакомца, чтобы поскорее попасть в свою квартиру.

Надо ли говорить, что выражали его глаза? Испуг?.. Удивление?.. Страх?.. Когда он заметил, что стоявший на его лестничной клетке незнакомец -- периодически то подносит, то отдергивает руку от звонка именно его, Гершензона, двери!? В голове Викария Германовича тотчас же пронеслось множество возможных комбинаций развития сюжета. И ни один из них не заканчивался для него положительно.

-- Может, он пришел к Ольге? -- с надеждой подумал Гершензон, но уже тотчас же -- цепочка новых откровений (среди возникших в его подсознании картинок явно выделялась измена), - - пронеслась перед ним. Гершензон хотел, было, отступить, но что-то помимо его воли -- вынудило обратиться к незнакомцу, разрешив намечавшийся конфликт между сознанием и бессознательным.

Теперь уже и спастись бегством действительно было поздно.

-- Я... я... -- замялся незнакомец, тем самым, добавив Гершензону новую порцию неприятных -- и пугающих его --

мыслей. -- Я... я... -- силился что-то сказать Вешнецов, как вдруг дверь нужной ему квартиры отворилась, и Ольга (собравшаяся, видимо, куда-то уходить) застыла в недоумении, обводя взглядом то незнакомого мужчину, то Гершензона, который смутился еще больше. А мужчина же вообще, казалось, готов был заплакать.

-- Что здесь происходит? -- спросила Ольга, и по ее телу пронеслась какая-то дрожь надвигающейся беды. -- Вы ведь... шли ко мне?

-- Да, -- с трудом выдохнул Вешнецов, и тут пришлось удивляться Гершензону, который думал, что Ольга обращается к нему, и ответил так же.

Глаза Ольги готовились лопнуть от удивления. Но она уже взяла себя в руки, а потому, открыв уже было захлопнутую дверь, -- пригласила Вешнецова войти. А заодно -- (Ольга взглянула на топчущегося на одном месте Викария Германовича) - и Гершензона. Причем, когда она посмотрела на Гершензона, тому показалось, что на лице Ольги промелькнула какая-то презрительная усмешка. Но, может, ему только показалось...

Однако, стоило только Викарию Германовичу сделать несколько шагов, чтобы войти вслед за знакомцем и Ольгой, -- как дверь перед ним захлопнулась.

-- Сквозняк, -- пояснила Ольга, открыв дверь и поймав испуганный взгляд Викария Германовича.

Приход Вешнецова объяснялся просто. Он действительно перепутал квартиры. Точнее -- улицы. Он как-то не подумал, что в

одном и том же городе может быть два Приморских проспекта, расположенных, при том, в разных районах Петербурга.

Но... ни Ольга, ни Гершензон, отчего-то не хотели отпускать Вешнецова. Да и самому Борису Андреевичу -- уходить вовсе не хотелось. Он вдруг почувствовал какое-то успокоение с этими, совсем ему неизвестными людьми. И где-то похожее чувство -- было и у них.

Но больше всех Вешнецов понравился Ольге. Она вдруг увидела в этом, чуть заикающемся человеке -- Бурляева. Ныне покойного Бурляева, который вдруг, -- казалось, -- воскрес, перевоплотившись в... Вешнецова.

А Вешнецов, словно почувствовав интерес Ольги к своей персоне -- теперь большей частью обращался исключительно к ней.

Гершензон, слушая Вешнецова, тоже с трудом отгонял прочь ассоциации со своим покойным другом (после самоубийства Бурляева, Гершензон вспоминал о нем, только как о своем друге). Ему казалось, что так просто не может быть. Притом, что даже внешностью Вешнецов походил на Бурляева. Такой же, лысеющий спереди, череп, такие же живые глаза (в минуту опасности становившиеся испуганными). Та же -- ухмылка.

И то же самое -- обаяние. Даже ростом и весом они оказались схожи.

Но что еще больше смутило Гершензона (да и Ольгу), -- это то, что Вешнецов был... математиком. А ведь именно математиком, -- признался им незадолго до своей смерти Бурляев,

-- он хотел стать. Несмотря на свои увлечения музыкой и историей.

Причем, создавалось впечатление, что Вешнецов жил исключительно в мире теорий да уравнений. С большой неохотой отрываясь от них для общения с внешним миром. И почти всегда в таких случаях с ним случались ситуации, -- схожие с нынешней.

Он вообще всегда попадал в какие-нибудь приключения.

Из которых только по такому же недоразумению -- он выбирался.

Было заметно, что Вешнецов жил в вечном конфликте между своим эго -- и внешним миром. И кто чаще одерживал победу -- догадаться было несложно.

Глава 9

Казика мучили какие-то странные сны. И несмотря на то, что Кадастров подстраховался, и помимо психотерапии использовал для обработки его сознания еще и фармакологию, -- это Казимиру не помогало. Может оттого, что таблетки он выбрасывал?

Впрочем, Кадастров, вероятно, о том знал. Но почему-то не придавал этому серьезного значения, считая, вероятно, что Казик особо ничего и не помнит с той ночи. А если и были какие-то воспоминания -- то он держит их под контролем.

Михаил Кадастров действительно был уверен, что Казимир находится под его контролем. И -- не только он.

После той злополучной ночи влияние Кадастрова заметно укрепилось и в отношении Вольтера Ибрагимовича. Если шеф еще как-то сопротивлялся до того, то смерть девушки явно выбила его из колеи. И в образовавшуюся нишу в сознании хлынул поток информации, методично вбиваемой в него -- Кадастровым, который неожиданным образом почувствовал свою силу и власть -- перед Вольтером Ибрагимовичем. А заодно (что пока было необъяснимо для Михаила Викторовича), -- и укрепил свою репутацию перед бандитами.

То ли соучастие в убийстве неким образом повлияло на его авторитет. То ли это убийство -- и главным образом, сокрытие его -- повлияло на исчезновение у Кадастрова каких-то внутренних барьеров, но шлюзы словно открылись; и Кадастров стал намного увереннее в себе.

.....

Он даже внешне изменился. На смену погруженного вглубь себя ученого, -- пришел раскрепощенный и раскованный в осознании своей значительности доктор-психиатр. И если раньше между ним и остальными была глухая стена (а общение было возможно через небольшую калиточку в этой стене), то теперь ситуация поменялась. И между Кадастровым и остальными -- была только нейтральная полоса, по которой Кадастров позволял ходить всем. Кто... не боялся его.

.....

Вольтер Ибрагимович заметил, что его психиатр -- упрочил свои позиции. Теперь никто (в том числе и сам Вольтер Ибрагимович) не мог так-то уж давить на Кадастрову.

Михаил Викторович был носителем страшной тайны. И, видимо, осознание этого -- и придавало ему в его глазах -- величие.

Но Вольтер Ибрагимович знал о том, что случилось в ту ночь. И не только потому, что он давно уже не доверял никому и разместил по всему дому скрытые видеокамеры. Просто, когда тело Ренаты вывезли с дачи -- он распорядился сделать тщательную экспертизу. И причина смерти подтвердила данные камер наблюдения.

Вольтер Ибрагимович оценил также и испуг Кадастрову. И совсем не собирался принимать в отношении него каких-то мер. Кадастров его вполне устраивал. И был ему нужен. Да и... привык он к нему, по сути.

Вот только...

Уже несколько месяцев Вольтер Ибрагимович не мог отделаться от ощущения, что Михаил Викторович Кадастров -- сходит с ума.

В иные разы это проявлялось настолько ярко, что Вольтер Ибрагимович стал подумывать о последствиях, которые может принести подобное "самовольство" со стороны Михаила

Викторовича. Особенно учитывая то, что он, по сути, являлся неким носителем информации.

И не только отпустить, но и допустить того, чтобы хоть часть этой информации просочилась за пределы дачи, -- было немислимо. Хотя и просто убить этого полусумасшедшего врача -- было бы, пожалуй, ошибкой.

Впрочем, Руслан, с которым Вольтер Ибрагимович недавно встречался в Чехии (где брат сейчас скрывался), предложил вообще продать бизнес и перебраться к нему. Вольтер Ибрагимович понимал, что тучи над Русланом начинают сгущаться. Хотя и, -- объявленный в розыск Интерполом, -- он несколько не походил на загнанного зверя. А подумывал и вовсе -- сделать последний рывок, -- а потом перебраться в ту страну, в которой не было практики экстрадиции. Причем, Руслан предлагал вообще уничтожить всю службу -- как стопроцентных свидетелей. А заодно и подумывал над тем, чтобы это сделать в форме какого-нибудь бандитского налета на дачу банкира Обнинского, где во время перестрелки оказались бы убиты и охрана, и служба, и... За исключением самого Обнинского да сына (жене Вольтера Ибрагимовича Руслан предрек участь остальных. Да она никогда ему и не нравилась. И если бы не брат -- он давно уже самолично пристрелил бы эту "сучку").

Но это был бы слишком оптимистичный расклад. Намного реальнее было то, что почти полсотня бойцов во главе с Агарзой (которому в предполагаемом плане была предоставлена полная свобода действий, и Руслан знал, что Агарза все равно выживет) -- смогут достаточно долго сдерживать отпор нападающих. В подземном бункере находилось оружия и

боеприпасов на небольшую армию. К тому же, там стоял настоящий танк. И два БТРа. Кроме того, было два ракетных комплекса и стингер. Так что, против атаки с воздуха -- можно было защититься тоже.

В итоге, несмотря на появившееся было у Вольтера Ибрагимовича желание разом решить все проблемы -- он вынужден был смириться с тем, что это сделать (по крайней мере - пока) невозможно. Иначе пришлось бы не только перестрелять большую часть людей (находившихся в близком соседстве с ним), но и... наверное, -- самому себе подписать этим приговор. А -- ни уезжать из страны, ни, тем более, заканчивать свою жизнь -- Вольтер Ибрагимович был не намерен.

А потому он просто оставил все -- как есть. И решил сосредоточить свое внимание -- на работе. Тем более, за время всех пертурбаций, -- он несколько ослабил свои позиции в бизнесе. А планы... планы у Вольтера Ибрагимовича были большие. И он совсем еще не сказал свое последнее слово...

Глава 10

Что-то заставляет меня вернуться к фигуре Вольтера Ибрагимовича.

Что до моей встречи с ним, то произошла она, -- в первый раз, -- почти совсем и случайно.

Я тогда начала как-то тесно общаться с Касьяновым. Каким-то образом я даже понимала, что все больше и больше влюбляюсь в этого человека. И почему-то совсем не могла противиться этому желанию. Что-то давно уже было... притягательное в его личности.

Именно Касьянов познакомился с Вольтером Ибрагимовичем. Вернее, тот -- вышел на него. Как раз, как я поняла, Вольтер Ибрагимович носился тогда с идеей сменить Кадастрову. И уже вроде бы рассматривал на его место -- именно Касьянова. (Касьянов, правда, отказался. Но тогда переговоры были в самом разгаре). В одну из наших встреч (я заехала за Касьяновым на работу), -- Петр мне и представил сидевшего в его кабинете Вольтера Ибрагимовича Обнинского.

Могу сказать, что я сразу заметила загоревшиеся глаза Обнинского. И как обычно, всем своим видом показала пренебрежение к его интересу. (Чем, вероятно, еще больше расположила его к себе).

Потом мы еще несколько раз встречались с Обнинским. Один раз он пригласил нас с Касьяновым на какую-то вечеринку в закрытом ночном клубе; затем я, случайно встретившись с Вольтером Ибрагимовичем на Невском -- согласилась -- в ответ на его просьбу, причем он всячески показывал свою зависимость от меня -- зайти в ближайший ресторан.

Были и еще несколько встреч. Достаточные, думаю, чтобы позволить мне составить то мнение о нем, которое, в принципе, у меня осталось и до сих пор.

.....

Я увидела Вольтера Ибрагимовича Обнинского, наверное, совсем с другой стороны, нежели чем знали его остальные. Хотя по сути каждый человек -- общаясь с другим -- видит (или хочет видеть) в том -- что-то свое. И уже в зависимости от этого -- он или прекращает общение с ним, или, наоборот, -- сближается.

Что до меня -- к Обнинскому я оставалась весьма равнодушной.

Чего почти совсем нельзя было сказать о нем.

Но уже как бы то ни было, -- за время наших встреч (носящих полуофициальный характер. Точнее -- я продолжала себя вести официально, тогда как Вольтер Ибрагимович все больше раскрывался передо мной) у меня сформировался определенный портрет Обнинского. И замечу, изначальное мнение почти совсем не изменилось и потом. Лишь, быть может, как-то скорректировалось.

Вольтер Ибрагимович Обнинский, несмотря на свой крутой нрав (и внешнюю проекцию угрозы, влияния и бескомпромиссности), в душе оставался все тем же абреком, которого, видимо, били в школе, унижали дворовые ребята, презирали -- одноклассники.

И тогда уже все, что в нем было сейчас (эти нахмуренные брови, жесткие черты лица, злая усмешка...) большей частью было

наносное, приобретенное, -- за время его вынужденного приспособления к жизни.

И я не могла ошибиться.

К тому же я заметила одну черту Обнинского, о которой (ненароком поделившись своими предположениями с Касьяновым, и получив его утвердительный кивок головой) Вольтер Ибрагимович, видимо, совсем не хотел, чтоб знали другие.

Обнинский был мазохист. С некоторым, быть может, садистским уклоном.

Причем в обычной жизни это почти не проявлялось (Вольтер Ибрагимович не употреблял алкоголя, видимо, боясь раскрыться с другой стороны). Но тем было и интересней, наблюдая за властными манерами банкира (и, вероятно, владельца значительного состояния) Обнинского, -- знать о его зависимости.

Не знаю, позволял ли Вольтер Ибрагимович в постели проявляться сидящему в нем подчинению (с ним я не спала), -- но мазохизм Обнинского явно просматривался в скрытой, латентной форме своего присутствия в бессознательном этого человека.

Впрочем, с какого-то времени я потеряла интерес и к Обнинскому, и к Касьянову, и к Гершензону, да и вообще к чему бы то ни было.

Я была поставлена перед одним фактом, который необходимо было разрешить. Срочно. Пока не наступили бы необратимые последствия.

И я на время исчезла с горизонта всех людей, с которыми еще недавно (в той или иной степени) общалась.

Глава 11

Сеченов вдруг начал испытывать какие-то сомнения. Эти сомнения ничего конкретного не касались. И даже не имели, как будто, под собой какой-либо основы. Но... они ведь были?!

Рудольфу Самуиловичу вдруг стало как-то... неуютно жить. И причина, -- как предполагал он, -- могла быть связана только с его пребыванием в Америке.

Причем, никаких проблем в этой стране у него не было.

Сеченов на редкость удивительно быстро вписался в быт американцев. И уже через совсем непродолжительное время, настолько непринужденно стал разговаривать на английском, что никаких сомнений в том, что он все больше и больше становится американцем -- у него не было.

Вот только... жена Сеченова... Джулия Смит, как мы уже заметили, была чернокожей. И поначалу Сеченов (ставший, как помним, Рикки Смитом) не только не обращал на это никакого внимания, но и неожиданно открыл в себе столь значительное сексуальное желание (выражавшееся порой, правда, почти

исключительно в девиациях), -- что не раз бессознательно приветствовал цвет кожи Джулии. Явно подпадая под стереотип о животной страсти негроидной расы.

Но вскоре все изменилось. Утолив свой сексуальный голод (в последнее время в России связей с женщинами у Сеченова не было), -- Сеченов вдруг словно проснулся от сна.

Вокруг него находились негры.

Эти негры почти не обращали внимания на него.

Их всегда было много.

У них было много друзей, родственников и знакомых.

И через какое-то время, Сеченов готов был взвыть, не зная, собственно, куда же ему спрятаться.

А проблема... (Ведь это, получается, действительно проблема)... проблема значительно усугубилась еще и тем, что в самом начале своих отношений с Джулией (точнее, -- уже был период брачных отношений), Сеченова действительно переполняла сексуальная энергия. И, помимо Джулии, у него было несколько сексуальных контактов с двумя ее сестрами.

Одна из сестер была замужем за развозчиком пиццы. А потому, каким-то образом была напугана мужем (уверявшим, что может легко обнаружить: изменяет ему жена или нет) и делала Сеченову только минет. Причем, все случалось достаточно хаотично; он даже так ни разу и не прикоснулся к ней. Как и не видел ее обнаженной. Девушка всегда выжидательно смотрела на него. Видимо замечала в его взгляде что-то, дающее ей "добро", опускалась перед Сеченовым на колени и...

Можно сказать, что эта чернокожая девушка настолько умело делала то, чем занималась с Сеченовым, что компенсировала "запрет" на какую-то дополнительную форму сексуальных отношений. Тем более, что какие-либо запреты с лихвой игнорировала другая сестра Джулии. Носила она какое-то еврейское имя Розана, но в постели вытворяла действительно чудеса. И на каком-то этапе Сеченов даже задался вопросом: а хватит ли у него сил -- еще и жить с супругой?..

Но супруга, Джулия, являла собой такую поразительную сексуально-- мазохистскую зависимость, что у Сеченова не встать -- просто не мог. (Что-то так перещелкивало в его мозгах, что сексуальное желание появлялось словно и ниоткуда).

Впрочем... Сеченов явно был психически болен... И то, что он изменил имя и фамилию, -- словно подсознательно надеясь обмануть болезнь, "закрепившись" в другом образе -- совсем ничего не меняло.

Ну, может быть, изменило только на какое-то время.

А потому уже через время Рудольф Самуилович просил хотя бы в семейном кругу называть себя своим настоящим именем, которое с трудом и пытались выговаривать его чернокожие родственники.

.....

Работать в Америке Сеченов не мог. У него и в России-то были сложности (связанные, большей частью, с коммуникативным контактом). Но здесь, никто его ненормальность (как выразился один, как казалось Сеченову, из потенциальных работодателей) терпеть не будет. (Когда Сеченов несколько раз откладывал свое первое собеседование, ссылаясь на неважное самочувствие).

И, наверное, именно то, что его прежние состояния внутреннего кошмара вернулись, вызвало у него желание вернуться обратно в Россию. Там его хотя бы понимали и не столь строго относились к его странностям. Здесь же, не высказывая никаких претензий, -- с сумасшедшим Рикки Смитом просто перестали общаться.

О чем он почему-то очень сильно переживал.

Но даже не это сейчас, -- в его переживаниях, -- было главное.

А все дело в том, что уже неделю как, Сеченов не мог отказаться от странного желания -- стать президентом Америки.

Ситуация казалась еще более бесперспективной и потому, что стать президентом, -- Сеченов не смог бы никогда. (Для этого, в соответствии с конституцией США -- он должен был, как минимум, родиться на ее территории). Да и к тому же, Сеченов никогда не занимался не только политикой, но и имел внешность -- откровенного сексуального извращенца. Да еще этот безумный взгляд...

Сеченов боролся с таким желанием, объяснял сам себе, что дело изначально бесперспективное, но... себя изменить он не мог.

И когда он в мучительнейших раздумьях прохаживался по Гарлему (слух о сумасшедшем русском, женившемся на черной и мечтающем стать президентом США -- уже облетел весь квартал), то рядом с ним притормозила машина, и за медленно опустившемся стеклом -- Сеченов разглядел... Венгерова.

-- Садись в машину, -- распорядился тот.

(-- Я, наверное, ошибся, -- подумал Сеченов. -- Или мне это привиделось).

-- Быстро -- садись в машину, -- повторил... Венгеров ("неужели это был действительно он"?!)

.....

Я не знаю, о чем думал Сеченов во время разговора с Венгеровым. Мне даже, пожалуй, затруднительно ответить: насколько хорошо они знали друг друга в России.

Но уже было наверняка, что еще до их первого знакомства и тот, и другой были наслышаны друг о друге от нас (меня, Викария...).

Правда, мне всегда казалось, что Венгеров довольно пренебрежительно относился к Сеченову. Видно, угадывая в нем явную патологичность мышления и не желая даже пытаться

расположить его к себе (что у Венгерова всегда очень и очень выходило).

Что до Сеченова, -- то он Венгерова даже как-то побаивался. Видимо, чувствуя, что этот человек с ним играть (как все другие, принявшие Сеченова таким, как он есть, со всеми его проблемами и внутренними противоречиями) не будет. А потому Рудольф Самуилович как-то подсознательно держался от Венгерова поодаль.

И потому он вероятно долго не мог прийти в себя, увидев покойного (известие о заказном убийстве Венгерова и Серегина появилось тогда в новостях), -- наяву.

Да не просто наяву, а пытающегося прощупать его на предмет...

-- Черт те что, -- выругался Венгеров. -- Ты как будто совсем не понимаешь, о чем я тебе говорю?!

-- Не понимаю, -- качал из стороны в сторону головой Сеченов. -- Ведь Вас нет. Вы призрак.

-- Да какой к черту призрак?! -- начиная выходить из себя, снова выругался Венгеров.

-- Но ведь я сам видел сводку новостей, где говорилось...

-- Я выжил, -- перебил его Венгеров и колючим взглядом просверлил Сеченова.

Тот инстинктивно съежился.

Сеченов вообще всегда подспудно ожидал, что собеседник ударит его. Причем, не именно Венгеров. Агрессии со стороны тех, кто общался с ним, Сеченов ждал всегда. Потому и

старался не говорить слов, которые могли бы, хоть как-то спровоцировать ярость других.

-- ...Теперь о деле, -- произнес Венгеров, и Сеченов почувствовал в его голосе такую жесткость и уверенность, -- что еще ниже опустился, словно всем своим видом демонстрируя зависимость от Венгерова.

Тот оценил жест. А потому, уже мягче, -- вкратце объяснил Сеченову, -- чего он, собственно говоря, от него хочет.

Глава 12

Венгеров тогда действительно выжил.

Правда, если быть еще справедливей, -- на месте трагедии был не он. Уже решив ехать, Владимир Сергеевич послал вместо себя двойника (с недавних пор такой находился на его содержании). И когда узнал о том, что случилось -- одновременно и порадовался, и огорчился. Причем, огорчение было не только из-за того, что погиб человек, не только внешне походивший на него (почти как близнец), но и внутренне, в душе, -- у них тоже наблюдалось заметное сходство. Тем более, Венгерову потребовалось приложить много усилий, чтобы найти его.

Специально учрежденное им агентство (обращаться куда-то было нельзя, поиски нужно было сохранить в тайне), -- несколько лет отсеивало субъектов, которые, хоть и были чем-то похожи на Венгерова, но им явно чего-то недоставало. Да и взбешенный Венгеров одним махом как-то отсеял с десятка

кандидатов, пригрозив директору агентства -- увольнением. Да и уволил бы, если бы тому -- уже на следующий день после инцидента -- не подвернулся претендент, которого даже и он вначале перепутал, приняв того за Венгерова.

...Работал тот человек каким-то профсоюзным лидером на одном из заводов Урала. И, признаться, потребовались определенные усилия -- уговорить его ничего не делать и получать за это деньги.

Тот просто никак не мог взять в толк, -- что такое не только возможно, но и предлагается ему.

Но после встречи с Венгеровым сомнения двойника разрешились. Венгеров и без того славился умением располагать к себе людей. Ну а когда ему пришлось говорить с двойником -- то он словно бы разговаривал с самим собой. А уж с собой -- договориться он умел.

.....

После последнего покушения -- Венгеров, быть может, впервые, -- серьезно испугался. Уже то, что убийцы решили повторить покушение -- говорило о серьезности их намерений. И теперь ни какие доводы про то, что первое и второе покушения были случайны (как, бывало, говорило ему подсознание) становились неуместны. Было ясно, что именно неудачное первое покушение -- вынудило заказчиков решиться на второе. И это было уже действительно серьезно.

Ну и кроме того, -- Венгерову действительно стало казаться, что его смерть была не только кому-то нужна, но и... была бы оправданной.

В итоге -- Венгеров не только решил на время затаиться, но и вовсе уехать из страны.

Благо, что теперь действительно появилась возможность скрыться. Убийцы были уверены, что заказ выполнен. Венгеров (а то, что тогда именно на него, а не на Серегина было покушение -- он не сомневался) был убит.

И ему оставалось только сделать себе новый паспорт и легально, -- начать жить под другим именем. И -- в другой стране.

Мало кто знал, что у него помимо дяди в Канаде, -- были еще и родители в США. Но, побоявшись пока ехать к ним (как оказалось, родителей его к тому времени уже не было в живых), -- Венгеров остановился в Канаде. Тем более, дядя не только любил его (а теперь вдвойне -- как единственного оставшегося в живых родственника), но стал местным миллионером. Владельцем какого-то модного журнала (что, признаться, Венгерова удивило. Он всегда считал, что тот работал зубным врачом, как и в Союзе).

.....

Дяде не составило большого труда, -- по просьбе Владимира Сергеевича, -- представить племянника -- своим незаконнорожденным сыном. Подобный маскарад еще был нужен и потому, что таким образом Владимир Сергеевич -- взял

фамилию дяди. И теперь, он стал -- Джонни Венгеровски. А значит, -- был уже совсем другим человеком. Любые поиски его (если бы кто вдруг все же решился на такие; хотя это исключалось еще и потому, что Владимир Сергеевич Венгеров -- был похоронен. И любой желающий мог прийти к нему на могилу) оказались бы не то что затруднительны, но и просто невозможны. В том плане, что результат бы был -- отрицательным.

.....

Прошло время. Венгеров, с трудом привыкая к своей новой фамилии (хотя, по сути, в ней мало что и изменилось -- просто как-то переиначилось на американский лад), все чаще задавался вопросом: как жить ему дальше? То есть, с одной стороны, -- он вполне мог действительно начать новую жизнь. И дядя даже предложил поспособствовать этому (один из местных университетов, вроде бы, готов был пригласить его на кафедру энтомологии). Но, вот, с другой...

С другой стороны, Венгерову хотелось отомстить. И это желание уже настолько завладело его сознанием, что он на полном серьезе подумывал: как заинтересовать в том вопросе дядю.

Притом, что явного интереса у дяди, -- конечно же, -- просматриваться и не могло. (Да и тогда пришлось бы -- хоть частично -- вводить его в курс дел. Что Венгеров исключал полностью). Но вот Владимиру Сергеевичу очень хотелось задействовать финансовые возможности дяди... Да и связи не помешали бы. А потому, -- в один из дней -- Владимир Сергеевич - - решившись на разговор с дядей -- все откровенно ему рассказал.

Но вместо какой-то радости (от факта свершившегося события), -- почувствовал... неудовлетворение.

Да что там. Ему стало попросту стыдно. ("Неужели такое позабытое чувство появилось у него"?). Потому что по его рассказу выходило, -- что сам Венгеров -- позиционировался исключительно в роли жертвы. Тогда как другие, -- не иначе как, -- злым окружением, вокруг честного парня Володи Венгерова. (Самому Володе к тому времени уже было под пятьдесят).

Но... так действительно получилось.

И Венгеров совсем ничего не мог с собой поделать.

Хотя... пытался...

Скажем сразу, -- что дядя Венгерова (этот семидесятипятилетний старик, выглядевший значительно моложе своих лет, и, -- словно подтверждая свою молодость, -- имевший двадцатилетнюю любовницу), -- вначале как будто загорелся идеей отомстить. Вспомнив молодость (молодость дяди прошла в колонии сначала усиленного, потом строгого режима. И только после четырех сроков "за мошенничество", -- он решил остановиться. Для чего сначала и придумал легенду о зубном технике, -- которым якобы был, хотя действительно учился на него, получив первый срок на четвертом курсе), -- Джонни Венгеровски (в Союзе он был Евгением Макаровичем Венгеровым) решил поднять свои связи, чтобы найти и наказать обидчиков любимого племянника. Правда, первоначально он решил все тщательно проверить. И немного удивился, узнав, что действительность немного отличается от той, какой ее представил Володя. А потому, еще какое-то время поразмыслив (но больше

для порядка, решение он уже принял), -- Джонни Венгеровски, спустя некоторое время, племяннику отказал. Пояснив, что в России его действительно все считают покойным. А потому самое целесообразное, действительно, в их памяти и остаться таким.

Венгеров, услышав подобный расклад, -- пожал плечами, всем своим видом показывая, что он с радостью примет любое решение от дяди.

Но уже через неделю, вылетев по делам издательства в Нью-Йорк (Венгеров стал работать в журнале дяди), -- Владимир Сергеевич встретился с Сеченовым. (Нанятый Венгеровым детектив, доложил, что интересующее его лицо -- Сеченов -- хотя интересовали его и Гершензон, и Ольга, если бы они оказались на территории США или Канады -- проживает в Нью-Йорке, в Гарлеме, женившись на чернокожей американке, и уже получив гражданство США).

Щедро заплатив детективу (Венгеров вообще всегда любил сорить деньгами), -- Владимир Сергеевич, как мы помним, встретился с Сеченовым.

Рудольф Самуилович (теперь, -- как пояснил детектив, того звали -- Рикки Смитом), являл собой жалкое и убогое зрелище. Его и без того безумные глаза -- теперь казались еще более безумными. А лысый череп не только притягивал взоры, но и рождал самые негативные ассоциации, если отталкиваться от теории Ломброзо.

К тому же, Рудольф Самуилович (Венгеров проигнорировал его желание -- о чем несколько раз умоляюще попросил Сеченов Владимира Сергеевича -- называть его новым именем; при том что сам Венгеров не захотел раскрывать перед ним свою новую жизнь, представившись тому именно как Владимир Сергеевич Венгеров) являл собой настолько жалкое зрелище, что совсем даже не думал как-то сопротивляться мощному напору Венгерова. Всем своим видом показывая такую зависимость, что Венгерovu даже немного оказалось стыдно. Но он отогнал от себя это чувство. И наоборот, -- теперь все его -- и слова, и жесты были направлены исключительно на еще большее подчинение Сеченова. И каких-либо возражений от того, -- он не принимал.

Даже более того. Венгерovu показалось, что Сеченов словно и ждал, что появится кто-то, кто начнет подчинять его. Давно заигравшись в своих любовных отношениях, Рудольфу Самуиловичу в душе хотелось совсем другого. Все-таки, по своей природе больше привык подчиняться, -- именно он. А его желание властвовать (все эти садо-мазохистские игры с женой и ее сестрами), -- не иначе как "временное замещение недостающего". И потому, можно сказать, что он давно уже жаждал оказаться в своей прежней роли. Когда бы бразды контроля, -- а значит, и ответственность, -- принадлежала не ему, а кому-то другому. Кому это было значительно ближе; и "в свете тени от него", Сеченов бы тоже смог чувствовать себя увереннее.

В Америке такого человека не находилось. Да и Рудольф Самуилович, -- просто испугался бы довериться кому-то. Все-таки,

эта страна (даже несмотря на то, что Сеченов с недавних пор являлся ее гражданином) казалась Рудольфу Самуиловичу страшной и опасной. И... чужой. Несмотря на, -- какие бы то ни было, -- его заверения, которые главным образом происходили публично.

Правда, и Россия его отвергла. Сеченов даже и сам чувствовал не слишком понятное (непонятное с учетом того, что он прожил там больше сорока лет) отторжение от бывшей родины. И уж наверняка (минутные слабости не в счет), -- ни за что не хотел на родину возвращаться.

Да его, собственно говоря, никто и не заставлял. Вот разве что Венгеров?..

.....

Как только Рудольф Самуилович увидел Венгерова -- ему тотчас же показалось, что Владимир Сергеевич приехал специально, чтобы забрать его с собой в Россию.

А потом Сеченов вспомнил, что Владимир Сергеевич Венгеров, -- вроде бы был убит. И ему стало не по себе.

И уж что почти верно стал чувствовать Сеченов, -- это то, что Венгерова почему-то всегда хотели убить (Сеченов знал как минимум о двух подобных покушениях). И Рудольф Самуилович понял, что жизнь его теперь -- с появлением в ней Венгерова -- пойдет в совсем другом направлении. А то и, -- закончится вскоре.

Но ему ведь не хотелось так рано умирать?! И уже Сеченову не только казалось, но и он (более чем искренне) был уверен, что ему не только нравится его новая родина, но и он любит всех ее жителей. И уж конечно, свою жену и ее брата. Брата... Сеченов (а на всем протяжении разговора они сидели в машине Венгерова) осторожно искал глазами брата Джулии. Этот бандит оказался бы сейчас как нельзя кстати. Можно было бы дать ему как-то знать, и он бы смог застрелить Венгерова. Все-таки это был район чернокожих. И возможностей решить проблему Сеченова -- Рудольфу Самуиловичу показалось -- у Джонни было больше -- именно здесь.

Но Джона не было.

Венгеров дал команду водителю -- который медленно вел автомобиль по улицам Гарлема -- выбраться, наконец, из этого района. Никаким расистом Владимир Сергеевич не был. Но скопление на улицах подозрительных чернокожих подростков явно начинало его раздражать. А может -- и пугать.

-- Вы не могли бы меня отпустить? -- жалобно попросил Сеченов.

-- Отпустить? -- удивился Венгеров.

-- Ну -- да!? Искренне признался Сеченов и посмотрел на Венгерова такими глазами, что у того и на самом деле промелькнуло желание отпустить Сеченова.

-- Нет, отпустить тебя я не могу! -- вернулась к Венгерову столь характерная для него жесткость, которая проявлялась всегда сама собой, словно включаясь в

противостояние с сидевшей в подсознании Владимира Сергеевича добротой и нежностью. -- Отпустить я тебя не могу, -- повторил он. -- Но если ты выполнишь ряд моих условий, -- сможешь уйти сам.

-- Какие же... какие же это условия? -- осторожно поинтересовался Сеченов, заметив, что в его душе уже начинает господствовать страх.

-- Условия?! -- переспросил Венгеров, почувствовав состояние Сеченова.

-- Да, -- все еще не ожидая подвоха, тихо прошептал Рудольф Самуилович.

-- Ну, об условиях мы еще поговорим, -- откинувшись на спинку кресла, устало произнес Венгеров. -- Сейчас же, расскажи, что ты знаешь обо мне. Да постарайся ничего не скрывать и не приукрашивать, -- попросил Владимир Сергеевич, отвернувшись от Сеченова и всем своим видом предоставляя тому полную свободу действий.

Но рассказ у Сеченова не получился. Начав, сбиваясь, поведывать о том, что он знал о Венгерове, Сеченов уже вскоре стал своими домыслами и предположениями подменять истинный смысл когда-то услышанного им о Венгерове -- от Гершензона и Ольги. И очень скоро Венгеров вынужден был остановить его, придя к заключению, что перед ним находится попросту идиот. (Иного и подумать было нельзя).

Причем Венгерovu показалось, что Сеченов на самом деле и не знал о нем никаких конкретных фактов (что, в принципе, и было правдой). Но его больное воображение настолько активно

работало, что в вырисовывающемся перед ним образе самого себя -- Венгеров с легкостью угадывал героев произведений, которые, видимо, когда-то читал Сеченов. Причем, судя по всему, читал он эти произведения в глубоком детстве. (Не в пример Венгерову, который славился своей эрудированностью). А потому те оказались настолько искаженными, что черты характеров, так заботливо выводимых когда-то авторами -- наслаивались в откровениях Сеченова, смешиваясь столь ужасным образом, что любой -- менее начитанный, чем Венгеров, человек мог бы решить: что рассказ Сеченова -- истинная правда.

Но это была ложь. Это была такая откровенная ложь (да еще с явно просматривавшейся патологией рассказчика), что Венгеров просто вынужден был велеть ему замолчать. Заткнуться. После чего высадил его из машины, велел молчать о встрече с ним, пригрозив пристрелить, в случае, если тот откроет рот. (Что, заметим, Сеченов вовсе не намерен был делать. Он сам -- также как и Венгеров -- начал новую жизнь, а потому просто хотел выбросить из своей памяти все, что как-то было связано с прежней жизнью или напоминало о ней).

Глава 13

Кадастров почувствовал, что он сам себя обрекает на откровенный провал. Неудачу. Неудачу в той размеренной жизни, -- которую он так "заботливо" для себя придумывал. И теперь выходило, -- что все, как будто бы, уже и не нужно. А ему остается лишь просто выполнять свои обязанности. Не вдаваясь, особо, в те

"ловушки и сети", которые за свое время работы у Вольтера Ибрагимовича он, казалось, так умело расставлял.

-- Но, быть может, медсестра и ошибается? -- с надеждой, было, подумал Кадастров, памятью о разговоре, якобы подслушанном той -- между Вольтером Ибрагимовичем и его помощником (которому тот давал поручение, -- решить вопрос с Кадастровым).

-- А если не ошибается?.. И речь действительно шла о нем?.. Тогда... Тогда необходимо действовать самому, -- сначала робко появилась, но уже вскоре никуда не отпускала новая мысль Кадастрова... И тщетно пытаюсь от нее избавиться, -- он наоборот, еще больше укрепился в желании действовать именно так.

-- Но вот как это было выполнить в действительности?.. - Михаил Викторович поморщился, представив разгневанное лицо Обнинского, когда тот узнает (а он когда-нибудь узнает) о задуманном Кадастровым...

-- Нет. Необходимо действовать в каком-то ином ключе, - уже начал убеждать себя Кадастров, но запрятанное глубоко в его подсознание желание смерти (то желание, которое каким-то незавидным образом сидит почти в каждом из нас и которое, -- иной раз негативно влияет на наши поступки) вынуждало его действовать.

И потому в течении последующего получаса, Кадастров не только укрепился в мысли нанести удар Вольтеру Ибрагимовичу первым, -- но и даже наметил что-то типа плана-действия.

Первым пунктом в этом плане...

Кадастров усилием воли заставил себя выйти из оцепенения. Все, что он с такой тщательностью только что выстраивал -- разрушалось как карточный домик.

-- Нет, -- вы ошибаетесь... я еще не сошел с ума, -- почти прокричал он невидимому оппоненту.

Но, уже вроде как и высвободившись от пелены окутавшего его безумия, -- Кадастров вновь стал погружаться в нее. Теперь, казалось, его совсем ничего не могло остановить. Любые рассуждения "за и против" не только не находили под собой достаточной почвы для какой-нибудь, хотя бы ложной, трансформации в действительность, но и, -- уводили куда-то прочь... И уже, казалось, об обратном возвращении вести какие-то разговоры было бы неуместным и даже отвратительным... самым что ни на есть отвратительным образом, -- в душе Кадастрова начинала царить полнейшая неразбериха. Он уже совсем ни на чем не мог остановиться, сфокусировать свое внимание. И это все казалось ему... Впрочем, с некоторых пор ему совсем уже ничего не казалось...

Но... Кадастров не был бы Кадастровым, если бы не попытался... извлечь из своего "безумия" пользу. И суть его мысли была такова -- нужно было во что бы то ни стало убедить Вольтера Ибрагимовича, -- что его сын, Казимир, -- не сможет полноценно существовать без него, врача-психиатра Кадастрова. И в случае, если его, Кадастрова, не будет, -- потребуется какое-то время, прежде чем новый врач сможет разобраться в Казике. И еще

должно будет пройти время -- когда новый специалист сможет заслужить доверие Казика.

Но это время будет упущено. За то, что именно в этот период Казик сможет натворить новые беды, -- ответственность ляжет исключительно на, -- Кадастров устало посмотрел на Вольтера Ибрагимовича (которого решил "вести в курс дела"), -- на...

-- Хорошо, -- недовольно прервал его Обнинский. -- Но я даю тебе срок, по которому ты должен подготовить дела "к сдаче". А заодно и, -- Вольтер Ибрагимович испытывающее (видимо, не желая упускать то, как Кадастров отреагирует) посмотрел на Михаила Викторовича, -- а заодно и ввести в курс дела нового специалиста. Он, кстати, уже дожидается тебя в твоём домике.

-- Он будет жить со мной? -- испуганно произнес Кадастров.

-- Нет. Он будет жить вместо тебя, -- жестко ответил Вольтер Ибрагимович, всем своим видом показывая, что "аудиенция" закончена. И Кадастров может убираться к черту.

Куда, признаться, у Михаила Викторовича и появилось желание идти. Но сначала... Кадастров быстро вытащил пистолет, приставил его к своему виску и выстрелил. Все произошло настолько быстро, что ни сам Обнинский, ни охрана, влетевшая в кабинет, когда тело Кадастрова уже упало, распластавшись на полу, не успели о чём-то подумать. И потому следующая сцена, -- характеризовалась удивительным по своей неожиданности зрелищем -- и Вольтер Ибрагимович Обнинский, и охрана --

застыли, не смея пошелохнуться, и только недоуменно стояли, уставившись друг на друга.

Первым из оцепенения вышел начальник охраны и распорядился отнести тело в "холодильник" (специальный контейнер для подобного рода тел), а также вызвать горничных -- чтобы они прибрались.

На совести Агарзы (именно он в тот день заменил недавно погибшего в одной из перестрелок начальника охраны), -- было с полусотни жизней. Еще по Афганистану. А потому труп Кадастрова, не рождал в его душе никаких ассоциаций, кроме необходимости, от него поскорее избавиться. (О какой-либо милиции речь вести не приходилось. Да и у Агарзы было немало способов так -- при случае -- спрятать тело, что найти его не смогут. И ему было все равно, -- сам ли кто погиб, или его убили. Все скрывалось им с той тщательностью, как если бы этого человека убил он).

В последующие несколько дней -- все было закончено. Тело Кадастрова было надежно скрыто. И даже последствий "увольнения" (как заявили всем любопытствующим, которых, впрочем, совсем не оказалось. Все кто работал у Обнинского -- предпочитали вникать только в свои интересы) никто не заметил.

Но вот только...

Вольтер Ибрагимович не находил себе места. Не только такого состояния, но и ничего похожего на это, -- у него никогда не было. И признаться, он поначалу даже не обратил никакого

внимания, посчитав, что это -- следствие мигрени, а то и просто "плохого настроения".

Но прошло несколько дней. Потом неделя. Две. И Вольтер Ибрагимович начал понимать, что избавиться от внутренней тревоги -- ему будет не просто. А то и не удастся.

Он вызвал к себе нового врача, пришедшего на смену Кадастрову.

Кириллу Дементьевичу Кушинскому было на вид лет сорок -- сорок пять. Небольшого роста, с черными редкими волосами, просвечивающейся макушкой и почему-то густыми длинными (на манер украинских казаков) усами, придававшими ему довольно дурацкий вид. Притом, что впечатление, на самом деле, было обманчиво. И Кушинский никаким дураком, конечно же, не был. А был он глубоко патологической личностью. И только полученные им в двух институтах и аспирантуре знания -- позволяли скрывать собственную патологию сознания и еще более тщательнее скрывать целый букет сексуальных девиаций, -- самым ярким из которых был... вуайеризм.

Попросту говоря, -- Кушинский любил подглядывать за окружающими. И только порой излишне строгий суд к самому себе уберегал его от того, чтобы когда-нибудь не попасть со своим подглядыванием в настоящую беду. А такое вполне было возможно, -- хотя бы еще и потому, -- что Кушинский, как говорится, не только подглядывал за уже свершившимся событием, -- но и зачастую часами просиживал "в засаде", -- обманчиво полагая, что действие это -- начнется. И неудачных попыток, заметим, было несравненно больше.

Во всей видимости, вид Кушинского сейчас совсем не понравился Обнинскому. И он его столь критически оглядывал, что тому показалось, что вот сейчас -- его прогонят. И три тысячи долларов (которые ему обещали платить каждый месяц) так и останутся для него мечтой и чем-то недостижимым.

Но тут в дверях неожиданно показался Казимир. Вольтер Ибрагимович тотчас вспомнил, что он совсем забыл поставить сына в известность, что у него будет новый врач. Но у Казика, видимо, в тот момент было какое-то просветление. И он все понял сам. Что не помешало ему, впрочем, уже через час биться в истерике, -- требуя вернуть Кадастрова обратно.

Казика успокоил только укол. Но сомнений у Вольтера Ибрагимовича не убавилось. Ему вдруг показалось, что привычного уклада жизни уже не будет. И должно начаться, -- в этой самой жизни, -- что-то новое. А какое будет оно -- Вольтер Ибрагимович даже боялся загадывать. Но был уверен, что хорошего в нем будет намного меньше, чем было раньше.

И вот еще этот психиатр...

-- Вы должны постараться найти с Казимиром общий язык, -- строго посмотрев на Кушинского, распорядился Вольтер Ибрагимович. -- В случае если не удастся -- мы расстанемся. На все про все -- неделя. Через этот срок -- Казимир должен уверить меня, что он счастлив видеть рядом с собой Вас.

-- Неделя очень небольшой срок...-- осторожно произнес Кушинский.

-- Неделя тот срок, который я могу себе позволить, -- ответил Обнинский. -- Если вам подобное удастся сделать в

течение трех дней -- я в половину увеличу зарплату. А если уже завтра Казик будет уверять меня, что Вы ему необходимы -- я вам буду платить вдвое больше обещанного.

-- А если... -- несколько замялся Кушинский, явно опасаясь озвучить напрашивающиеся предположение.

-- А если через неделю сын скажет, что он вас ненавидит, то я вас выгоню. С позором. Да еще сделаю так, что какой-либо частной практики у вас больше не будет.

-- Но позвольте... -- явно не готовый к подобному повороту событий, запротестовал Кушинский. -- Ведь изначально, как помнится, вы мне предлагали совсем иные условия. Неужели...

-- Все изменилось, -- перебил его Обнинский, жестко сверкнув на упряма глазами. -- К тому же, я теперь даю вам не неделю -- а три дня. Через три дня Казик должен или одобрить вашу кандидатуру или послать вас к чертовой матери. Туда же -- пошлю вас и я. Да еще и добьюсь лишения вас права заниматься лечением людей. -- Вы, кстати, что-нибудь еще умеете, кроме как дурачить людей?

-- Ловить рыбу, -- машинально ответил Кушинский и опомнился, когда Обнинский впервые за долгие годы разразился смехом.

-- Ну вот и будете ловить рыбу, -- с трудом, из-за приступа смеха, выговаривая слова, -- произнес Обнинский. -- Ну а теперь идите. Счетчик включен.

-- Какое-то бандитское логово, -- пронеслось в голове у Кушинского; и он, в принципе, был недалек от истины.

Глава 14

Калитину Америка не понравилась.

Несмотря на то, что его товарищ вроде бы и не обманул, и действительно Калитин по его рекомендации устроился в охрану местного бизнесмена -- Сергей Сергеевич чувствовал, что это -- не то.

Не то, чего бы он на самом деле хотел.

Но, с другой стороны, и придраться вроде как не к чему. Эндрю (его новый хозяин), улыбаясь всеми своими платиновыми зубами -- предоставил Калитину полную свободу. Любой график охраны, -- Калитин мог устанавливать сам. Если, по его мнению, охрана в какой-то момент не требовалась (а по сути Эндрю вообще никакая охрана не требовалась), Калитин мог (только для "проформы") выделить на такой случай -- какого-нибудь одного охранника. (Обычно Эндрю сопровождали пять телохранителей, которыми командовал Калитин). Правда, еще у Эндрю была жена и двое детей. Но в их охране -- тоже не было никакой сложности. И как раз наличие столь большого (как он пытался уверить Эндрю) семейства и обязывало к тому, чтобы и штат охраны тоже был значителен.

-- Мы в России, -- заговорщески посматривал на благосклонно взирающего Эндрю Калитин, -- для охраны "особо важных персон", -- использовали не меньше двух-трех дюжин... ("Дюжин"? -- переспросил Эндрю, что-то вспоминая; -- ах, да, дюжин -- это тринадцать; плохое число, -- покачал он головой). И

все были вооружены самыми современными средствами
самозащиты.

-- Включая рукопашный бой? -- радостно переспросил
Эндрю (Калитин удивленно посмотрел на него, явно не понимая
причины веселья).

-- И включая рукопашный бой, -- на всякий случай
кивнул он головой.

-- А можно ли мне как-нибудь посмотреть, на что
способны ваши солдаты, -- не раз потом, бывало, спрашивал
Эндрю.

И Калитин, считая это -- ненужной прихотью
капиталиста -- всегда находил причину для отказа. Показательные
выступления ему были не нужны.

О том, что Эндрю имел в виду совсем не показательные
выступления, -- Калитин узнал слишком поздно. (Сергей
Сергеевич вообще не мог заставить себя всерьез относиться к этому
глупому янки, -- как не раз называл его за глаза).

.....

В один из вечеров, когда Калитин, выставив посты, пил
виски (к которому пристрастился в последнее время), один из его
людей сообщил, что два микроавтобуса с тонированными
стеклами желают проехать на территорию коттеджа американца.

-- Какие к черту автобусы, -- не понял Калитин, но
ощущение какой-то беды уже начало заползать в его разнеженное
(от виски и от двух негритянок -- проституток, уже давно игриво

посматривавших на него, пытаясь угадать: когда же им будет позволено начинать; футбол... футбол..., -- отмахивался от них Калитин, уже сам, впрочем, с нетерпением дожидаясь конца матча, чтобы заняться, наконец, с этими чернокожими бестиями любовью).

-- В автобусах, шеф, точнее, в микроавтобусах -- требуют вас, -- поспешно сообщил охранник.

-- Так уничтожьте их к чертовой матери! -- распорядился Калитин и только тут (одновременно с повисшей паузой) понял, что он сказал что-то не то. -- Я сейчас буду, -- гаркнул Калитин и потянулся за телефоном, чтобы спросить об ожидаемых гостях Эндрю. (Ну, или -- не ожидаемых).

Эндрю позвонил сам, попросив пропустить его гостей (уже сообщили, -- недовольно скривился Калитин, в который уж раз убеждаясь, что никому нельзя доверять), а заодно предоставить в их распоряжение один из спортзалов (на территории было три небольших тренировочных зала. Один из которых -- бассейн и тренажерный зал, а два другие -- зал бокса и зал борьбы). Устроим шоу, -- услышал Калитин раскатистый смех Эндрю и ему показалось, что кто-то из них сходит с ума. (Почему-то хотелось верить, что Эндрю).

Сначала пропустили микроавтобусы. Потом приехал Эндрю. (Семейство его никуда не уезжало, а находилось в доме под контролем охранников Калитина).

Как оказалось, Эндрю решил устроить "дружескую встречу". Для чего пригласил спортсменов из сборной команды США (по боксу, кикбоксингу, фулл-контакту и вольной борьбе).

По три представителя от каждого вида, распорядившись - отобрать Калитина из своих бойцов -- претендентов.

Оказалось, Эндрю являлся одним из спонсоров команды США. Да к тому же и сам в прошлом (что было полнейшей неожиданностью для Калитина) являлся двукратным обладателем американских "золотых перчаток" (что-то типа чемпионата США по боксу среди любителей).

Чуть позже подъехал и Коробов (протеже Калитина и бывший его товарищ по молодежной сборной СССР по самбо) со своим "шефом".

Зрелище должно было получиться превосходное, как улыбаясь заметил Эндрю.

А Калитин... Калитин лишь обреченно посмотрел на него. Понимая, что это начало конца.

Но бойцов своих все же выставил. Быть может, надеясь на чудо...

.....

Противники у них получились представительные. Почти все -- чемпионы и призеры различных международных турниров, чемпионы панамериканских и олимпийских игр. А потому они

рассматривали своих русских противников как своего рода разминку. Да еще и возможность заработать. (Каждому, независимо от результатов встречи, Эндрю пообещал по три тысячи долларов. Плюс -- еще две -- за победу). Сама встреча -- исключительно по правилам того вида спорта, в котором специализировался тот или иной спортсмен.

Ни один из бойцов Калитина не выстоял. Проиграли все. И только в последней схватке (по фулл-контакту), где предусматривалась максимальная "ограниченность" правил -- охранник Калитина вроде бы и нокаутировал соперника. Но поднявшись, тот в течении двух минут три раза отправил на настил ринга русского; после чего Калитин выбросил полотенце. Понимая, что все уже действительно законченно.

.....

Все оказалось законченно на самом деле. Потому как в последующую неделю, -- Калитин со своими охранниками не только оказался выброшен на улицу, но и Эндрю сделал все (как оказалось, его отец был сенатором), чтобы Калитин с товарищами, -- был выслан с территории США. И для них навсегда был закрыт въезд в эту страну. (Вслед за Калитиным лишился работы и его протеже -- Коробов, который хоть и остался в стране, -- все-таки он жил в ней уже давно, а не приехал как его товарищ -- на заработки -- но был вынужден искать работу в другом штате. И в адрес Калитина у него осталась только обида).

Глава 15

-- ...И где же вы видите эту уникальную личность? --
вопросил пьяный Вешнецов, обводя взглядом присутствующих.

Что до самих присутствующих, то поистине публика -- на праздновании юбилея Вешнецова -- собралась разношерстная. Были тут и директора крупных частных предприятий (большой частью бывшие соученики Вешнецова по ЛГУ); и народ более мелкого масштаба (в свое время волей случая познакомившиеся с Вешнецовым и с тех пор поддерживавшие с ним отношения). Был даже один банкир (Ругалов) и редактор журнала (Гусаров). Был... Впрочем, кого здесь только не было... Тот же безработный -- Олег Романович Шикман. И именно Олег Шикман, видимо чувствуя особую признательность Вешнецову (ну и заодно -- привязанность к нему), немного подпив -- готовился вести себя таким образом, что Вешнецов, представив это -- прятал взгляд от расстройства (ну или -- чтобы не расстроиться еще больше).

А все дело в том, что Олег Шикман когда-то был, быть может, на голову талантливее всех собравшихся. С ним Вешнецов познакомился на каком-то конгрессе (большая часть знакомств с присутствующими тоже происходила на каких-то конгрессах, фестивалях, научных конференциях). И так вышло, что уже через время некоторые из гостей стали задаваться вопросом: кем приходился Вешнецову этот человек? Постепенно выясняя, что он не был ни его бывшим однокурсником, ни коллегой, ни родственником, ни...

Олег Шикман не был даже приглашен на юбилей. Он пришел сам. Причем, -- при виде его, -- отказать ему было невозможно.

И дело даже не столько в его внешности (обычный рост, обычное телосложение) или характере (иной раз скверный, но зачастую лояльный и доброжелательный ко всем). Олегу Шикману было сорок четыре. (Хотя кто-то, помнится, говорил, что Шикман сам "остановил" свой возраст: сначала -- лет в тридцать -- здорово прибавив к своей биографии несколько лет. А потом -- все время отнимая. И уже несколько лет говорил, что ему тридцать семь. Но ему всё же было сорок четыре. Не больше и не меньше).

И все это было совершенной мелочью перед одним проявлением характера Шикмана, от которого он, в принципе, и страдал до сих пор.

А все дело в том, что Шикман был циник. Причем, стоило ему выпить -- как из его бессознательного вырывались и просто -- скверна и гадость. А на душе самого (что уж было говорить об окружающих) -- становилось настолько неприятно, что Шикман уже мучительно умолял себя замолчать.

Но начав говорить, -- его было не остановить. Ну, в смысле, совсем не просто остановить. Потому что, бывало, замолкал он сам. А то и с такой обидой на окружающих, -- что ни с кем из них он не хотел видеться. С каждым прожитым днем -- только подкрепляя свой внутренний протест -- какими-то соматическими причинами. (Так, например, если он думал о ком из недавних знакомых -- у него могла начать болеть голова. Или

случалась диарея. А то и вовсе Шикман оказывался больным. И по всем признакам действительно походил на больного).

Причем, конфликт как раз всегда начинал именно Шикман. И повод, вроде бы, находил. (Хотя никакого повода могло и не быть. А причину конфликтов инсценированных Шикманом -- следовало исключительно искать в нем самом). И уже как бы то ни было, но Вешнецов сейчас почему-то ожидал повторения подобного. Он даже подходил несколько раз к Олегу, пытаясь по каким-то ответам его на простые вопросы, прочувствовать его состояние. И ситуация казалась ему неутешительной.

Однако, веселье продолжалось. И теперь уже был пьян Вешнецов. И ему уже совсем не было дела ни до Шикмана, ни до гостей. Он сам стал испытывать к ним некое недовольство. Даже очень захотел -- чтобы они разошлись по домам.

Но, не выгонять же?!

Тем более в ресторане было проплачено вперед.

И уйди сейчас -- деньги уже не вернут.

Но даже не это, большей частью, тревожило сейчас Вешнецова. Внимание его привлек Олег Шикман. И самые мрачные прогнозы -- казалось -- начинались сбываться.

А потому он и решил взять инициативу в свои руки. И повторил свой вопрос про уникальность личности, но теперь, не только обводя присутствующих взглядом, но и ненадолго

останавливаясь на тех из них, к кому Вешнецов или испытывал симпатию, или чувствовал интерес тех -- к своей персоне.

-- А ведь среди нас действительно есть "уникальная личность"! -- поддержал Вешнецова Владимир Потягин (с вызовом при этом посмотрев на Шикмана. Между Потягиным и Шикманом давно уже была скрытая вражда. И она готова была в любой момент воплотиться в реальную ссору, стоило только наступить некоторым условиям, главным из которых было -- нахождение Шикмана и Потягина в одном месте. А также -- наличие аудитории и... легкие измененные состояния сознания, которые, вероятно, и должны были сдвинуть кого-то из них -- на инсинуацию конфликта).

-- Да среди нас многие уникальны, -- пытался не дать возгореться пламени Вешнецов. Он уже представил себе все последствия открытого противостояния двух противников и понимал, что ни до чего хорошего это не доведет. (Вешнецов даже специально не пригласил Шикмана на свой юбилей, словно боясь возникновения того, что грозило произойти сейчас. Но Шикман пришел сам. И...)

-- Нет, -- я говорю о том, что среди нас есть один уникал, которому совсем наплевать на остальных, -- с каким-то не замечаемым у него раннее ехидством, произнес Потягин.

-- Речь, вероятно, идет обо мне? -- предположил Шикман, приподнимаясь.

И тут началась такая вакханалия, после которой не только никто из собравшихся на юбилей Вешнецова не захотел

больше с ним видаться, но и -- все оказались еще втянутыми в последствия, от которых не могут оправиться, быть может, и поныне.

А дело все в том, что юбилей закончился... смертью Шикмана. (Потягин умер в больнице, не приходя в сознание от пули выстрелившего в него, перед тем как рухнуть замертво от воткнувшегося в его шею ножа -- Шикмана).

Жестокой кульминации предшествовала сначала перебранка, а потом и бурная ссора между Шикманом и Потягиным. Причем, исход решило заявление супруги Потягина (тоже находившейся здесь), поставившей в известность Потягина - - что оставляет его и переходит к Шикману.

Всего мгновение прошло после того, как кто-то из окружающих смог начать анализировать подобную информацию. Точнее, в полной мере уже и не мог, потому как результат, и даже -- два, -- лежали окровавленные на полу, а в воздухе медленно оседал дым от выстрела Шикмана.

Приехавших следователей, помнится, смутила излишняя "поставленность" трагедии. Словно кто-то изначально все запланировал, вложив в руки Шикману револьвер, а Потягину -- нож; но все свидетели как один -- давали одинаковые показания. И в конечном итоге дело было прекращено (вследствие смерти и виновника, и жертвы, -- по сути, не разбираясь: кто есть кто). А сам Вешнецов -- теперь вынес для себя урок: никогда не приглашать ни на какие торжества гостей. Да и сами эти торжества -- не проводить. Что, признаться, он давно уже в душе и

порывался сделать. Потому что почти всегда чувствовал в эти дни -- исключительное разочарование. Причем, чем больше казалось, он должен бы был веселиться да радоваться, -- тем больше в его душе назревал протест. И ни только ничего не радовало, но и вызывало раздражение, злость, а то и необъяснимую тревогу. Состояние которой, -- как он заметил, -- теперь стало приходить к нему часто. Даже, быть может, слишком часто, чтобы не обращать на это внимания.

Об этом-то внимании Вешнецов сейчас и думал. И ему начинало казаться, что мысли и совсем уже уносили его в неизведанное. Туда, где он раньше и не бродил никогда.

И -- если честно, -- он немного боялся. Ну, или опасался, что ли...

Часть 6

Глава 1

Викарию Гершензону стало вдруг мучительно больно осознавать, что его новоиспеченная жена (с Ольгой они зарегистрировали брак) -- блядь.

И еще болеее оттого, что он не мог отделаться от этой -- ставшей навязчивой -- мысли. Впрочем, ему и раньше казалось, что Ольга готова трахаться с первым встречным.

Что до Ольги, -- на днях ей исполнилось сорок. И это был самый лучший возраст, среди уже прожитых ею лет. Потому что ее красота (которая всегда была весьма специфической: на любителя) расцвела. И теперь, глядя на Ольгу, было трудно удержаться, чтобы не захотеть обладать этой женщиной. И за внешней (до сих пор еще оставшейся) холодностью да недоступностью, -- угадывалась самая настоящая страсть. Которая вырвется наружу -- если вы сможете как-то заинтересовать эту женщину.

Впрочем, -- глядя на нее, казалось, будто и заинтересовать ее уже никто не может. Разве что... муж. Ее новоиспеченный муж. Которого Ольга боялась и которому всецело принадлежала.

И если бы кто услышал подобное об Ольге Зиновьевне Маер (а она после замужества оставила девичью свою фамилию), -

- то не удержался бы против каких-либо скептических замечаний. Да и просто, должно быть, недовольства. Потому что новый образ Ольги, -- совсем не походил на тот, который был известен ранее. А то и -- явно противоречил ему.

И теперь, прежде чем начинался какой-нибудь разговор с ней, -- собеседник мучительно долго находился в раздумьях: как ему следовало вести себя с Ольгой Зиновьевной? Раскованно -- как ранее? Или строго, -- в соответствии с тем, что исходило от нее сейчас. Эта ее циничная улыбка... И... все понимающий взгляд.

И ничто, казалось, не могло уберечь такого собеседника от того, -- как только выбрать третий путь. То есть, -- исключить любое общение с Маер.

Это казалось самым благоразумным из возможных действий.

.....

Ольга Зиновьевна сама не знала, что с ней происходит. И раньше, вроде бы, она не скрывала собственных взглядов на жизнь. И при любом удобном случае высказывала их.

Но это не только не принималось в штыки. Но и как будто бы, даже восхвалялось окружающими.

Сейчас же окружающие начинали чураться ее. И ничто не могло их удержать -- как-то вести себя иначе.

И это при том, что сама Ольга угадывала подсознательное желание других, -- общаться с ней. То есть, им этого и хотелось, -- и что-то словно отталкивало их.

И узнать, что было это что-то, -- пока не представлялось ей возможным.

.....

Сейчас Ольга была одна. И она, пожалуй, могла признаться себе, что такое состояние (состояние одиночества и погружения в собственные мысли) в последнее время ей все больше и больше стало нравиться.

И даже более. То, что она на протяжении жизни так тщательно стремилась скрыть от окружающих, сейчас наоборот, -- выходило на первые позиции. И ей не то, чтобы хотелось уже что-то скрывать, но и... она даже уже не считала, что это нужно делать. Да и -- возможно ли?

Время... ощущение времени, которое раньше она, как будто бы и не замечала -- теперь каким-то непомерно-тяжким грузом повисало над ней. И у нее совсем не оказывалось сил -- как-то противиться этому...

Почти точно также, -- как и ничто не могло заглушить ее тревогу...

Странное, -- как будто и неведомое раннее, -- чувство разливалось внутри (тела... мозга... сознания... подсознания...) Ольги... Она понимала, что совсем не способна ни противиться

этому... ни контролировать его... И тогда уже только и оставалось остановиться, задуматься над тем: что же происходит?.. Но... Она как-то, -- оказывалась беспомощной перед возможностью, -- сделать это...

.....

Ольга в который уж раз пыталась "собраться с мыслями".

То, что ей это явно не удавалось, -- могло говорить лишь о состоянии какой-то внутренней тревожности. Но никак не должно было свидетельствовать, что делать ничего, чтобы как-то попытаться противостоять ее пессимизму и апатичности в отношении себя и окружающего мира, -- не стоило. Наоборот. Ольга всю жизнь привыкла сопротивляться: пытаться изменить судьбу. И то, что с ней происходит сейчас, -- не иначе как еще одно испытание (по крайней мере, -- так она намеревалась это рассматривать), которое просто нужно выдержать. Доказав свою способность, -- жить дальше.

Но вот что-то... жить дальше не хотелось...

Ольга встряхнула черными волосами, которые (не ожидая подобного взрыва) разлетелись, волной укутав голову и плечи. Встала с кресла (в которое она присела только на миг, да и задумалась) и решительно стала собираться. Ей срочно нужно было повидать Касьянова. (Быть может и небезосновательно Ольга полагала, что главной причиной ее сегодняшнего беспокойства был он).

Глава 2

Петру Карловичу Касьянову было, как и Ольге -- сорок. Когда-то он был одноклассником Ольги. Правда, после восьмого класса средней школы их пути разошлись.

И встретились они только в зрелой жизни. Но в сравнении с Ольгой -- Петр Карлович -- несколько лет назад ставший профессором и имевший собственную клинику в Санкт-Петербурге -- достиг значительно большего. Причем то, что поворот к медицинской психологии произошел от, в общем-то, планировавшегося "математического" или "экономического" будущего... Ну в этом, пожалуй, была какая-то странность. И не более.

Причем, если странность и была, то только в мыслях тех друзей и знакомых Касьянова, кто его знал со времен студенческой молодости. В аспирантуру Петр Карлович уже поступил на другой профиль. И ни у кого из однокурсников не возникло и тени сомнений, что Петр получил базовое не медицинское или психологическое образование. А в том, что он по первому образованию был математик, а по второму -- менеджер, Петр и сам решил умалчивать.

Кстати, методы обработки материалов и результаты статистического анализа (необходимая часть диссертации), у него оказались лучше, чем у одноклассников. Но на это, по-моему, не обратил никто особого внимания. Касьянов вообще обладал какой-то магнетической силой. И общавшиеся с ним, замечали, что

просто-напросто -- начинают подпадать под его влияние. Причем, чем больше некоторые из них пытались противостоять этому, -- тем сильнее оказывалась их зависимость.

Притом, что это были почти такие же специалисты, как и Касьянов. Что уж было тогда говорить о простых смертных.

Касьянов знал о своих способностях. И -- при случае, -- пользовался ими.

Да и один из методов применяемой им психотерапии -- была суггестия. (Гипноз). И судя по достигаемым результатам -- применяемый Касьяновым гипноз, оказывался весьма эффективным. И у него было, в принципе, чем гордиться.

Но могло показаться немного загадочным, что в личной жизни (и в, частности, в сфере любовных отношений) на Касьянова словно было наложено какое-то табу в применении проверенных, в принципе, методик. Он словно остерегался действительно применять их. Опасался?.. Нет. Давно уже Касьянов ничего не опасался. И в какой-то мере, ему было даже абсолютно наплевать на мнение (а, тем более, оценку) других. Он был уверен в себе. И достаточно прочно стоял на ногах. И что-либо пошатнуть его, -- совсем не могло.

Отвечая же себе на вопрос: почему он не использует "проверенное средство" в отношении собственной личной жизни, - - Касьянов большей частью ссылался на этику. Что, в общем, совсем ничего и не объясняло. А то и наоборот, -- еще больше запутывало.

И уж, конечно же, у Касьянова не было каких-то тревог или беспокойства по этому поводу. Он давно научился отдалять от себя (от своего сознания) особо болезненные мысли. И бывало, находил удовольствие... Хотя, мало ли в чем находил удовольствие Касьянов. Был он вообще престранной личностью. А то, что на протяжении всего нашего романа он периодически то всплывает, то уходит куда-то в тень, -- объясняется не иначе как скрытностью Касьянова. Который, казалось, и не думал ничего скрывать о себе. Но выходило, что любые попытки что-то узнать о нем -- ни к чему не приводили. Причем, получалось все настолько естественно, что ни у кого, казалось, и мысли не возникало "винить в неудаче" самого Касьянова. Тот, иной раз, мог быть очень открытым человеком. Но вот пользоваться этой открытостью -- ему не хотелось.

Да и -- даже если бы он сильно того захотел, ничего бы не вышло. К Касьянову относились со страхом. Словно он уже изначально знал такое, что люди предпочитали о себе держать в тайне. И потому так уж выходило, что Петр Карлович Касьянов -- был всегда один. Даже женщины у него не было. Одни проститутки...

.....

-- Ольга? -- удивился Касьянов, инстинктивно оглянувшись на настенные часы, висевшие в прихожей.

-- Мне надо с тобой поговорить, -- пересиливая себя, произнесла Ольга, переступая порог и вынуждая слегка

оторопевшего Касьянова сделать несколько шагов назад, пропуская женщину.

На часах была полночь. И он действительно был удивлен ее визиту.

Но... Касьянов так мало чему-то удивлялся. Точнее -- показывал это внешне. А потому быстро кивнув на двери (туалет, ванна, кухня, спальня, гостиная, кабинет...), он помог женщине снять плащ и направился в кабинет, явно предполагая деловое свидание.

-- Если можно, давай сначала покурим, -- попросила Ольга, высвобождаясь от второго сапога, и -- мимоходом взглянув в зеркало -- привычным движением расстегнула сумочку, доставая пачку "Лаки-страйк".

-- Крепкие куришь, -- словно про себя (и всем своим видом не обязывая как-то реагировать на его слова) проговорил Касьянов и кивнул на дверь, ведущую на балкон. Нужно было пройти через гостиную.

-- Начну сразу с главного, -- не отпускала инициативу Ольга, стоило им только ступить на балкон. Ночь была настолько прекрасна, что Касьянов невольно вздохнул свежим морским воздухом. Он только недавно купил квартиру в Приморском районе Санкт-Петербурга, и окна балкона -- выходили как раз на Финский залив.

Ольга, казалось, угадала восторг Касьянова по поводу недавней покупки, и ее прежний напор (а она была настроена винить в своем теперешнем состоянии исключительно Касьянова) прошел.

Касьянов произнес несколько, вроде бы, ничего не значащих фраз. Самочувствие Ольги разом улучшилось. О недавних тревогах вспоминать не хотелось. На душе стало хорошо. Очень хорошо. И впервые за многие годы она почувствовала состояние погружения в детство. Когда еще не было каких-то тревог да волнений. А если они и были, на них не обращаешь внимания.

Петр Карлович почувствовал состояние женщины, а потому, не давая смениться "картинке ее воображения", только еще больше усилил ее чувство. Теперь Ольге было совсем хорошо. Ничего не существовало, чтобы могло как-то исказить ее новые впечатления.

И почему-то очень захотелось, чтобы стоявший рядом и что-то медленно и уверенно произносивший мужчина -- овладел ею.

Ей вдруг очень захотелось ощутить в себе тот вулкан страсти, который наверняка таился в нем. Хотелось, чтобы он положил ей руки на грудь, прижал к себе, хотелось даже, быть может, чтобы совсем не спрашивая ее желания -- вошел в нее сзади.

И она инстинктивно полуразвернулась, слегка наклоняясь и словно приглашая его последовать ее мыслям.

.....

Касьянов, конечно же, все понял. И тоже ощутил внутри себя непреодолимое желание обладать этой женщиной. Но... он всю жизнь приучал себя контролировать свои желания.

Да и догадывался он, что было причиной возникновения подобного желания у женщины. И постарался сделать так, чтобы Ольга, продолжала находиться в состоянии транса, в которое он погрузил ее, -- но "ощущение счастья" усилилось настолько, что она оказалась бы вполне удовлетворена тем, что происходит сейчас; и совершать какие-либо иные действия ей бы не хотелось.

Неожиданно раздался телефонный звонок. Привыкший было отключать телефон или ставить аппарат на минимальную громкость, Касьянов удивился тому, что он этого не сделал.

Но телефон не умолкал. И его уже слышала Ольга, которая неожиданно вернулась в свое обычное состояние, и прикуривая сигарету, кивнула Касьянову в сторону телефонного аппарата.

-- Возьми трубку, -- выдохнула она дым, сбивая пепел, и устало смотря на Касьянова.

-- Петр Карлович? -- услышал Касьянов сбивающийся от волнения голос Гершензона. -- Скажите, Петр Карлович, -- Гершензон наверное понял, что на другом конце провода именно Касьянов. -- Моя супруга у вас?

-- У меня, -- честно признался Касьянов. -- Если желаете, -- приезжайте тоже, -- предложил он. -- Я, думаю, ее обращение ко мне за помощью касается, в первую очередь вас. Ваших проблем. Приезжайте.

-- Да, но...-- замялся Гершензон. Было видно, что он не был готов к такому повороту.

-- Да чего там, -- уверенно произнес Касьянов и продиктовал свой адрес. -- Если возьмете машину, -- будете у меня в течение получаса.

-- Нет, -- наконец-то решился Гершензон. -- Я не приеду, -- и положил трубку.

-- Тяжело тебе с ним, -- сказал Касьянов входящей с балкона женщине.

-- Викарий? -- вскинула бровь Ольга, переводя взгляд с телефонного аппарата на Касьянова.

-- Он, -- констатировал факт Касьянов.

-- Приедет? -- немного с опаской поинтересовалась Ольга, и от Касьянова не укрылось волнение ее.

-- Да нет, -- с появившейся улыбкой превосходства покачал он головой. -- Ему просто необходимо знать: где ты. Наверное, ревнует, -- улыбнувшись, предположил Касьянов.

-- Ревнует, -- устало согласилась Ольга. -- Как только расписались -- все время ревнует.

-- Надеюсь, ты то его не ревнуешь? -- посмотрел на Ольгу Касьянов и успокоился, заранее предугадывая ее ответ.

-- Было бы чего ревновать, -- к Ольге почти окончательно вернулось ее прежнее состояние. Состояние презрения к другим.

-- Ну и правильно, -- как бы между прочим произнес Касьянов, заметив, что женщина еще больше успокаивается от его слов.

-- Так зачем же ты все-таки переехала? -- поинтересовался через время Касьянов, когда они прошли в его кабинет и расположились в креслах друг против друга.

-- Не знаю, -- после небольшой паузы честно призналась Ольга. -- Понимаешь, иной раз не хватает какой-то уверенности... -
- через время добавила она.

Касьянов молчал, давая возможность женщине выговориться.

Он, конечно же, чувствовал ее состояние. И вынужден был задуматься, что невольными своими действиями -- мог влюбить в себя женщину. Но... но насколько он мог ответить Ольге взаимностью?

Хотя мог. Конечно же, мог. Ведь почти схожие чувства испытывал и он к ней. Но вот только...

Петру Карловичу казалось, что ситуация с самого начала приняла не очень честную сторону. Причем, это казалось -- большей частью именно ему. Потому как Ольга, наоборот, по всей видимости, испытывала не только самые добрые чувства в отношении его, но и -- скорей всего, -- была в него влюблена.

Как раз именно и это наводило Петра Карловича на не очень приятные размышления...

Зная о своих способностях подчинять людей своей воле, Касьянов в какой-то мере стал намного строже к себе относиться.

И теперь выходило так, что любые положительные отзывы о себе -- он оценивал не как нечто естественное и (как минимум) как должное, а с некоторым (совсем, быть может, и не нужным) критицизмом. Внутренне сопротивляясь (в какие-то моменты) и вовсе принимать эти заверения на веру.

Так уж вышло... А Ольгу?.. Он ведь никогда не скрывал, что любил ее еще со школьных времен (и тогда любовь его была намного значимее для него. Ведь он был только наивным мальчиком, искренне выражавшим свои чувства...).

Но тогда Ольга не ответила взаимностью. Даже, кажется, как-то снисходительно отозвалась о его влюбленности... И теперь, вместо того, чтобы как-то отомстить, -- Касьянов влюбился. Влюбился вновь. Вернее... Вернее, -- он и продолжал ее любить... Дожидаясь своего часа. И маленькими шажками -- продвигаясь к своей цели.

Хотя, была ли его целью именно Ольга? Скорей всего, и нет. В лице Ольги Маер Касьянов попросту встретил человека, в котором угадывал изначальное неподчинение ему... Его воле, власти, уму, обаянию, способностям... И это, пожалуй, как ничто иное провоцировало Петра Карловича пытаться нащупать, отыскать ту нить, дергая за которую он сможет подчинить себе этого человека. И в какой-то момент вдруг понял, -- что все это, казавшееся ему неподчинение Ольги... на самом деле всего лишь защитная маска. Которую в общении с ним, она все больше забывает надевать... Вот так вот...

И от этой своей догадки Касьянову стало не по себе. Он вдруг осознал, что Ольга Маер, -- теперь ему и неинтересна настолько... Быть может даже настолько, -- чтобы он вообще хотел заниматься ей... И это было настоящее разочарование... Нет ничего нежелательнее, чем разрушения мечты. Касьянов это знал. Этого - боялся. И... всяческими способами вдруг стал пытаться удержать уходящее мгновение... Искусственно и сознательно, -- вызывая в

себе непонимание... Он словно представлял, -- что совсем ничего не знает об Ольге... (И ему уже казалось, словно и действительно -- не знает); и ее личность (со всей долей сознательности) принялся отождествлять... с чем-то сверхъестественным... Словно бы, -- и не Ольга это была вовсе, -- а... Но кем она могла быть, кроме как Ольгой Маер... Той самой Оленькой Маер, к которой часто -- сидя за одной школьной партой -- он обращался, с жаром отстаивая какую-то свою очередную иллюзию... (Пришедшую тогда в его голову, а впоследствии -- уже самим отвергаемую...).

Касьянов понял, что именно сейчас он должен принять решение. И это не должно быть одно из решений. И именно -- решение. И должно наступить окончательное (и бесповоротное) разрешение напрашивавшегося у него конфликта с ней. Он должен был -- просто -- или разорвать все отношения с Ольгой (что казалось ему не очень желательным, и необходимым разве что в случае, когда иначе -- она -- не сможет отстать от него), или же... как минимум, -- напрашивались еще два варианта.

По одному, -- он должен был выставить между собой и Ольгой некий защитный барьер (защитный, -- от проецирования друг на друга слишком нежных чувств); по другому, -- заполучить Ольгу Маер. Выгнать ее мужа (что, собственно, было не так-то трудно и сделать; этот неврастеник был у него как на ладони) и перебраться жить к ней. (Ну или ее -- к себе. Или... -- были возможны любые варианты).

И подумав об этом (интересно, о чем думала сейчас Ольга?... она только курила и отвлеченно смотрела сквозь

Касьянова, сквозь стены, сквозь... мир.), -- Петру Карловичу стало вдруг как-то легче. Хотя почти тут же он должен был признаться, что совсем как будто и не готов принимать какое-то решение именно сейчас.

Да и по сути... Петр Карлович Касьянов как-то очень пристально посмотрел на Ольгу. Ему вдруг в голову пришла одна мысль, от которой (с каким-то маниакальным трепетом) он и не хотел избавляться.

Он неожиданно представил себе женщину, с которой сможет найти выход (накопившимся и загоняемым в подсознание) желаниям. Сексуально-извращенным желаниям (как верно назвал бы кто-то). Но эти желания, -- не только сейчас не казались ему таковыми, но и он вдруг решил не откладывать их претворение на потом, собираясь реализовать именно сейчас. И Ольга... как будто почувствовала то же самое.

...Не прошло и нескольких минут, как (срывая на ходу с себя одежду) два тела закрутились в каком-то броуновском движении... Кто в кого (и куда) входил, -- разглядеть было совершенно невозможно. И Ольга, и Касьянов отдавались друг другу с неистовостью самой преступной связи. Где-то про себя отмечая, что их любовная связь -- предрасполагала именно к такой характеристике... Но... казалось совсем не обращая внимание на это...

Они даже не могли друг другу признаться, нравится ли им это или нет... Но каждый про себя (и опять, где-то там, в бессознательном...) уже знал, что ему -- именно этого все это время и недоставало... И от этой всей неосознанности (разве

можно такое принять в сознание?!) и Ольга, и Касьянов -- заводились еще больше. И уже действительно трудно (да и невозможно) было уследить -- какую роль в этом сексуальном безумстве один -- отводил другому. Им было совсем не нужно (невозможно, неоправданно, не...) думать сейчас о чем-либо... Шла обычная механическая работа. Кто-то куда-то входил, проникал, что-то принимал в себя... Нисколько не отвергая и не чураясь самых откровенных экспериментов... В том, чем они занимались сейчас -- совсем не могло быть каких-то запретов или табу... Принималось и дозволялось все... Каждый использовал другого... И позволял (и помогал) использовать себя... Они вдвоем шли к вершине... И инстинктивно угадывая желания другого -- делали (неосознанно... неосознанно...) все, чтобы к (уже намечавшемуся) финалу -- подойти вместе.

...И он не заставил себя ждать... И из полуночной квартиры Петра Карловича Касьянова -- удивленно качавшие головами проснувшиеся соседи -- услышали финальные аккорды самой преступной связи, которую когда-либо доводилось слышать; и крик высвобождаемых внутренних тревог, сомнений, волнений, быть может, агрессивности, противоречий, непонимания... -- крик, усиленный не только почти синхронным звучанием другого, но и усиленный, казалось, какими-то филогенетическими механизмами... когда с победным ревом одного, двоих -- смешиваются миллионы из представителей человечества, когда-либо испытывавших такое же... этому крику были совсем неподвластны стены и окна... его слышали не только соседи или полуночные прохожие, но и казалось, даже за много

километров от этого в ту же самую секунду, кто-то неожиданно повернул голову, всматриваясь в даль... И словно чувствуя в себе подчинение какому-то единому порыву... который в конечном итоге изменит этого человека... И он с тех пор будет совсем другим... Этот крик -- слышали все. Но он был совсем не слышен ни Ольге, ни Петру Касьянову... Потому, как только начало пульсировать, выбрасываемое из одного и жадно всасываемое другой, накапливаемое в течении нескольких месяцев, а то и лет, желание -- как уже почти оба перешли в другую реальность... Не только воспарив, но и... совсем не думая возвращаться... Им было хорошо там... И даже (некогда и замечательное, честное, справедливое) хорошо -- даже призрачно не отражало то, что испытывали они в той иной реальности, в которой оказались благодаря друг другу... И они не возвращались... они еще долго кружились в неведомом свободном парении... И не существовало ни одной силы на земле -- способной хоть как-то помешать им в том... Потому как вышли, и Ольга, и Петр, -- из подчинения земным законам... Но и не распространялись на них права небесного царства... А значит -- они просто наслаждались своей не-подконтрольностью... И это было самое счастливое время, испытываемое когда-либо ими...

Глава 3

Жизнь Казимира Обнинского заметно изменилась после исчезновения Кадастрова. В том, что Михаила Викторовича убили (ну или застрелился он сам), Казик не знал. Для него (со стороны и

отца, и людей отца) такая информация до сих пор была под запретом. И Ибрагим Вольтерьянович ни за что бы не позволил, чтобы его сын когда-то узнал о чем подобном. Но... для самого Казика, -- это было и не так важно. Намного значимее был для него сам факт: его друга (а за время их сотрудничества Казик настолько привязался к нему -- пусть внешне никогда он и не показывал -- что пребывание рядом Кадастрова у Казимира бессознательно ассоциировалось с наличием у него "друга") с ним не было. И для него стало необычно важным выяснить для себя: сам ли тот бросил его. Или, -- по каким-то причинам, -- Михаила Викторовича Кадастрова выгнал отец. В последнее -- верить не хотелось.

Что было делать Казику? Расспрашивать кого-то из obsługi -- глупо (все равно, напуганные отцом, те ничего бы не сказали); интересоваться у самого отца, -- как минимум, -- глупо вдвойне. Потому что этим Казимир мог подставить под удар, прежде всего, себя. Ведь отец... Самой страшной (пока самой страшной) для Казимира была вероятность того, что когда-нибудь Вольтер Ибрагимович сможет сопоставить поведение своего сына, слова, мысли, поступки его, -- с... реальным поведением. И если возникнет хоть возможность возникновения вопросов -- это и будет для Казимира самым страшным. Вся его многолетняя игра -- разрушится; и, погибнув в одночасье, -- за ней (как по наклонной), -- начнет гибнуть и разрушаться и все остальное. И прежде всего -- его иллюзорный мир. Тот иллюзорный мир, который он воздвиг для себя. Мир иллюзорной реальности, в котором он -- быть может только он -- существовал. Совсем не пуская в него никого. И... наслаждаясь им... И этот мир мог сейчас разрушиться...

Казимир иной раз даже подумать боялся, чтобы когда-нибудь его заподозрили в... имитации болезни.

Подумав об этом, у Казимира разом испортилось настроение, и подкатила какая-то тревога... Его тревога всегда существовала как нечто особенное. Она почти никогда не переходила в страх. И пока проявлялась чаще всего, -- психосоматической симптоматикой. Что приносило массу неудобств.

Мучился в такие минуты Казимир невероятно. И даже самими мучениями -- это назвать было нельзя. Потому что выходило осознание этих мучений -- куда-то за пределы ирреальности; и уже там, -- набирало порой немислимые обороты. Получая вскоре какую-то особую самостоятельность. И уже существуя, как минимум, в другом, параллельном, измерении.

.....

Со своей тревогой Казимир не мог бороться. Да он даже и не пытался заглушать ее. Как не способен был (хотя иногда, -- в самом начале, -- у него и возникала подобная мысль) и... договориться...

Да ему никогда не удавалось с кем-нибудь "договориться". Исторически так сложилось, что решение всех вопросов брала на себя сначала его мать (когда Казик был маленьким); потом (и по сей день), -- отец. И если мы помним, -- то и все эти врачебные комиссии, экспертизы, обследования, --

сделал, по сути, его отец. И перед экспертами, по сути, -- представал не он, Казимир Обнинский, -- а его отец: Вольтер Ибрагимович Обнинский. И "судьи" (успокоенные более чем щедрыми гонорарами) выносили то решение, в котором угадывался интерес Вольтера Ибрагимовича. Допуская про себя мысль, что все мы, немного с той или иной степенью отклонений. И если кому-то угодно так (а тем более если этот кто-то -- банкир; да еще и с просматривавшейся патологичностью собственной психики), -- то почему бы и не допустить, что странности (замеченные отцом у сына), -- подпадают под классификацию МКБ (Международную Классификацию Психических Болезней). Да и в том, что, -- по мнению Вольтера Ибрагимовича, -- у его сына напрашивается еще и группа инвалидности -- врачи тоже вынуждены были его поддержать... ("...Он же болен?.. болен... серьезно?.. ну, если допустить, что все мы... значит серьезно!... под какую группу подпадает?... что, простите?.. под какую группу инвалидности подпадает его заболевание?.. ну так говорить пока слишком рано; надо бы еще понаблюдать, пройти, так сказать, всестороннюю экспертизу; как минимум, месяц провести в стационаре... нет, вы меня не поняли! Если болен -- надо дать группу. Тем более, лежать у вас он пока не может. Я посмотрел, -- вашему заведению необходим ремонт. Я могу оказать, так сказать, спонсорскую поддержку. А потом... вы хотите вашего сына разместить у нас после того, как профинансируете нам ремонт помещения?.. ну примерно так. То есть, скорее всего, деньги я заплачу. А лежать он уже не будет. Я думаю, незачем. Согласны?.. Ну да... Значит согласны... да, про ремонт тоже решайте сами. Я выделю деньги. А ремонт можете делать хоть сейчас. Хоть через

год. А можете и вообще не делать. Ваше право. Главное, чтобы в отношении сына вы все сделали как надо... А как надо?.. Группу, черт подери... Да будет вам группа... хорошо... договорились...").

В итоге -- Казику дали сразу первую группу инвалидности. И как мы помним, комиссия сама приезжала на дачу к Вольтеру Ибрагимовичу. И уехала только через несколько дней. Раньше... раньше тяжело было... Столько-то пить...

.....

Казимиру на миг захотелось вернуться в обычную жизнь. И это самое вдруг, -- настолько явственно проявилось, что он даже немного испугался.

Вот уже как много лет, -- он жил с тайным соглашением (между своим "Я" и внешним миром). И кажется, все эти годы, -- ему удавалось избавляться от (все реже, впрочем, возникающих) мыслей -- возвратиться к обычной (нормальной) жизни. К тому же, за все эти годы он настолько привык, что окружающие жалели (и оберегали) его, -- что начать жить как-то иначе, ему совсем не хотелось. Ведь это, -- непременношим образом, -- стало бы накладывать какой-то иной отпечаток (на его поведение, например). А этого, -- ему и не хотелось, и... он не мог себе этого позволить.

.....

Вместо Кадастрова прибыл Кушинский. Новый врач-психиатр почему-то стал вызывать в Казике противоречивые

чувства. С одной стороны, -- на первый план выступали явный протест и отторжение. Но вот с другой... Казимиру Обнинскому почему-то показалось, что Кушинский ему очень нужен. Причем, нужность эта была продиктована, конечно же, не профессиональной деятельностью того (к каким-либо врачам у Казимира всегда было одно -- ярко выраженное -- негативное отношение), но Казикау отчего-то показалось, что Кушинский не будет с ним так строг (подсознательно Казик всегда ждал разоблачения), -- как ему показалось вначале. Да и первоначальное мнение, большей частью, сложилось из стереотипного отношения к каким-либо специалистам по душе. (Особенно если была угроза, -- что эти самые специалисты начнут заниматься душой его, Казика). Но с Кушинским, -- как будто этого не предвиделось.

Казимиру даже удалось убедить себя, что Кушинский сделает все, чтобы остаться (о зарплате всем, кто работает у его отца, Казимир догадывался). И если бы он только знал о разговоре Вольтера Ибрагимовича с Кушинским!? Хотя, если и не знал (не знал... конечно же, не знал...), то заметил, что его собственное впечатление о Кушинском -- начинает изменяться. И в лучшую для него, Казика, сторону. Да и сам Кушинский, казалось, начал делать все, чтобы завоевать доверие Казимира. И это -- Казикау не могло не понравиться.

...Через какое-то время у Казимира состоялся разговор с отцом. Где Вольтер Ибрагимович почему-то подробно выспрашивал о мнении своего сына -- о новом специалисте. И Казик, -- не считаясь с сидевшими еще в его подсознании

некоторыми сомнениями, заверил отца, что Кушинский может остаться.

-- Ты уверен в этом? -- как-то слишком внимательно посмотрел на него Вольтер Ибрагимович (и Казик даже показалось, что отец впервые так на него смотрит). Но потом взгляд Вольтера Ибрагимовича принял обычное для него устало-равнодушное выражение. И он молча кивнул головой. Решив верно для себя -- что Кушинский останется.

Насколько я знала, -- жалеть о том Казик не пришлось. И Кушинский, -- каким-то образом угадав настроение Казимира в отношении его -- на какое-то время почти оставил его в покое. А если они и встречались (все-таки какую-то видимость работы показывать было необходимо), -- то разговаривали совсем как будто и ни о чем. Вернее, -- говорил Кушинский. А Казик, как обычно, лишь рассеяно слушал, занимаясь своими делами. Но в обиде не оставался.

Глава 4

Перед Вешнецовым возникали какие-то проблемы. Создавалось впечатление, что они -- словно (уже изначально) специально предназначались ему. И если бы не было его, -- то и смысловая нагрузка (от осознания проблем), не была бы -- для кого-то -- столь значимой, как это было для Бориса Андреевича Вешнецова.

Но и даже более того. На каком-то этапе его жизни уже можно было заключить (и даже предполагать было поздно), -- что Борис Андреевич начинает с какой-то необъяснимой нежностью относиться к своим проблемам. Лелеять, тешить и баюкать их, успокаивая сам себя.

И то успокоение, которое находил Вешнецов в своем новом состоянии, -- было настолько значимым для него, что совсем не способен он был хоть как-то сопротивляться существованию его.

Да и вообще, если разобраться, Борис Андреевич всегда походил на какого-то... полудурка (как думало подавляющее большинство, знающих его). Почти ни один его поступок (если о том становилось кому-то известно) не проходил без недоуменных комментариев окружающих его людей.

У Вешнецова почти не было друзей. (Потому что дружба с таким человеком накладывала почти невыносимую ответственность). У Вешнецова не было жены (подобных отношений, наверное, испугался бы и он сам). Никогда... А ведь действительно никогда -- не было любимой девушки... И была тайна за семью печатями -- способен ли он был вообще -- любить?! Ведь люди, подобные ему, -- как минимум делятся на два распространенных типа. По одному, -- их уже изначально не может никто любить. (Не может никто, у кого хоть на маленькую долю развито собственное достоинство).

Но и если предположить, что развитие нашего героя произошло по другому типу, -- то ситуация оказывается еще и намного печальнее.

Ведь в этом случае, -- любят они. Но любят, -- такой тайной любовью, что и даже какое и упоминание о ней, -- приносит им нестерпимые мучения.

И почти наверняка, -- и за первым, и за вторым типом, -- просматривается страшная патология характера. А личность (обладающая подобным характером), настолько (и уже изначально) психопатологична, -- что о каком-либо здравом рассуждении в отношении ее -- говорить не только не приходится, но и вовсе -- вызывает изрядную долю нареканий -- уже в собственной душе.

Мне Вешнецов не нравился. Быть может, потому -- что я хорошо знала таких людей. А может и (как, -- недоуменно пожав плечами, -- заметил Гершензон) оттого, что Вешнецов, каким-то образом, действительно очень сильно напоминал мне покойного Колю Бурляева. Николая Бурляева, перед которым я вдруг стала чувствовать вину. И это чувство вины иной раз настолько усиливалось, что я готова была выть от собственного бессилия -- как-то изменить ситуацию. Ситуацию, повлиять на которую, я действительно никак не могла.

Но видимо уже и оттого, в один из дней (дни вообще отличались какой-то эмоциональной неустойчивостью, частыми вспышками тревог и волнений) я почувствовала какое-то необъяснимое (да и как такое объяснить?) стремление увидеть Вешнецова... Признаться, мое желание меня здорово напугало. Ведь не вчера ли, -- в телефонном разговоре с какой-то своей подругой, -- я ей сетовала на то, что среди знакомых Викария

появился человек, невероятным образом напоминающий покойного Бурляева (подруга в свое время знала Бурляева).

...Правда, -- я почему-то сейчас это увидела достаточно отчетливо, -- подруга мне не поверила (а я, дурочка, ей еще жаловалась на жизнь); и, -- судя по всему, -- посчитала, что у меня уже начались те проблемы, о которых она меня предостерегала перед (уже как вроде бы и окончательным) решением зарегистрироваться с Викарием Гершензоном. Тогда подруга даже (что было, -- как я считала, -- и не свойственно ей) попыталась познакомить меня с несколькими (поочередно готовых добиваться моей руки) людьми, каждый из которых, вероятно, в свое время был ее любовником.

Но ведь Вешнецов был... не Бурляев. И за каким-то сходством (на самом деле присутствующим), я с какой-то маниакальной настойчивостью стремилась отыскать в Борисе Андреевиче черты, которых никогда в Бурляеве -- не было. И, наверное, самое ужасное, -- что я вроде бы, -- и не находила таких черт.

-- Быть может, в моей памяти стерлись какие-то воспоминания? -- порой я принималась неистово ругать сама себя. Или... Но я уже знала, что все мои подобные попытки -- безнадежны. Уже изначально. Потому что (каким-то невероятным, и даже, как будто, независимым от действительного моего желания, образом), -- я все больше находила в одном -- черточки (личности, характера, даже внешности) присущие другому.

И не могла успокоиться от этого.

.....

Но, несмотря на мое желание или все же, -- подсознательное нежелание найти какие-то противоречия, -- этого мне не удавалось. И проходило время, -- а я все больше и больше начинала склоняться к мысли, что Борис Вешнецов -- не иначе как реинкарнация Коли Бурляева. (Хотя вся моя ученость и образование, -- протестовали против подобных выводов).

Было ли на самом деле так?

Или я заставляла себя так считать? Поддавшись влиянию сил, о существовании которых никогда ранее не задумывалась. Да и пожалуй, не верила. Тем более... что и не было каких-то таких сил... А была лишь моя слегка расстроенная психика, которая, иной раз, -- начинала творить чудеса. Пускаясь в путешествие, -- по совсем как будто для нее и не запланированному маршруту.

Что я могла поделать?

А быть может, и ничего!

Должно пройти какое-то время... За которое, -- вполне возможно, -- наметившаяся проблема -- снизит свое (вредное; конечно же, -- вредное) воздействие на меня.

И тогда, может быть, именно тогда, -- я буду способна взглянуть на все другими глазами.

И то, что все должно было случиться именно так, -- я знала. Я верила в это. Хотя бы потому, что верить -- больше ни во что мне и не оставалось...

Глава 5

Мог ли когда предполагать Гершензон, что его жизнь начнет проходить в каких-то параллельных измерениях?

Наверное, нет.

Но с того момента, когда он стал ощущать (еще только первые признаки) возможности подобного, он так еще не волновался, как сейчас.

Именно сейчас, казалось, все как-то быстро стало терять для него былую значимость... Уже давно его ничего не радовало. А какое-либо настроение, -- давно подчинялось одному закону: закону пессимистичности бытия. И становилось это возможно потому, что Викарий Германович как-то незаметно для себя -- перестал искать каких-либо путей к спасению. Его совсем ничего уже не радовало. А если и случалось какое событие, которому раньше он бы и обрадовался, -- теперь наоборот: в этом событии -- он видел исключительно негативную подоплеку. И иначе -- быть не могло.

Что до его сознания, то эта еще некогда вроде бы и самостоятельная структура его психики -- теперь подчинялась совсем иным законам. Законам, правила которых, -- устанавливались исключительно (и заметив подобное, Гершензон только горестно вздохнул) в соответствии с какими-то ему

неизвестными кодексами, нормами и положениями. Да он бы, наверное, и раньше не позволил себе вмешиваться. Но теперь, -- даже если какое подобное желание и возникало, -- то это было попросту невозможно. Гершензон уже не принадлежал сам себе. Всеми его поступками (и самое печальное, -- мыслями), руководило исключительно подсознание. Именно там с недавних пор (когда пришлось убедить себя в необходимости смириться) теперь устанавливался тот порядок, в соответствии с которым Викарий Германович должен был строить свою жизнь. И со своим подсознанием, -- Гершензону совсем невозможно было договориться. Оно вообще отказывалось слушать его. И сделав (а на самом деле, может и, не предпринимая) серьезных попыток противостояния -- Викарий Германович Гершензон: вынужденно принял любые условия. А что ему еще оставалось делать?

Может быть, кто-то мог сказать, что Гершензон попросту слаб. Но... он всегда был таким. А если пробовать проследить истоки того, что в последующем привело к трагедии, -- то, наверное, можно было вспомнить детство Викария. Когда он понял одно: чтобы не подвергаться каким-либо гонениям со стороны сверстников (а тем более, мальчишек постарше), -- необходимо было принимать все их условия. Не только не предпринимая каких-то попыток к сопротивлению, но и даже -- заставив себя забыть -- что существуют они.

К сожалению, именно это -- было залогом выживания Викария тогда. И к сожалению, он просто обязан был следовать подобному правилу теперь. Иначе, -- зачем: выжив тогда, -- подвергаться гонениям сейчас.

Да и возраст, -- уже был не тот.

А что до опасности, -- то она по сути и не возросла даже. Она просто переориентировала сама себя. И несмотря на то, что теперь о каких-то страхах, вызванных притеснением с хоть чьей-то стороны говорить было невозможно (Гершензон вообще -- жил один), -- тем не менее, практически постоянно, Викарий Германович Гершензон должен был жить в боязни, чтобы какими-то неудачными мыслями вызвать недовольство собственного бессознательного. И у него были все основания: бояться его.

Одним из подтверждений того, что Викарию Германовичу не следовало предпринимать каких-то самостоятельных шагов, было то, -- что Викарий (как-то ночью; он даже подумал что это -- во сне) услышал голос, который без сомнений принадлежал инициатору эксперимента над ним.

Так как голос той ночью не повторился (как не повторился и на следующий день; и даже ночь), то у Гершензона были все основания предполагать, что это ему действительно послышалось в ночи. Тем более, какого-то различимого (да и даже понятных ему слов) предложения -- Гершензон не услышал.

Но именно это -- стало напоминать о существовании тайны, знать которую, должен был только Викарий Германович. И никто другой. (Что было бы -- случись ему послушаться, Гершензон даже боялся предполагать). Тогда как... да ему, если честно, и не хотелось предполагать что-то иное. (Он вообще уже давно приучил принимать все жизненные ситуации -- как есть. Без критики, а тем более, сопротивления).

Но самое печальное, что голос -- повторился через день. И при том -- утром. Когда Гершензон -- проснувшись -- пытался собраться с мыслями, чтобы грамотно распорядиться сегодняшним днем. И как оказалось, голос -- не оставил ему никаких шансов.

Зато теперь Викарий Германович мог различить: что же ему говорили.

И услышав подобное, -- Гершензон как-то закрутился волчком, а потом перемахнул через забор (Викарий Германович как раз проходил мимо какой-то стройки в черте города), -- и не прошло минуты, как Викарий Германович уже оказался пойманным охранной "объекта". ("Объект" принадлежал министерству обороны. И последствия для Викария Германовича могли быть серьезными).

Кстати, все обошлось. Охранники даже не стали вызывать свое начальство. А вывернув из карманов Гершензона все содержимое (он только что получил почтовый перевод -- от какого-то литературного агентства, опубликовавшего его несколько рассказов и выславшего гонорар), -- охранники просто перекинули Гершензона обратно через забор, предварительно испугав его настолько, что у Викария и мысли не возникло как-то выражать свое недовольство.

В течение получаса у него повторилось несколько попыток подобного рода. Причем, для этого не обязательно надо было лазать через заборы или проникать на какие-то объекты. Видимо тот, кто управлял Викарием, был заинтересован в

совершении Гершензоном каких-то неординарных поступков. Поступков, впрочем, большей частью несущих в себе стремление к какой-либо деструкции психики. И почти совсем невозможно было как-то противопоставить себя, свое "Я" (изрядно уже затуманенное), этому порыву безумия.

Но ведь и что любопытно: все эти (слышимые Гершензоном) голоса -- как будто принадлежали разным людям. Более того. Через какое-то время (достаточное, видимо, чтобы эти "некто" поняли, что посылаемые ими команды -- выполняются), -- голоса стали друг с другом... спорить. Причем у них даже не было чего-то напоминающего обычную дискуссию. А происходила -- жесточайшая (по своему накалу) полемика. Где каждая из сторон выбрасывала в сторону "оппонента" все новые и новые разоблачающие того факты. Вызывающие, впрочем, протест, выражающийся в виде серии ответных реакций.

И Гершензон совсем запутался. В его голове слышалось столько переменчивой информации, что иной раз ему казалось, что он вторгся в эфир управления военной авиацией, которое ведёт боевые действия в воздухе и ежесекундно отдаёт приказы или об обстреле, или о бомбардировке! Только вот отличие в том, что в качестве "управляемого объекта" -- теперь он!

Гершензон разрыдался от противоречивых приказов.

В его мозгу начинался переизбыток информации. А то устройство, которое эту информацию считывало -- не только работало на предельных оборотах, но и показания приборов уже явно начинали зашкаливать.

Со стороны казалось, что идущий неподалеку (рядом, впереди, чуть позади...) человек -- сходит (а то и уже сошел) с ума. Он то делал несколько прыжков вперед, размахивая руками, то отпрыгивал, то в каких-то немислимых па -- передвигался боком...

А то и вовсе -- внезапно замирал на месте, и разряжался взрывом такого дикого хохота, что окружающие пускались от него в разные стороны, опасаясь ненароком быть задеванными в этом непонятном "спектакле".

Человек сходил с ума. А может, и правда уже сошел. И этим человеком был Викарий Германович, который, теперь, не только пытался разобрать (и как-то проанализировать) слышавшиеся приказы, -- а стремился выполнить каждый из них. И к моменту, когда он понял, что это просто невозможно (а скорее, и не то чтобы понял; а попросту устал выполнять...), -- вокруг него замкнулась цепь из санитаров скорой помощи, милиционеров, зевак, пытавшихся изловить сумасшедшего.

...На удивление, это удалось не сразу. Апофеозом (так сказать, -- заключительным аккордом), произошедшим, когда упирившегося Викария Германовича все же удалось запихнуть в карету скорой помощи -- была высунувшаяся -- из разлетевшегося вдребезги стекла -- его голова, которую, впрочем, тут же втянули обратно.

Гершензон сошел с ума. И теперь, вероятно, ему не удастся так скоро выбраться из психиатрической клиники...

Глава 6

Уже несколько недель, как Венгерова не отпускала мысль встретиться со своими бывшими друзьями из России. Как-то неловко было ему осознавать, что, по большому счету, его как бы и не было. То есть, он жив. Но и уже казалось ему, что и жив-то не он. Да и как это может быть он, когда у него вымышленное имя (лишь отдаленно напоминающее его прежнюю фамилию). И он ограничен этим своим новым именем. Заключен в какие-то особые рамки. В следствие принятия этого имени.

И казалось, совсем не так-то и легко будет ему выбраться. Тем более, -- вернуться обратно. В прежнюю жизнь.

Да и что, -- по сути, -- была его прежняя жизнь? Так ли она была значима для него? Не мучился ли он и тогда -- схожими проблемами? Которые, может быть, и различались -- по содержанию; но были неизменны -- по сути. И чем больше размышлял сейчас Венгеров, -- тем сильнее ему хотелось вернуться обратно; в то время; вернуться -- в Россию.

Но мог ли он это сделать реально? И, не просто приехать -- для этого, как будто, проблем никаких не было. Тем более, когда он стал гражданином другого государства. Но... ведь убьют!?

А умирать Венгерова никогда не хотелось. И даже то, что он столько раз испытывал судьбу... И все время какая-то неведомая сила -- в последний момент -- выдергивала его обратно...

Но почему-то сейчас Венгеру стало казаться, -- что он просто обязан был сделать какой-то выбор. Причем, та сила, которая -- как оказалось, она имела неожиданно сильное лобби в его психике -- склоняла его к необходимости поездки, -- совсем не желала замечать и другой, почти что равной ей по возможностям, силы, благодаря которой собственно, Венгер до сих пор еще уклонялся от поездки. И та, и другая "сила" базировались в сознании. И сознанию Венгерова -- всегда удавалось властвовать над ним. (В отличие от тех же Гершензона, или Сеченова, да, отчасти, и Бурляева с Вешнецовым, у которых пропорция складывалась прямо противоположная).

Но... изменить соотношение Венгер не мог. И, самое главное, -- что никогда не хотел. Все-таки он привык хоть как-то (в большинстве совершаемых поступков) контролировать и свое поведение, и свои мысли, и, -- разумеется, -- собственные желания. А перед тем как совершить какое-либо новое действие -- как минимум все досконально обдумывал.

Причем, уже в этом своем обдумывании -- Венгер заметно отличался от того же покойного Бурляева... Если Николай Андреевич своими размышлениями мог буквально уничтожить себя, -- то Венгер никогда не позволял мыслям властвовать над ним. Да никогда! Он лучше, -- в итоге, -- примет неверное решение. Но это будет именно решение! Но загонять себя в угол своими же размышлениями?..

.....

Почти неизвестно по каким причинам, -- но Венгеров вдруг принял решение приехать в Россию. На время. В гости. (Правда, -- на какое время и к кому в гости?.. Ответов он не знал. Но чувствовал, что так необходимо).

Как ни странно, дядя Венгерова -- Джонни Венгеровски -- предпринял невероятные (казавшиеся невероятными Венгерову, удивленному столь выраженному протесту дяди) усилия -- в стремлении отговорить "сумасшедшего племянника" от этой поездки. Он даже грозился лишить его наследства.

Но, Венгеров был славен тем, что если что втельмяшил (как недоуменно приговаривал, покачивая головой Джонни Венгеровски) в голову -- то это уже было выбить оттуда -- практически невозможно.

.....

-- Ты действительно решил ехать? -- все с тем же недоуменным видом поглядывая на племянника, спросил дядя.

-- Да, -- кивнул головой Венгеров и принял вид человека, который не только решил, но и намеревался осуществить задуманное.

-- Но неужели ты не понимаешь, с каким риском это сопряжено? -- осторожно поинтересовался дядя, собираясь вероятно в который уж раз привести минимум с десяток неопровержимых доводов -- не обратить внимания на которые, было бы, как минимум, безумием.

-- Понимаю... Я все понимаю, -- устало произнес Венгеров. -- Но и поделать с собой ничего не могу. Понимаешь, --

Венгеров внимательно посмотрел на дядю, словно оценивая: поймет ли он? -- здесь, за границей, -- все не мое!..

-- Ты чувствуешь себя чужим? -- действительно не понимал дядя.

-- Да причем здесь чужим? -- вспыхнул Венгеров, но тут же успокоился. -- Да. Наверное, все же чужим... -- согласился он. Ему вообще хотелось быстрее со всем согласиться. Каких-либо разговоров о поездке вести он не хотел. Быть может потому, что и сам немножечко недоумевал по поводу своего же решения. А может, -- он как-то опасался, что дядя сможет его переубедить?

-- Раз принял решение -- поезжай, -- неожиданно согласился дядя. -- Документы, визу, деньги -- я тебе уже подготовил. Хорошо было бы -- хоть как-то -- изменить внешность...

-- Я надену парик...

-- Но делать какую-то операцию может и излишне.

-- Я надену парик, -- повторил Венгеров.

-- И парик, и усы, и бороду, -- тяжело вздохнул Джонни Венгеровски. -- Ты поедешь как член совета директоров моего журнала. Якобы для проработки вопроса -- о выходе на новые рынки сбыта.

Венгеров кивнул головой.

-- На самом деле, я считаю, что Россия пока не готова принять мой журнал. Поэтому у тебя будет много свободного времени. Хотя, чтоб усыпить внимание спецслужб (а русские все равно будут за тобой следить) ты и должен провести несколько встреч. Но большей частью, фиктивных. Я тебе дам несколько адресов. Это мои старые знакомые.

Венгеров с удивлением посмотрел на дядю.

-- Те, с которыми я до сих пор поддерживаю связь... По интернету, -- улыбнулся дядя, только недавно ставший постигать связи нового поколения, -- указаны тут, -- дядя передал аккуратно сложенный листок Венгерову. Перепиши себе в блокнот или выучи наизусть.

-- А зачем...

-- Они тебе помогут, -- перебил его дядя. -- Составишь пару-тройку договоров о намерениях. Пока этого будет достаточно.

Венгеров кивнул головой, с благодарностью посмотрев на дядю.

-- И еще одна просьба, -- Джонни Венгеровски с сомнением посмотрел на племянника. -- Не ввязывайся ни в какие разборки. И поменьше светись.

-- Что-то ты меня собираешь как конспиратора, -- улыбнулся Венгеров.

-- А ты конспиратор и есть, -- серьезно ответил дядя. -- Иначе обратно привезут твой гроб. И придется хоронить уже в реальности.

Венгеров с проступившей на его лице улыбкой покачал головой.

-- Ладно, ладно, божилась коза в огород не лезть, -- проворчал дядя. Но по нему уже было заметно, что он был доволен реакцией племянника на свои слова. А потому, решил про себя, перевести тому на карточку -- еще несколько тысяч долларов. Для поддержки к тем десяти, что уже были там. Время в России другое. И надо было предусмотреть любые затруднения. А

с деньгами -- на его бывшей родине -- было возможно все. (Ну или почти все, -- вспомнил Джонни Венгеровски, что когда-то ему пришлось уехать. И хоть от ментов-то уйти удалось, но на то, чтобы остаться -- денег уже не хватило).

Глава 7

У меня давно уже происходила -- невероятно странная для меня -- перестройка сознания. Притом, что мне казалось, возраст -- мой возраст -- явно к тому не располагал. Ну в том плане, что раньше я почему-то считала, что все подобное должно непременно происходить раньше. И уже потому, когда это стало происходить со мной сейчас, я старалась не замечать, не придавать значения, не... Напрасно. Все происходило со мной так, что именно меня -- не только "не спрашивало"; но, казалось, было и вовсе не заинтересованно в каком-то моем мнении.

.....

Какое-то время я жила почти не своей жизнью.

Словно и делала обычные дела; словно и совершала привычные поступки; и даже мысли, -- иной раз, -- у меня рождались такие же, как и раньше. Но вот -- в итоге -- оказалось, -- что все это, вроде как, и не так.

Не совсем так.

И как здоровый человек (а понятия "сумасшествия" и "здравости" с недавних пор стали для меня очень важны), -- я

рассудила... Нет. Скорей всего, -- не рассудила. Я приняла. "Вынуждена была, -- принять", -- все, что происходило (и может быть, уже произошло) со мной -- как нечто неизбежное. И, -- на удивление, -- вслед за этим шагом, -- я заставила себя полюбить... полюбить себя такой, какая есть...

И ведь не сказать, что жизнь у меня после этого изменилась...

Но моя жизнь -- действительно изменилась.

И я теперь не замечала множества того, на что раньше обращала внимание. Переживала даже. Теперь нет. Теперь я действительно стала другой.

А еще... Но нет. Об этом я пока поостерегусь писать. (Тем более, что это в какой-то мере пугает меня в том плане, что я совсем не знаю, -- куда оно дальше приведет).

Глава 8

Петр Карлович Касьянов покинул страну. Решение пришло столь внезапно, что на первых этапах осмысления -- Петр Карлович, было, удивлялся и сам. Причем, удивление и на самом деле казалось ему столь сильным, что где-то подсознательно приходила мысль о какой-то ирреальности происходящего. Словно это было, или... нет, даже -- не было. А просто... просто -- это не укладывалось в голове.

И уже все последующие необходимые для отъезда действия -- Петр Карлович совершал в каком-то бессознательном состоянии.

В какой-то момент он еще, было, задумался ("а что он, собственно, делает?"), -- но тотчас же прогнал подобные мысли. И в течении нескольких недель (на всем протяжении которых он в таком хаотичном рвении доделывал начатые дела, что вскоре совсем запутался и бросил все, как есть), -- все было закончено.

И прошло после этого совсем немного времени, -- как Петр Карлович Касьянов -- ступил на землю Израиля.

Почему Израиля?

Да все очень просто. Родная бабка Петра Карловича -- была Мария Соломоновна Кац. А папу звали... Впрочем, папа его, -- был родным сыном бабки Касьянова. Притом, что дед Касьянова -- репрессированный коммунистами в 37-м -- был служка в синагоге.

Вот так вот.

Но об этом мы все узнали много позже. Из письма Петра Карловича -- Касьянова-Каца... А поначалу (по крайней мере, узнала я, ведь Петр со мной даже не попрощался), помню, все здорово недоумевали: куда же он исчез.

Глава 9

В дальнейшем, -- события развивались стремительнейшим образом.

Казалось, на миг потерялись все. Ну по крайней мере, я, -
- казалось, совсем перестала отдавать себе отчет в том, что
происходит. И опомнилась... только тогда, когда уже все и
произошло.

Первой новостью, которую я узнала (и которая, вероятно,
положила начало той цепочке "откровений", которые предстали
передо мной), было то, что Вешнецов, Борис Андреевич
Вешнецов, -- оказался сводным братом Бурляева. (По отцу; когда-
то приехавшим в Гомель -- тогда Белорусская ССР -- к своей
невесте, и даже прожив с ней в гражданском браке полгода; после
чего, разругавшись -- по-моему, он заподозрил ее в измене, хотя
скорей всего, его подозрения были ложными, -- вернулся обратно
в Россию. Невеста, так и не ставшая полноправной женой, к
моменту отъезда отца Бурляева -- была уже две недели как
беременна. И тотчас же вышла замуж. А родившемуся мальчику --
дала фамилию нового мужа. Так появился Борис Андреевич
Вешнецов. Который и сам узнал правду только после смерти
человека, которого всю жизнь считал своим "настоящим" отцом.
Притом, что своего, как выяснилось, отца ему увидеть в живых
уже не пришлось. Ну а "сбежавший жених", вернувшись в Россию
-- женился тоже. И у него родился сын, которому и дали имя --
Николай. Николай Андреевич Бурляев).

Но так вышло, что и с родным (по отцу) братом --
Вешнецову увидиться тоже не пришлось. Хотя и удивительно, что
они действительно были похожи. Почти как близнецы.

Кстати, что касается Сеченова и Гершензона, то первый (об этом я вообще узнала совсем недавно) был убит в какой-то уличной перестрелке, оказавшись -- я думаю случайно -- рядом со своим зятем (братом жены) Джоном.

А Викарий Гершензон -- был тоже убит. И почти в один и тот же момент с, -- некогда бывшим другом, -- Сеченовым. (Викария убил в сумасшедшем доме какой-то псих. Тому отчего-то показалось, что Гершензон -- и есть тот самый судья, который осудил его на первый срок. Тогда парня опустили в тюрьме. И он вскоре из тюрьмы -- перебрался в психиатрическую клинику, из которой и не вылезал на протяжении многих лет. И видимо все время в его подсознании крутилась мысль о мести. А Гершензон... быть может, Гершензон и действительно как-то походил на того первого судью этого психа. Притом, что я когда-то говорила Викарию, что у него внешность, которая всегда будет рождать в других людях какие-то нелепые ассоциации да подозрения. И Викарий Гершензон... Викарий Германович Гершензон действительно походил на многих. Прежде всего, потому что люди, -- в первую очередь, -- замечали в Гершензоне какую-то подозрительную схожесть с каким-либо своим врагом или недоброжелателем. Всю жизнь Викарий Германович страдал из-за этого. И так получилось, что и погиб, именно из-за того).

Что до ситуации с Вольтером Ибрагимовичем Обнинским, то тут и вовсе произошло стремительное наслаение событий.

Вольтер Ибрагимович, видимо, что-то почувствовав -- то ли продает, то ли бросает свой бизнес -- и уезжает в Грецию. (Там, кажется, жил его брат). Вместо него во главе огромного холдинга

встает правая рука брата Вольтера Ибрагимовича -- Руслана -- Агарза. Агарза подстраховывается, -- и оставляет часть топ-менеджеров Вольтера Ибрагимовича. (Другие, -- почувствовав неладное, -- поспешили уйти).

Правой рукой Агарза делает Калитина (даже не знаю, каким образом они друг на друга вышли).

Но... оказывается, что прокуратура уже давно пыталась разобраться с деятельностью банды Агарзы. А тут еще поступила информация из Америки (Коробов устроился на работу в полицию. И в благодарность за то, что его туда взяли, -- предоставил ФБР всю имеющуюся у него информацию на Калитина. Цепочка стала раскручиваться и привела в Россию, где сопоставив уже имеющуюся информацию о нынешнем работодателе Агарзы, да еще начав анализировать... В общем, клубок стал распутываться. И через какой-то период времени картина всех совершенных преступлений бандой Агарзы и прежних преступлений Калитина -- была перед следователем, как говорится налицо).

Да... Как оказалось, Кушинский, -- доктор-психиатр, пришедший на смену Кадастрову, -- на самом деле был сотрудник комитета безопасности. И сведения, предоставленные им -- стали чуть ли не основными в обвинительном акте и вынесенном приговоре всем членам банды.

И еще.

Владимир Сергеевич Венгеров -- так в Россию и не приехал. Как только он вместе с дядей сел в такси, которое должно было его доставить в аэропорт, -- выезд из дома заблокировала полиция.

Как оказалось, за деятельностью дяди Венгерова -- Джонни Венгеровски (он же -- Евгений Макарович Венгеров) давно уже следила полиция. И когда от его имени был заказан билет (пусть и на имя его племянника) в Россию, -- было выписано срочное постановление об аресте Венгеровски. А вместе с ним, -- отсрочили вылет и его племянника (задержав его пока в качестве свидетеля). И уже позже выяснив, что Венгеров проник на территорию Канады по подложным документам -- его поместили в ту же тюрьму, где уже был его дядя (которого осудили на значительный срок за мошенничество). Впрочем, кого на самом деле осудили первым, я и не знаю. Но факт остается фактом. (Притом, что в последующем, по всей видимости, должна была произойти депортация Венгерова-младшего в Россию. Но... Мне уже было не до того).

А все дело в том (и уже поистине для меня самой настоящей загадкой являлось то, -- как это произошло?!), что с недавних пор... я стала жить с Казимиром Обнинским. И что могло показаться для меня удивительным -- я воспринимала его абсолютно нормальным человеком. Даже более нормальным, чем большинство из тех, с кем когда-то встречалась. (И уже много позже, я постепенно стала узнавать о жизни Казика в отеческом доме. Но... не верила ни единому слову доброжелателей. Или я сошла с ума... Или Казик -- живя в доме своего отца -- действительно играл только ему одному нужную роль, причем сам был и актером, и режиссером, и по-настоящему -- все понимающим -- зрителем...).

И теперь мучительно пытаюсь восстановить в памяти, что же -- на самом деле -- случилось; и главное, как это все происходило?.. Нет... Ничего... Каких-то деталей произошедшего - и не помню...

А результат... Да вот он, -- результат. Тот, который и есть сейчас.

Притом, что какую-то оценку произошедшего... вероятно, предстоит давать в будущем.

Но только кому?..

Сергей Зелинский

16 августа 2005 года

© С.А.Зелинский. Иллюзия
реальности.